

ЛЕОНИД ЧИГРИН

# Таежный робинзон*

*Роман*

Дни стояли теплые, уже несколько дней не было дождей, земля просохла и мягко пружинила под ногами.

Один за другим валились на землю высоченные кедры, стучали топоры, очищая стволы от ветвей. Ахмад Расулов трудился с подъемом, вдыхал свежий воздух, напитанный ароматом смолы, и даже позабыл на время, что находится в заключении.

На третий день случилась неожиданность — исчезли овчарки.

— Куда подевались наши четвероногие сторожа? — полюбопытствовал Ахмад у бригадира Файзулина.

— Эпидемия чумки началась у них, — хмуро ответил тот. — Должно быть, от грызунов прихватили. Всех собак в карантин в лагере определили, ветеринар возится с ними.

Слова бригадира будто подтолкнули Ахмада. Вот удобный случай бежать. Собак нет, ограждения нет, а в таежной чащобе какая может быть погоня. Подумал так и тут же отбросил эту мысль. В одиночку в тайге не выживешь. Без еды, без укрытия и хищников полно. Оружие нужно, а где его возьмешь?

И все-таки эта мысль не давала покоя. Ахмад лежал на груде пахучих ветвей и не мог уснуть. Вскрикивала какая-то ночная птица, глухо шумели кроны кедров, ярко светили звезды в проемах между ветвями.

Ахмад приподнялся, осмотрелся. У каждого конвойного горел костер, но они спали, опершись на винтовки. Костры еле тлели, светили красными угольями.

Здравый смысл останавливал, но им руководило одно стремление — бежать. Заросли можжевельника были почти рядом, на невысоком пне стоял мешок. Ахмад знал, что в нем несколько буханок хлеба, сахар, соль и спички.

Он подполз к пню и стащил мешок на землю. Полежал, прислушиваясь, стараясь умерить дыхание. Сердце стучало так сильно, что, казалось, его может услышать конвойный.

Ахмад полз к можжевельнику, двигая мешок впереди себя. Конечно, если бы на месте оказались овчарки, любая попытка бежать была бы безнадежной. Но сейчас предоставился тот редкий случай, который может никогда больше не повториться, и Ахмад не собирался упускать его.

Он добрался до зарослей можжевельника, чуть помедлил, прислушиваясь. В любую секунду мог послышаться грозный окрик «Стой!» и лязг винтовочного затвора. Но шум кедров действовал усыпляюще, и конвойных сморила дрема.

Ахмад, как ящерица, скользнул в заросли, осторожно раздвигая ветви, потом поднялся на ноги и пошел, стараясь ступать так, чтобы под ногами не

---

* Журнальный вариант.

хрустели сухие ветки. Он помнил, в какой стороне река Курейка и спешил к ней, надеясь, что там обретет спасение. Ночью идти в тайге трудно. Огибал один ствол и тут же наталкивался на другой, продирался сквозь заросли кустарников, раздирая одежду, не зная, можно ли обойти их или следует двигаться именно так, напрямую. Но всего труднее давались завалы, когда старые деревья создавали непроходимые преграды. Ахмад перелезал через них, падал на землю. И молил всех богов, какие только есть на свете, чтобы не сломать руку или ногу. Тогда конец, тогда верная гибель.

А тайга все также шумела над ним, и мигали в небе звезды, то ли ободряя, то ли осуждая человека за безумную попытку обрести свободу.

Ахмад не стал перебираться через очередной завал. Сполз на землю и сел, опершись мешком на обветшалый ствол. Осыпалась сухая хвоя, пахло сыростью и смородиновыми листьями. Тьма стояла такая, что он не видел собственных рук. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди, лицо заливал клейкий пот, от которого щипало глаза. Он настолько выбился из сил, что не мог заставить себя встать на ноги и идти дальше. «А будь, что будет», — вяло подумал он. И пришло сожаление, что поддался минутному порыву и решился бежать. «Ну, вот убежал, — чередовались в голове мысли, — а дальше что?» И появилось желание вернуться на лесосеку. Можно снова прокрасться мимо часового, лечь на свое место и заснуть, забыв о неудачной попытке вырваться на волю. Подумал об этом и тут же отбросил это соображение. Найдет ли он в этой тьме обратный путь? Скорее всего, нет. Но даже, если и найдет, то, скорее всего, добредет туда на рассвете. Его появление охрана расценит как попытку побега, а в таких случаях пристреливают на месте.

И Ахмад решил идти дальше к реке, положившись на судьбу. Уж если она помогла ему скрыться в тайге, то может и дальше выведет на верную дорогу. Нужно только набраться сил... И он заснул сидя, опираясь мешком на древесный завал.

Пробудился Расулов, как от толчка. Знобило от предутреннего холода, тело словно налилось свинцом, глаза слипались.

Рассвет еще только угадывался. Серая полутьма разлилась по тайге, но стволы уже различались. Ахмад с трудом встал на ноги, помотал головой, приходя в себя, и полез на завал.

Теперь идти было легче, он видел звериные тропы и шел по ним, надеясь, что хищники выходили по ним к водопою.

Сам он ориентироваться в тайге не мог. Говорили, что в лесу или степи, где нет ясных примет, человек ходит по кругу. И так до той поры, пока не свалится от изнеможения. Ахмад опасался именно этого и полагался на инстинкт зверей, оставивших в тайге свои следы.

Конечно же, его будут искать. Глупо надеяться, что побег останется без последствий. Но охрана вряд ли сообразит — в какой стороне его искать. Хотя, не исключено, что погоня тоже устремится к реке. Но, скорее всего, конвойные поспешат в лагерь, возьмут одну из здоровых собак, и она поведет их по следу беглеца. Опытные заключенные говорили, что собаки теряют чутье, если по ходу сыпать за собой махорку. Но махорки не было. Говорили, что следует натирать подошвы ботинок еловой хвоей. Она тоже имеет сильный запах и может сбить собак с толку. И хотя Ахмад не знал — насколько это верно, все-таки сел на поваленный ствол и старательно протер ботинки пучком еловых веток.

Его, действительно, искали. Утром, во время поверки, обнаружилась нехватка одного заключенного. Когда установили, кого именно, то молодой лейтенант Самеев, начальник конвоя, даже изменился в лице. Лагер-

ное правило известное: упустил беглеца, сам вместо него бушлат зека наденешь. В таких случаях не только начальник, весь конвой получит по шеям, и дай бог, если отделаются только взысканиями. Свободно могут и срок влепить.

Рассыпались по кустам, побегали из стороны в сторону, постреляли в воздух для острастки. Но вполне понятно, толку от таких метаний немного. Тайга — враг, но может быть и другом. Так укроет беглеца, во век не сыщешь.

— Бегом в лагерь, — приказал лейтенант сержанту Майбороде. — Проси розыскную собаку Найду. От нее еще никто не уходил.

Сержант вернулся с Найдой, но уже темнело, а ночью даже с собакой в тайге не походишь. Оставалось ждать утра.

На рассвете Найда уверенно пошла по следу. Она бежала быстро, натягивая поводок. Проводник и трое конвойных с трудом успевали за ней, продираясь сквозь заросли кустарников и преодолевая завалы.

— Ну, тварь! — цедил сквозь зубы сержант, пропотевший насквозь от утомительного преследования. Понятное дело, что он имел в виду беглеца. — Поймаем, пожалеет, что на свет родился.

Собака вела погоню к реке. Запах хвои, исходивший от ботинок Ахмада, не смутил ее. Шли по следу до вечера. Как не спешили, а в тайге во мраке особо не побегаешь. К реке вышли к середине следующего дня. Найда добежала до воды, лакнула ее, заскулила, зарычала, давая понять, что дальше хода нет.

На песке явственно виднелись отпечатки ботинок заключенного, в воде лежала его матерчатая кепка с козырьком, зацепившаяся за прибрежный куст.

Курейка — река широкая. Один берег пологий, песчаный, другой — обрывистый, круто уходящий в воду.

— Метров триста, пожалуй, будет, — прикинул сержант. Опустил руку в воду, холодная, больше минуты не выдержишь.

— Ясное дело, — пришел сержант к выводу. — Попытался переплыть реку и утоп. Глядите, на тот берег при всем старании не выберешься.

С этим сообщением и вернулись на лесосеку. Составили акт по всем правилам о попытке побега заключенного Ахмада Расулова и его гибели в Курейке. Подписались все: начальник конвоя, лейтенант Самеев, проводник розыскной собаки, сержант и солдаты, входившие в группу погони.

Такое же сообщение отправил и начальник лагеря, полковник Пустовойт. Версия о гибели опасного рецидивиста устраивала вех. Кепка Расулова, найденная на берегу и доставленная в лагерь, была лучшим подтверждением его гибели в водах широкой и холодной сибирской реки Курейки.

Как же все происходило на самом деле?

Всего на три часа опередил Ахмад Расулов погоню. Он спешил, но силы человека не беспредельны. Лагерное питание — не лучшее средство сохранить хорошую физическую форму, тем более, что он не позавтракал. От голода поташнивало, ноги подкашивались, и он уже не бежал, а брел неверными шагами, пошатываясь, то и дело запинаясь о корни деревьев. Извилистая тропа тоже не очень-то приближала к цели. Мучения усугубляла мошка, серым облаком вьющаяся над головой. Ахмад жадно хватал воздух широко раскрытым ртом и всякий раз вдыхал его вместе с гнусом, отчего начинались сильный кашель и головная боль.

Тропа вилась по краю неглубокого глинистого оврага. По дну бежал ручей, Ахмад, оскальзываясь на склоне, спустился в овраг и припал сухими губами к холодной воде. Он пил долго и жадно, переводя дух и снова склоняясь к ручью. А потом достал из мешка буханку хлеба, отломил кусок

и принялся есть, запивая водой. Как ни спешил, а понимал, что голодный и без небольшой передышки далеко не уйдет.

Река показалась неожиданно. Ахмад продрался сквозь заросли можжевельника и увидел Курейку. Широкая, она плавно струила свои воды и была серьезным препятствием для беглеца. Конечно же, он не смог бы переплыть ее. Идти и то не хватало сил, а плыть тем более, да и пловец он был не из лучших.

Ахмад стоял на берегу Курейки, озираясь по сторонам, и вдруг едва не вскрикнул от радости. Метрах в тридцати от него прямо на берегу рос густой куст таволги, и к нему веревкой был привязан небольшой плот из четырех коротких бревен. Бревна были скреплены металлическими скобами, и плот был довольно надежным сооружением.

Ахмад бросился к плоту, торопливо распутал веревку и принялся отталкивать плот от берега. Он едва не оставил на берегу мешок со съестными припасами. Забросил его на плот в последнюю минуту и в спешке уронил кепку в воду. Ему было не до нее, счет шел на минуты. Ахмад грудью лег на бревна, плот был немногим длиннее его роста, и руками стал загребать воду, стараясь удалиться от берега. Течение реки подхватило и понесло его вниз. Мимо скользили песчаные выступы, одинокие лиственницы, поросли невысоких елей.

Руки онемели от холода, Ахмад сел на плоту и едва не засмеялся от радости. Песчаный берег сменился гористыми возвышенностями, заросшими настолько, что, казалось, были закутаны в зеленую меховую шубу. Ахмад лег на спину и отдался во власть плавного движения. Он бездумно глядел в мутноватое белесое небо с редкими стайками кучевых облаков. Вдоль реки тянуло прохладным ветерком, и гнуса не было. Еще один повод для радости. Неизвестно почему, но возникла уверенность, что побег удался. Может, погоня и была, но на плоту он для нее недосягаем. Река унесет его так далеко вглубь Сибири, что его ни с какими собаками не сыщешь. Что будет потом, Ахмад не думал, для этого еще придет время. Пока же наслаждался свободой в полной мере. Для того, чтобы понять замечательный вкус воды, нужно испытать жажду. Для того, чтобы воспринимать волю, как великое благо, нужно пройти тюрьмы и лагеря.

Ахмад с признательностью подумал об охотниках или рыбаках, которые сколотили этот плот и тем самым дали ему возможность обрести свободу. Конечно, вряд ли они помянут добрым словом вора, похитившего их плот. Но для Расулова это было неважно. Охотники соорудят себе другой плот, в тайге деревьев хватает, а этот послужит беглецу в полной мере.

Ахмад не думал, куда его принесет река и как он доберется до берега. Курейка извилистая, где-нибудь плот забросит на отмель, главное, чтобы это произошло позже.

Ветер обвевал лицо прохладой, нежил своими мягкими ладонями, был напитан ароматами близкой тайги, и Ахмад задремал. Он лежал в ложбине между бревнами, ватник намок и спину холодило, но стоило ли обращать внимание на такие мелочи? Он погружался в сон и впервые за долгое время наслаждался покоем. Его теперь не разбудят ни удары молотом по пустой бочке, ни крики надзирателей, и такой сон тоже был свободой, тоже был великим и выстраданным счастьем.

Проснулся Ахмад уже под вечер. Он чувствовал себя отдохнувшим, недавнее утомление сменилось свежестью и хорошим настроением.

Вдоль русла реки тянулись те же горы, крутые, обрывистые, густо поросшие тайгой. Тьма уже проступила в ее глубинах, деревья сливались в плотный массив. Небо наливалось густой синью, кое-где замерцали светлячки звезд.

Захотелось есть. Ахмад пожевал хлеба, съел несколько кусочков сахара, запил водой. Сел поудобнее и проверил содержимое вещевого мешка. Особого богатства не было, но какое-то время продержаться можно. Шесть буханок хлеба, пятьдесят кусков сахара, полпачки соли, десять коробков спичек, и, что больше всего порадовало его, в мешке нашелся хлебный нож. Длинный, со сточенным лезвием, но очень острый. В случае чего может пригодиться и как оружие.

Ахмад всматривался в обрывистые берега, в темные таежные массивы, надеясь заметить хоть какое-то присутствие людей. Но ни отблеска костров, ни светящихся окон изб, ничего не было видно. И он подумал, что река несет его в самую глубь Сибири, в ее необжитые и глухие пространства. «Пусть так, — подумал он. — Главное — я обрел волю. А дальше жизнь как-нибудь образуется». И опять ему вспомнилась Ульяна с ее бесконечными поговорками. «Все, что ни делается, делается к лучшему», — сказала бы она в таком случае. И Ахмад пожалел, что не писал писем своей несостоявшейся жене. Она вот всплывает в памяти, незримо подбадривает, а он не подарил ей даже коротких мгновений радости. Казалось бы, что такое письма? Листки бумаги, покрытые чернильными строками. Но Ахмад видел, как светлели лица заключенных, когда они получали такие весточки. Это были не только письма из дома, это были послания из другого мира, в котором все было по уму, не было ни издевательств, ни унижений. И он мысленно укорил себя в бездушии, хотя руководствовался благими помыслами.

Густая мгла окутала горы и таежные массивы. Ночь зачернила небо, россыпи звезд струили на землю пепельный свет. Река отражала его и казалась потоком расплавленного серебра.

Становилось холодно. Ахмад поежился. Влажная одежда не согревала, и его начал бить озноб. Он подумал, что до утра совсем закоченеет. Это в Азии ночь настолько напитана дневным жаром, что спишь, ничем не укрываясь. Сибирь таких привилегий не дает. «Вот если бы развести костер», — подумал Ахмад.

Он стал внимательно смотреть по сторонам. Мимо несло немало древесных обломков с ветвями, Ахмад ловил их, обламывал сухие, и вскоре на плоту высилась груда ветвей, вполне пригодных для костра. Вопрос ночного обогрева был решен.

Он развел костер в углублении между бревнами. Пожара можно было не бояться, бревна снизу волглые, да и в случае чего, воды в избытке. Его не беспокоило, что с берега могут заметить огонь. На середине реки он недостижим, течение быстрое, да и места тут настолько глухие, что нечего опасаться.

Так Ахмад грелся до утра, умудрился даже высушить одежду, и ночь провел вполне сносно.

Время от времени он поглядывал вверх по течению, вдруг да отправят за ним погоню на лодке. С веслами его быстро можно настичь, сам он может грести только руками, а таким способом намного ли увеличишь скорость? Но беспокоился первые три дня, а потом тревога прошла, стало ясно, что обрел свободу окончательно.

Питался хлебом, расходовал его бережно, но такая еда сил не прибавляла. В лагере кормили баландой да кашей, но это горячая пища и хоть мало в ней было полезного, но держаться можно было. А хлеб да вода, какая в них энергия? Только что пустоту в желудке заполняют. Вспомнилась Расулову первая отсидка в карцере. Нагрубил он тогда майору Рюминой, когда она в очередной раз предлагала ему стать осведомителем администрации. Сулила ему всяческие льготы, а Ахмад сказал: «Прибавьте сюда постель на двоих,

тогда, может, подумаю». Рюмина аж подпрыгнула на месте, вызвала надзирателей и отправила Ахмада на десять суток в карцер. Горячая пища только на третий, шестой и девятый дни, а так хлеб и вода. Едва ноги тогда не протянул Ахмад, с месяц после выхода из карцера откармливал его смотрящий по зоне продуктами, купленными на общаковые деньги. Без этого либо туберкулез нажил бы, либо дистрофию...

Но как Ахмад ни экономил хлеб и сахар, а они уменьшались. Река по-прежнему несла плот вглубь Сибири, и он начал тревожиться. Что, если и дальше он будет на стремнине Курейки? Крутых извивов у реки нет, и будет плот так путешествовать до самого Ледяного моря. Географию Севера и Сибири он знал плохо, и Ахмаду представлялось: когда-нибудь река непременно упрется во льды. Вот это будет достойное завершение его побега.

Хлеб и сахар закончились. Уже двое суток Ахмад ничего не ел. Он примирился со своей участью, в конце концов, смерти никому не дано избежать, и гибель на воле от голода все-таки казалась ему предпочтительнее расстрела в одном из глухих карцеров БУРа, барака усиленного режима.

Он лежал на спине, смотрел в небо и ощущал слабость. Не хотелось ни двигаться, ни даже думать. Все-таки неделя на хлебе и воде, и двое суток без ничего — многовато даже для здорового, физически крепкого мужчины.

Плот наткнулся на что-то, накренился так, что Ахмад едва не сполз в воду. Он приподнялся, осмотрелся. Было именно то, чего он так долго ждал. Русло реки круто уходило влево, и плот уперся в залом из древесных стволов. И берег был рукой подать, по залому вполне можно было добраться до него.

Сил у Ахмада сразу прибавилось. Он перебрался на залом и устремился к берегу. Стволы прогибались под его тяжестью, и он до пояса погружался в холодную воду. Он хватался руками за ветки, подтягивался, и метр за метром преодолевал препятствие. Мешок за спиной намок и мешал продвигаться к цели, но в нем были спички, приходилось мириться с тяжестью.

Сильное течение развернуло плот, он скользнул вдоль залома и поплыл вниз по быстрине. Сожаление кольнуло Ахмада: плот помог обрести ему свободу. Но с другой стороны, плот сослужил свою службу и уже не нужен был беглецу.

До берега Ахмад добирался довольно долго, но все же добрался. Обессиленный опустился на песчаную отмель и долго сидел, глядя на быстрину реки. Вода с шумом уходила под залом, пенилась, раскачивала сцепившиеся стволы.

Ахмад поднялся на ноги и осмотрелся. Прямо перед ним вздымался крутой откос, ощетинившийся камнями. Высота его была приличной, а там, наверху, виднелись лиственницы. Там начиналась тайга.

Ахмад стал взбираться по откосу. Сухая земля осыпалась под ногами, и дважды он скатывался вниз, обдирая ладони о камни. Падал и упрямо продолжал карабкаться вверх, хватаясь за выступающие корни.

Наконец, подъем был преодолен. Ахмад упал грудью на верхушку косогора и долго лежал, собираясь с силами. Он тяжело и шумно дышал, сердце так колотилось в груди, что сотрясалось все тело. Потом поднялся на дрожащие ноги и побрел вглубь тайги.

Ни в чем не угадывалось тут присутствие человека. Первозданная природа без следов вырубки. Нигде не виднелись черные проплешины от костров. Прямые стволы лиственниц и кедров казались отлитыми из меди, ели держались кучно, их кроны сливались в темно-зеленую стену.

Прежде всего, нужно было позаботиться о пище. Ахмад побрел к елям, они растут на сырой почве, и там, вероятнее всего, можно найти грибы. И верно, он

наткнулся на их россыпь. Это были белые грибы, крепкие, без единой червоточины. Ахмад осмотрел спички, некоторые коробки подмокли, но были и сухие. Развел костер, нанизал грибы на прутик и стал поджаривать. Есть хотелось до спазм в желудке, но он съел лишь малость. В его положении излишек пищи мог обернуться большими неприятностями. Долго лежал у костра, наслаждаясь теплом. Тайга приняла его, и он верил — сохранит ему жизнь и дальше.

День угасал, следовало позаботиться о ночлеге. Набрал сухих дров, сложил их в кучу, прикинул: до утра должно хватить. Темнело быстро, стволы деревьев и кустарники сливались в сплошную черноту. Послышался глухой рев, Ахмад вздрогнул. Так мог реветь дикий северный олень, а мог и медведь, встреча с которым была бы нежелательной. Он спал чутко, время от времени пробуждаясь и бросая ветки в костер. В кустах поодаль кто-то шумел, словно продирался сквозь заросли, красными огоньками светились чьи-то глаза. Ночная тайга была полна жизни, но никто не пытался напасть на него, и Ахмад благополучно дотянул до рассвета.

Утром он снова поел жареных грибов, особой сытости не чувствовал, но голод не так томил, а главное — появилась уверенность, что он спасся от гибели.

Он шел на восток, в сторону восхода солнца. Он упрямо стремился именно туда, где зарождался день. Какой-то инстинкт побуждал его двигаться именно в ту сторону.

Ахмад забрел в самую глушь тайги. Лиственницы и кедры стояли вплотную, косматые пихты преграждали путь, опять появились завалы, преодолевать которые было подлинным мучением. Наверное, не следовало удаляться от реки, разум подсказывал ему это, а интуиция гнала вперед. Один раз он наткнулся на родник, напился вволю, отдохнул и пошел дальше. Пошел, наверное, не точно сказано; он брел, путаясь ногами в траве и мшистой поросли, и озирался по сторонам, отыскивая, что бы можно съесть. Встречались кусты малины, смородины, невысокие деревца боярышника. Их ягоды еще не вызрели, но годились в пищу. Он набивал ими живот до икоты и все-таки мучительно хотел есть. Это была несытная пища, дававшая лишь видимость еды. Кедровые орешки были питательнее, но они росли высоко и добраться до них было сложно. По прямому гладкому стволу не залезешь, а палкой удавалось сбить лишь несколько шишек, не больше.

Ахмад брел по тайге, потеряв ощущение времени. Если бы его спросили — сколько дней прошло с той поры, когда он выбрался на берег, он бы затруднился ответить. Вечерело, он устраивался на ночлег, рассветало, снова отправлялся в путь. Он был занят только поисками пищи. Живности было полно: по стволам сновали белки, проскакивали зайцы, видел соболей, но у него не было ружья, а голыми руками зайца не поймаешь. Много было птиц, несколько раз в кустах отыскивал гнезда, в них лежали три-пять яиц. Пил их сырыми или запекал в костре, все-таки хоть какое-то разнообразие. От грибов и ягод его уже мутило.

Часто шли дожди. Укрывался от них под густыми елями, пережидал. В углублениях скапливалась темная вода, пил ее; все чаще останавливался на отдых. Подолгу сидел на стволах поваленных деревьев или на обломках камней, покрытых лишайником. В голове вяло струились обрывки мыслей: долго ли еще бороться за жизнь и найдется ли какой-нибудь спасительный выход? Теперь даже лагерное бытие не казалось ему столь тягостным. Все-таки там был среди людей, можно было с кем-то перекинуться словом. Были, если не друзья, то, по крайней мере, товарищи, искренне расположенные к нему. Теперь же одиночество томило его не меньше голода.

Он вспомнил слова одного политического заключенного: «Человек — существо общественное» и согласился с ним. Именно общества, пусть даже уголовников, не хватало ему.

Тайга то поднималась на холмы, то опускалась в низины. В одной из низин Ахмад увидел небольшое озерцо. Голубоватая вода в обрамлении зелени походила на осколок зеркала. Ахмад спустился к озеру, сел на камень, наслаждаясь тишиной и неяркими красками сибирского лета. И вдруг его словно подбросило. В озере водились рыбы. Он не знал их названия, но они были довольно крупными, и, главное, не боялись человека. Рыбы подплывали к берегу и застывали, уткнувшись носами в тину.

Ахмад снял рубаху, завязал рукава и ворот, застегнул на все пуговицы, вошел в озеро, и потащил за собой рубаху, точно бредень. Даже такое нехитрое приспособление оказалось действенным. Не прошло и часа, а он уже добыл с десяток крупных рыб. Почистил их, нанизал на прутья и поджарил на костре. Соль у него была, и ужин получился поистине царским.

У озера Ахмад прожил три дня. Отдыхал, вдоволь ел, и даже запасся рыбой в дорогу. Не хватало хлеба, но тут уже он ничего не мог поделать.

Он шел по-прежнему на восток. Мог, в конце концов, устроиться у озера, вырыть в склоне пещеру и подготовиться к зимовке. Пища была, вокруг много сухого валежника, как-нибудь продержался бы до очередного тепла. Хотя нет, не продержался бы. Он уже знал, насколько сурова и безжалостна сибирская зима.

Какая-то сила влекла его вперед, и он подчинялся ей. Когда Ахмад посмотрелся в озеро, то не узнал себя. Он увидел исхудавшего человека, с ввалившимися глазами, заросшего волосами. Это было лицо дикаря, а может быть, снежного человека, о котором он когда-то читал в газете. Его одежда обветшала и порвалась, в прорехах виднелось голое тело. Нечем было укрыться ночами от холода, и единственным спасением оставались костры.

Ахмад продолжал идти. И уже на исходе какого-то дня, он продрался сквозь чащобу желтой акации и жимолости и вышел на небольшую поляну. На ее окраине у громадного кедра увидел зимник, бревенчатую избу, в которой останавливались охотники. Ее бревна потемнели от времени, одна створка ставней валялась на земле, другая косо свисала на петле. Небольшое оконце было затянуто бычьим пузырем. Но это было жилье, то самое, к которому его так упорно вела интуиция.

Ахмад подбежал к зимнику, дверь была заперта, ее удерживал колышек, вставленный в пробой поверх петли. Он выдернул колышек, распахнул дверь и буквально влетел в избу. Было темно, едва различались какие-то предметы.

И тут силы оставили Ахмада Расулова. Сказалось напряжение долгих дней. Побег с лесосеки, путь на плоту по реке, утомительное путешествие по тайге, впроголодь и без видимой цели. Сознание покинуло его, и он упал на пыльный щелястый пол.

Ахмад видел себя в колхозном саду, в почти забытом Истаравшане. Он стоял под урючным деревом и осторожно касался его веток руками. Золотистых плодов было столько, что ветви едва не обламывались под их тяжестью. Он любовался этим великолепием, думал о щедрости родной земли. Может, где-то есть земли и получше, но сейчас сад казался ему райским местом, тем самым, где наслаждаются отдыхом праведники. Рядом с Ахмадом стоял пожилой сосед Рахматулло и говорил почему-то на блатном языке: «Ну что ты, как последний фраер, шары выпучил? Погоди, попадешь на зону, баланде рад будешь...»

К чему это сказал Рахматулло, Ахмад не понял. Он застонал и пришел в себя. Приподнялся на руках, осмотрелся, потом сел. Зимник был не очень большим. Треть его занимали широкие нары, застланные пушистыми шкурами. На стенах прибиты полки с берестяными коробками. Под нарами стоял большой ящик. Но что потрясло Ахмада больше всего, это то, что на стене над нарами висело ружье.

Ахмад бросился к нему, снял с гвоздя и внимательно осмотрел. Открыл ствол, чистый, без копоти. Закрыл, нажал на спуск, боек щелкнул. Ружье было исправным. Положил ружье на нары и стал открывать берестяные коробки. Соль, сахар, крупы, в большом коробе вяленое мясо. Дольки сушеной картошки, чеснок, привядший лук, но пригодный в пищу. Мука, горох, подсоленные сухари; было еще что-то, но и то, что увидел, потрясло его до глубины души. Теперь он понял, к чему ему привиделся колхозный сад. Это было обещание продуктового изобилия.

В ящике под нарами была сложена одежда: штаны, рубахи, сапоги, теплое зимнее одеяние. Под ними россыпью лежали патроны, там же виднелись упаковки пороха, дроби и пуль. В углу грудились капканы, за ящиком Ахмад увидел глиняные горшки.

Слева от входа была сложена кирпичная печь, обмазанная глиной. В сенях перед входом в жилье до потолка высилась поленница сухих дров.

В зимнике было все, о чем только мог мечтать беглый заключенный.

Ахмад сидел на нарах, жевал сухарь с вяленым мясом и во все глаза рассматривал доставшееся ему богатство. Он слышал о зимниках, которые промысловики сооружали для охоты в тайге, но слышал также и о таежном законе: любой путник, попавший в беду, мог остановиться в зимнике и пользоваться всем, что там имелось.

И он пользовался этим. Теперь в душе его появилась уверенность, что гибель в тайге ему больше не грозит, по крайней мере, от голода. Исчезли усталость и бессилие, тело наполнилось энергией. За избой была пристройка, вроде небольшого сарайчика. Там тоже были сухие дрова, и что его обрадовало больше всего, небольшой штабель из досок и плотницкий инструмент. Конечно, это был не тот набор, что у него дома, но все необходимое имелось, и можно было привести зимник в порядок. Тут было к чему приложить руки.

Колодезный сруб тоже обветшал, крышки не было, ворот сгнил и покосился. Ведро валялось на земле. Ахмад посмотрел в глубь колодца, вода была, отсвечивала тусклым зеркалом.

Ахмад набрал воды в ведро и понес в зимник. Взял глиняный горшок, положил туда кусок вяленого мяса, залил водой, растопил печь и поставил горшок на огонь. Когда мясо сварилось, добавил сушеного картофеля, крупы. Как и многие азиатские мужчины, Ахмад Расулов был неплохим поваром. Мог приготовить все, что угодно: и шурпу, и лагман, и маставу, и пельмени. А уж о плове и говорить нечего, это блюдо неизменно вызывало похвалу друзей. Мог замесить тесто и испечь самбусу, лепешки и многое другое, включая и паровые манту. Но ни одно блюдо не доставляло ему такого удовольствия, как этот немудреный суп, сваренный в зимнике из незамысловатых продуктов. Он ел его, обжигаясь, торопливо глотал, так, как-будто вот-вот раздастся команда: «Заключенные, выходи строиться!», и только когда опустел горшок, Ахмад оторвался от еды и блаженно зажмурился. Уже шесть лет он не ел ничего подобного, ни в тюрьме, ни потом в лагере. Даже питание на общаковые деньги не шло ни в какое сравнение, в нем не было главного — вкуса свободы.

День угасал, пора было устраиваться на ночлег. Ахмад взял инструменты и занялся ставнями. Вытащил ржавые гвозди, выпрямил петли, покрепче

сбил полотно ставней, а потом закрепил их на окне. Теперь они закрывались надежно. Осмотрел входную дверь и тоже поправил ее.

Странное дело, сколько ночей он спал в тайге, доступный всем хищникам, оборонявшийся от них только слабым пламенем костра, а теперь в помещении делал все, чтобы укрыться, как можно надежнее. Такова непоследовательность человеческой натуры.

Ахмад спал беспокойно, как всегда на новом месте. То ему казалось, что кто-то ходит вокруг зимника, то вроде пытается открыть дверь, и он то и дело касался рукой лежавшего рядом топора.

Проснулся, когда светило солнце. Вышел из избы и зажмурился от обилия света. Солнечные лучи пронизывали тайгу насквозь, и она казалась праздничной. Лиственницы и кедры блестели гладкими и ровными стволами, ели походили на подружек, выбежавших поиграть на поляне, и даже пихты утратили свою мрачность. Бездонная глубина неба кружила голову, плотные кучевые облака лишь подчеркивали чистоту и ясность поднебесья.

Два дня Ахмад ел и отсыпался вволю, а потом стал трудиться. Поменял подгнившие ступеньки на крыльце, из березовых жердей сделал перила. Поправил колодезный сруб, изготовил новый журавль и крышку. Обновил наличники на окне, в самом доме настелил несколько новых досок на полу, сколотил покрепче шатавшиеся нары. Забрался на крышу, сложил развалившуюся дымовую трубу, настелил свежую дранку, которая ложилась, как черепица. Нужник возле зимника покосился и грозил рухнуть, Ахмад не позволил ему этого. Укрепил и сколотил, как надо, и эта важная часть людского бытия стала выглядеть пристойно.

Трудился Ахмад Расулов с удовольствием. Руки истосковались по полезному делу, и часы за работой летели незаметно. Вроде только было утро, а уже, глядишь, небо начинало сереть, и в тайге залегли синие тени. Вечером готовил себе еду на день. Собирал грибы и ягоды и разнообразил ими свое питание.

Ахмад со стороны осмотрел зимник и остался доволен. Бревенчатая изба выглядела обновленной, и холода его не застанут врасплох. Ахмад пользовался дровами, но рубил и новые, так что поленница не уменьшалась. Продукты ел, но кое-что запасал. Конечно, муку и крупы ему взять было негде, а вот мясо вялил и складывал впрок. Стрелял зайцев, не брезговал и белками. Лагерь приучил его есть все, что только может переварить желудок. Иногда проскакивали дикие северные олени, но их подстрелить не удавалось, слишком уж стремительным был их бег, да и близко к себе они не подпускали. По правде говоря, Ахмад не очень жалел об этом, красивыми и мощными были эти животные, да и что бы он делал с таким обилием мяса.

В тайге водилось много птиц, почти все они годились в пищу, кроме пернатых хищников. Птицы и зайцы составляли основной рацион беглеца. Чая не было, заваривал кипятком смесь листьев черемухи, смородины и мяты, добавлял вызревших ягод, получался ароматный напиток, который и утолял жажду, и бодрил.

Ахмад Расулов жил в полном согласии с окружавшей его природой. Вреда ей не наносил, брал для себя лишь самую малость, и ему вполне хватало этого.

Казалось, чего бы желать большего, но истаравшанец был деятельной натурой, и период безделья и отдыха завершился довольно скоро. Осень давала о себе знать: бурела трава, в кронах берез появились желтые листья, ягоды рябины и боярышника вызрели и ждали первых морозов, чтобы утратить горечь и стать годными к употреблению.

Небо выцвело, и прежняя синь становилась блеклой. Светлые кучевые облака сменились тяжелыми черными тучами, которые сумрачно нависали

над тайгой и кропили ее частым, нудным дождем. В ясные дни в воздухе плыли нити серебристых паутин. Они цеплялись за ветки и развевались, как флаги приближающейся поры увядания.

Ахмад с беспокойством думал о предстоящей зиме. Нужно к ней готовиться, пока что тайга давала такую возможность. Грибов и ягод было полно, да и дичи, и птиц, не пуганных человеком, вокруг водилось в изобилии. Все это так, но насколько постоянно его жилье? Зимники — это пристанище охотников-промысловиков. Явятся они с наступлением холодов, когда открывается охотничья пора, и куда тогда деваться беглому заключенному? И кто может поручиться за то, что не сдадут они его лагерному начальству? Бывалые уголовники, прошедшие огни и воды, говорили, что сибирякам за каждого беглеца платят приличные наградные.

Ахмад Расулов терялся в размышлениях и готов был к любому повороту событий, лишь бы они не слишком поздно заявили о себе.

И они заявили как раз вовремя.

Ахмад разделывал во дворе сухой валежник на дрова, когда увидел вышедших из чащобы троих мужчин. Они негромко переговаривались и шли по направлению к нему. Ахмад выпрямился и стоял, сжимая топор в руках.

Мужчины были в самой зрелой поре, годам к сорока, не больше. Здоровенные, кряжистые, бородатые. Двое светлые, больше в рыжину, третий потемнее. Одеты добротно, в меховые куртки, штаны из толстой грубой материи, на ногах крепкие сапоги. Хотя было еще не холодно, но шапки покрывали головы. За плечами ружья, на спинах плотно набитые рюкзаки, на поясах большие охотничьи ножи.

Тот, что потемнее бородой, держался уверенно и шел чуть впереди, видимо был старший.

— Бог в помощь, хозяин, — грубоватым звучным голосом поприветствовал он Ахмада. Остальные двое склонили головы в легком поклоне.

— Здравствуйте, — отозвался Ахмад. Он не знал, чего ожидать от незнакомцев и держался настороженно. Это были первые люди, которых он встретил после побега из лагеря. По-видимому, это и были промысловики, о которых он столько думал, и которые появились неожиданно.

Незнакомцы обошли его, точно он был древесным стволом, осмотрели избу, зашли внутрь, потом вышли, оглядели крыльцо и поленницу, похлопали ладонью по будке отхожего места. Не обошли вниманием и починенный сруб колодца. Снова подошли к Ахмаду.

— Руки у тебя к месту приставлены, — похвалил старший. — Мы все тут собирались порядок навести, да все недосуг. А ты, гляди-кось, какую красоту навел.

От такой похвалы на душе полегчало. Начало не предвещало ничего плохого.

Особенно понравилась промысловикам скамейка, которую Ахмад сколотил под окном, и сидел на ней по вечерам, глядя, как сумерки медленно перетекают в ночь.

— Сядем, — предложил старший, хлопнув ладонью по плоской доске скамейки.

Сел сам, рядом пристроились его спутники, Ахмад опустился на край скамейки.

— Из мастеровых будешь? — спросил старший.

Ахмад кивнул.

— Плотник.

— Умельца сразу видно, — согласился старший промысловик. Его спутники сидели молча, без очевидного интереса разглядывая истаравшанца.

— Имя-то как?

— Ахмад.

— Ахмад? Вишь ты... — удивился старший. — Из какого же народа будешь?

Ахмад пояснил.

— Таджик я. Из Средней Азии. Слышали о такой?

— Вроде слыхали, — отозвался старший. — Мы в нашей тайге не шибко грамотные. У нас свои науки. Как оказался в нашем-то зимовье?

Ахмад молчал. Рассказать правду о себе, — но, кто знает, как воспримут ее эти самые охотники? Соврать, придумать какую-нибудь историю, но они вряд ли поверят, и тогда не будет ли хуже? Может, сказать, что работал с геологами, или с какими-нибудь учеными, и отстал от них? Но бывали ли они тут? Таежники, сидевшие рядом с ним, хорошо осведомлены в том, что делается в их краях, и сразу увидят ложь...

Ахмад молчал, молчали и промысловики, поглядывая на него. Одет он был в их одежду, жил в их зимнике и питался их продуктами. Правда, зимник обновил, навел в нем порядок, и это понравилось его хозяевам.

Молчание затягивалось.

— Не спешишь с ответом-то? — усмехнулся старший. — Тогда я скажу о себе, а потом к тебе перейдем. Меня, к примеру, зовут Софрон. Это мои братья, вот он — Макар, а тот — Даниил. Мы староверы, вот уже триста лет обретаемся в тайге. Когда-то нечестивый царь Петр стал прижимать нас, запрещал нашу веру, заставлял почитать лютеран, забывать наш старинный жизненный уклад. Тогда-то мы и ушли в Сибирь и укрылись в таких местах, где нас никакая власть не достанет. Из поколения в поколение живем промысловой охотой, сеем понемножку пшеницу, рожь, выращиваем кое-какие овощи, скотину разводим. Было одно селение, стало пять, но довольно далеко одно от другого, хотя все мы родня друг другу.

Добываем белок, песцов, соболей, лисиц, горностаев, меха сдаем в факторию, на деньги закупаем все, что нам нужно. Только там и общаемся с властями, а в остальном живем сами по себе. Это я к тому говорю, чтобы ты, Ахмад, не опасался, никого мы к себе не привлекаем, но никого и не отдаем на поругание. Понял ты меня?

Ахмад Расулов неопределенно пожал плечами. Что-то понял, а что-то осталось неясным. Например, что дальше будет с ним? Останется ли он в этом зимнике или опять уходить в тайгу и искать там новое укрытие? Поскорее бы определиться, осень на носу, а там и зима заведет свои песни.

Староверы поняли его молчание.

— Господь тебя послал к нам. Мы уже и не помним, когда к нам прибивались чужие люди. Ты не звериной породы. Другой бы разорил наш зимник, истребил все, что тут было, да и ушел бы восвояси. А ты, вишь, как обновил его, нам и делать ничего не надо, вселяйся и занимайся охотой. Но сами мы не можем решить твою судьбу, у нас есть главный, старец Никифор.

Стало быть, предложение такое: пойдешь с нами в наше селение, там старец потолкует с тобой и скажет, как тебе жить дальше.

Надо сказать, это предложение староверов не совсем понравилось Ахмаду. Вот уже шесть лет его тюремного и лагерного бытия кто-то руководил им, лишал свободы, заставлял делать то, к чему не лежала душа. Только-только вырвался на свободу, вдохнул полной грудью воздух воли, и снова чья-то власть нависнет над ним.

Он опять молчал, прикидывая, что сказать в ответ Софрону, но тот не стал дожидаться ответа.

— Мы ведь, брат ты наш, не насильники, не хочешь идти с нами, так тому и быть. Тайга просторная, места всем хватит, иди куда хошь, хоть направо, хоть налево.

Ахмад вздохнул и посмотрел в глаза Софрону.

— Пойду с вами.

Селение староверов находилось в трех днях пути от зимника, в котором обосновался Ахмад Расулов.

Вышли на другой день с рассветом. Опытные таежники, староверы шли, вроде не торопясь, а Ахмад не успевал за ними. Шагали они широко, но так тихо, что сучок под ногой не треснет.

— Я так не могу, — признался Ахмад.

— Уж вижу, — усмехнулся Софрон. — Ну что ж, пойдем помедленнее. Тогда не три, четыре дня будем идти. Ну да ничего, спешить нам некуда. Вот Макар пойдет вперед и предупредит, что запаздываем по делу и гостя ведем.

Макар двинулся по тропе скользящим шагом и вскоре скрылся за деревьями.

Староверы были подлинными хозяевами тайги. Если и стреляли какую дичь, то ровно столько, чтобы поесть, ничего лишнего. Под ветвями проходили, пригибаясь, ничего не ломали и не портили. Ахмад внимательно наблюдал за ними, и это их отношение к окружающему миру нравилось ему.

Часто останавливались, чтобы перекусить, отдохнуть возле родников и протоков. Причем делали это не потому, что уставали, а жалели своего попутчика. Их еда пришлась Ахмаду по нраву. Он уже давно не ел настоящего хлеба, а у промысловиков его было вдоволь, пышного, ноздреватого, аппетитно пахнущего. И как ни сдерживался, а ел хлеб ломтями. А пироги — с мясом, грибами, ягодами. Ахмад не мог оторваться от них.

— Оголодал ты, парень, — добродушно усмехнулся Софрон. — Да ты посмелее работай зубами, у нас этого добра вдоволь.

Разговаривал с Ахмадом, в основном, Софрон. Третий брат Даниил отмалчивался, и вообще староверы не были излишне любопытными и навязчивыми. В этом тоже было свойство их характеров, и это тоже пришлось Ахмаду по нраву.

Они шли часами, размеренно и неспешно. Но даже такая ходьба была непривычна Ахмаду. Однако сильного утомления не было. Хорошая еда, чистый воздух, здоровая таежная жизнь делали свое дело. Он окреп и чувствовал себя все увереннее. Двигались по звериным тропам, огибали чащобы, иногда взбирались на косогоры, а один раз пришлось перебираться через болото. Вооружились длинными крепкими жердями, слегами, как выразился Софрон.

— Гляди, шагай за мной след в след, — предупредил он Ахмада. — Шаг в сторону и завязнешь. Повозимся тогда с тобой.

Ахмад Расулов только покачал головой. Вспомнился начальник конвоя: «Шаг влево, шаг вправо, считается побег. Конвой стреляет без предупреждения».

Неужели и вправду это было с ним, и неужели никогда больше не повторится?!

Болото преодолели благополучно.

И верно, в селение староверов пришли на исходе четвертого дня. Миновали густой ельник и вышли на чистое пространство, заставленное деревянными избами. Причем, как понял Ахмад Расулов, это пространство было отвоевано у тайги. И он подумал: сколько же труда и упорства нужно было, чтобы потеснить могучее вековое царство растительного мира.

Дымились трубы на крышах домов, мычали коровы, бегали дети, собаки с лаем выбежали навстречу путникам, но, признав своих, завиляли хвостами. И больше всего потрясли истаравшанца лошади. Он любил их и так давно не видел, что, казалось, будто эти животные больше не существуют на свете. А тут они паслись на окраине селения, заливисто ржали, и острая тоска по родине на мгновение пронзила истаравшанца.

Бабы и дети любопытными взглядами окидывали Ахмада. Мужики вели себя сдержаннее, но чувствовалось, что необычный пришелец тоже занимал их внимание.

Софрон завел Ахмада в небольшой дом на окраине селения. Две полутемные комнаты, печь, лавка, другие необходимые вещи и утварь.

— Отдыхай пока, — коротко проговорил Софрон. — Узнаю, что дальше-то.

Ахмад снял с себя меховую куртку, лег на широкую лавку и закрыл глаза. Тело гудело от усталости, перед внутренним взором проплывали картины пройденного пути: лиственницы, сосны и кедры. Ели, образовавшие чащобу. В ней пахло сыростью и ароматом хвои. Заросли жимолости, можжевельника и смородины. Все это было уже знакомо, но всякий раз он поражался великолепию, изобилию тайги.

Это был мир, с которым можно было только сосуществовать, но не властвовать над ним. Тайга могла принять, если ты пришел к ней с добрыми намерениями, но могла и отторгнуть, если оказался враждебен ей.

Стукнула дверь, показался Софрон.

— Притомился с пути, — сказал он добродушно. — И то, путь-то немалый. Стало быть так, к старцу пойдем утром. Пока сходим в баньку и волосья твои подравнять надо. Больно уж дикий вид у тебя. Садись-ка на лавку.

Большими острыми ножницами Софрон укоротил Ахмаду бороду и усы, коротко срезал волосы на голове.

— Совсем другой вид, — одобрил он свою работу. — Говорят, в тайге водится лесной человек. Правда, сколько мы тут живем, такого дива еще не видывали. Но если бы тебя увидали в тайге, без одежи, вполне бы мог за того лесовика сойти.

Посмеялись, потом Софрон предложил: — Давай-ка, брат, в баню.

Сибирская баня поразила его. Сложена она была из толстых бревен лиственницы, с маленькими, подслеповатыми окошками. Небольшой предбанник с лавками и деревянными кольями в стене для одежды. Когда же вошли в саму баню, Ахмад едва не задохнулся. Густой пар царил в ней, да такой, что ничего невозможно было разглядеть. Тускло светили угли в очаге, в нем калились большие камни. Жара стояла такая, что даже истаравшанское лето показалось бы прохладной порой.

Ахмад попятился назад, но Софрон подтолкнул его в спину.

— Давай, давай, обвыкнешь, — осмотрел Ахмада, одобрил. — Ты, видно, мужик справный был, только с голодухи мясцо-то потерял. Ну да, ничего, дело наживное.

Набрали горячей воды в тазы, мыли голову с мылом, терлись мочалками.

— Ложись-ка теперь на полок, сейчас я тебе настоящую баню устрою, — распорядился старовер.

Полки ступенями уходили к потолку. Ахмад лег на нижнюю. Софрон из ковша плеснул воду на раскаленные камни. Пар ударил вверх, Ахмад едва удержался от крика, до того обожгло тело. А Софрон принялся хлестать его дубовым веником, и в этот миг все лагерные истязания показались Ахмаду детскими забавами.

— Все, не могу! — закричал он.

Софрон облил его холодной водой, и это принесло минутное облегчение. Но все равно, Ахмад вскочил на ноги и выбежал в предбанник. Сел на скамью и тяжело дышал, пот обильно стекал с него.

— Одно слово — азиат, — засмеялся Софрон. — Но ничего, поживешь в тайге, сибиряком станешь.

Сам Софрон парился долго, кряхтел, рычал по-звериному. Вышел и снова потащил Ахмада в баню. Но веником больше не бил, только обмылись горячей водой. В предбаннике отпивались холодным квасом, потом оделись во все чистое и снова пошли в избу.

Поужинали, чай староверы не пили, называли его сатанинской травой, как и кофе, и табак. Спиртные напитки тоже не употребляли, и это порадовало Ахмада. Он тоже алкоголь не жаловал. Зато вдоволь было всяких квасов, ягодных отваров и компотов.

— А теперь спи, — предложи Софрон. — Ручаюсь, до утра, как в яму провалишься.

И точно, давно уже Ахмад не спал так крепко, без сновидений и тревоги. Утром пробудился и даже ахнул от удивления. Тело было легким, каждая косточка казалась промытой; было такое ощущение свежести и здоровья, словно ему исполнилось не сорок пять лет, а лет на двадцать меньше.

Утром перекусили мясным пирогом, запили клюквенным морсом, а потом Софрон повел Ахмада к главе староверов.

Шли через все селение. Таежники поглядывали на редкостного гостя, но никаких замечаний в его адрес не отпускали.

Изба, в которой жил старец Ананий, была одновременно и молельным домом, потому находилась в центре селения и была вместительнее остальных построек.

День выдался солнечным и светлым, хотя до этого погода хмурилась, и несколько раз лили холодные дожди.

Одна из стен в молельном доме была целиком завешана иконами разной величины, потемневшими от времени. Перед ними горели лампады, и вместительная комната наполнялась розоватым сиянием.

Старец Ананий сидел за большим столом, сколоченном из толстых досок. Он оказался, действительно, старцем, худым, с запавшими щеками и узкой, длинной, седой бородой. Одет был в черный балахон, на голову надвинут остроконечный колпак, но все равно было видно, что Ананий совершенно лысый. Его голова походила на череп, жили только глаза, ясные и внимательные.

Ахмад Расулов перешагнул через высокий порог и остановился. Снял шапку, поклонился, как научил его Софрон.

— Здравствуйте.

— И ты будь здоров, мил человек, — отозвался Ананий. — Проходи, садись.

И указал рукой на лавку, с правой стороны от себя.

Ахмад сел, чувствовал он себя стесненно. Обстановка была непривычной, и он не знал, как вести себя и что говорить. В таких случаях молчание лучше всего, и Ахмад молчал, ожидая расспросов.

Комната заполнилась мужиками. Они сидели на лавках вдоль стен и тоже помалкивали. Среди них Ахмад увидел уже знакомых ему Софрона, Макара и Даниила.

Мужики, сопровождавшие его, видно, уже рассказали старцу о встрече с Ахмадом в зимнике, и что он там сделал, потому Ананий не задавал лишних вопросов, а перешел прямо к делу.

— Руки у тебя золотые, стало быть, и душа такая. Хорошее ты дело сотворил на зимнике, а у нас такой обычай: отвечать добром на добро. Потому не тревожься, будь самим собой и не лги. Ты сейчас не только перед нами, но и перед Господом.

Старец указал рукой на иконы.

— Ложь не в моем обычае, — глухо отозвался Ахмад.

Ананий удовлетворенно склонил голову.

— Похвально, коли так. Тогда скажи, как ты оказался в наших краях? Сюда чужая птица редко залетает, а уж чужой человек — вообще дело невиданное. На сотни верст в любую сторону ни живой души.

И Ахмад без утайки рассказал о себе все с самого начала. И как оказался в Москве, как был принят за грабителя Сбербанка, и что потом последовало за этим.

Старец не сводил с него глаз, и временами Ахмаду казалось, что его взгляд пронизывает насквозь.

— Стало быть, бежал от сатанинской власти, — подвел итог Ананий. — Не в осуждение говорю, сами когда-то также поступили. Через то и стали таежниками.

— Бежал, — согласился Ахмад.

— И какой ты веры? — неожиданно спросил Ананий.

Ахмад задумался.

Действительно, какой? Таджики были мусульманами, но при Советской власти религию отделили от государства, да так, что мечети позакрывали, а наиболее стойких священнослужителей — кого расстреляли, а кого определили в заключение на долгие сроки. И стали таджики, как писал великий поэт Омар Хайям, «полубезбожники и полумусульмане».

— Даже не знаю, что сказать, — признался Ахмад. — Дед и отец исповедовали ислам, а я и за ними не последовал, и безбожие мне не по душе.

— Но все же из магометан? — продолжал допытываться Ананий.

— Выходит, что так, — согласился Ахмад.

В этот миг луч солнца проник через окно в комнату и осветил истаравшанца, да так, что он даже зажмурился.

Мужики переглянулись, загудели.

— Вишь, Господь отметил тебя, показал, что нет в твоей душе дурных помыслов, — удовлетворенно отметил старец Ананий. — Добрый знак для всех нас. Дальше-то как думаешь жить?

— Не знаю, — признался Ахмад. — Если бы не зимник, я бы точно не выжил. А теперь, как решите.

— Решим, решение наше будет такое. Взять тебя к себе мы не можем. Ты не славянских корней, но даже не это главное. Главное, что иноверец. Сейчас ты еще не определился, а придет время, и Господь осветит тебя, вот как сейчас солнце озарило. И придешь ты тогда к вере предков. Оттого уговаривать тебя принять христианство и креститься — бессмысленно. Будь тем, кто ты есть. Но и бросить тебя мы не можем, коли Бог привел к нам. Потому сделаем так. В неделе пути от зимника, в котором ты обретался, есть другое зимовье, правда, поплоше. Переберешься туда. Снабдим тебя продовольствием и всем необходимым. Зиму продержишься, а далее, как сумеешь. Тут уж мы за тебя не ответчики.

Ахмад размышлял. Он и сам не знал, чего ожидал от староверов, но, в общем-то, они не оттолкнули его. Первую зиму помогут пережить, а дальнейшее зависит от него самого. Пусть будет так.

— Чего молчишь? — полюбопытствовал Ананий.

— Моя судьба в вашей воле, — отозвался Ахмад. — Кроме благодарности, ничего другого сказать не могу. Раз зимовье поплоше, плотницкие инструменты мне понадобятся.

— Там есть, — отозвался Софрон.

— Ружье, припасы к нему...

Ананий остановил Ахмада.

— Я же сказал, все, что нужно на первых порах, получишь.

Ахмад посмотрел на старца.

— А почему мне нельзя остаться на зиму в прежнем зимнике? А по весне я бы перешел в другой.

Старец пожевал тонкими бесцветными губами.

— Ну, это просто. Зимник расположен в самом охотничьем угодье. Там мы добываем меха для продажи. Ты иноверец и жить с тобой вместе мужики не будут. Не положено это по нашему уставу. И так ты задал нам хлопот, опоганил нам жилье. Теперь его надо промыть святой водой, очистить молитвами.

— Я могу жить в пристройке, — стоял на своем Ахмад. — Утеплю ее. Неужели я не смогу быть вам полезным? Ведь я же показал свое умение.

— Не можешь ты быть нам полезным, — жестко проговорил Ананий. — Ты для нас грешник и еретик, а с такими никакое соседство не допускается. Не принимаешь наше условие, можешь идти на все четыре стороны, — и Ананий повел вокруг себя тонкой высохшей рукой.

Ахмад поторопился возразить.

— Принимаю, да еще с великой благодарностью. Когда отправляемся?

— Мужики пойдут прежде и отнесут все, что потребуется для зимней поры. А ты отдохни пару деньков, а потом Софрон проводит тебя. Ладно, что ли, Софрон?

— Как прикажешь, батюшка, — умерил свой зычный голос промысловик.

— А и прикажу. На том и ступайте с Богом.

Мужики перекрестились на иконы и по одному вышли из молельного дома.

— Спасибо вам за заботу, батюшка, — поблагодарил Ахмад.

— Господь да не оставит тебя своей милостью, добрый человек, — пожелал Ананий. — Мы же сделали все, что могли. И далее, по мере возможности, присмотрим за тобой.

Семь дней в пути Ахмад провел с пользой. Бывалый охотник-промысловик показывал ему, какие травы помогают при простуде, чем и как останавливать кровь, какие плоды пригождаются для восстановления сил и прочее. Это была подлинная таежная академия, и к тем знаниям, которыми располагал Ахмад, он прибавил еще немало других.

Софрон учил его, как нужно бить белок, как стрелять соболей и горностаев, чтобы не попортить шкурки, как подкрадываться к диким оленям. Тут уж ему было не сравниться с опытным таежником, но он уже на своем примере убедился, что в жизни никакие знания не бывают лишними, и слушал внимательно наставления Софрона.

Новое зимовье, которое определили Ахмаду, было не просто плохим, оно было ветхим. Бревна подгнили, мох, которым конопатили щели между ними, выпал, и холодный ветер гулял по жилищу. Нуждалась в починке крыша, провалились доски на полу внутри избы, обрушился навес, под которым хранили дрова. С грустью осматривал Ахмад зимовье и подсчитывал все те прорехи, которые ему предстояло залатать. Правда, инструменты были, кое-какие материалы, да и тайга плотно обступила зимовье, тоже бери бревен и жердей сколько хочешь. Рядом с жилищем протекал ручей и журча уходил в глинистую промоину — глина тоже нужная вещь в ремонте.

Софрон понимал озабоченность Ахмада; за то время, что они провели вместе, они не то, что подружились, а скорее прониклись уважением друг к другу, как знатоки и умельцы каждый в своем деле.

— На недельку могу задержаться, — предложил Софрон. — Помогу в главном, а там уж ты и сам справишься.

Ахмад понимал, что сказано это от души, и потому принял помощь таежника. За неделю они сделали многое, подлатали и утеплили зимовье, а дальше Ахмаду предстояло трудиться самостоятельно и жить в одиночестве.

Он выискивал сухие лесины, благо они находились недалеко от зимовья, и заготавливал дрова с запасом. Зима продлится не меньше семи месяцев, а за это время дров уйдет о-го-го сколько. Предстояло обороняться от хищных зверей, в тайге нередки медведи-шатуны, которые почему-то не залегли в берлогу. Волки рыщут по снегу в поисках добычи, тоже опасность немалая. Конечно, есть ружье, но порох, дробь и пули следовало расходовать бережно, неизвестно, когда удастся пополнить припасы. Ахмад рубил тонкие стволики рябин, берез и осин, и вкапывал их вокруг зимовья, появился высокий частокол, через который и человеку перебраться затруднительно, а уж зверю, тем более.

Он собирал лекарственные растения, плоды черемухи, смородины и малины, сушил их и бережно ссыпал в берестяные коробки, которые сам научился делать.

Староверы принесли ему немало продовольствия, но особенно порадовал Ахмада бочонок с квашеной черемшой. Он знал, что зимой в Сибири цинга — нередкая болезнь, и спасаться от нее можно как раз черемшой или настоем еловой хвои.

Ахмад никогда в жизни не сидел, сложа руки, но столько ему трудиться еще не приходилось. Едва рассвет выбеливал кромку неба, как он уже был на ногах. На еду уходили считанные минуты, и весь световой день проходил в хлопотах. Дорабатывался он до того, что к вечеру буквально падал от изнеможения. С трудом забирался в избу, съедал что-нибудь наспех, падал на нары и сразу засыпал, ничего не видя во сне и ничего не ощущая.

По-разному люди ведут себя в подобных ситуациях. Одни ломаются духовно и утрачивают способность сопротивляться. Такие, как правило, недолго живут в сложнейших обстоятельствах и гаснут, как свеча под порывами ветра. Другие обретают крепость кремня. Сопротивление среде закаляет их волю, которая, как известно, способна творить чудеса.

Между тем, осень давала о себе знать. По утрам иней выбеливал траву и палую листву, изо рта вырывался парок, а по краям ручья образовывался хрусткий ледок, блестевший под тусклым солнцем. Впрочем, само солнце не часто появлялось в белесом небе. Оно, как размытое светлое пятно, скорее угадывалось на закраине небосвода, а когда его завешивали черные полосы туч, то вообще исчезало из вида.

С грустью смотрел Ахмад на увядание природы. Дома в эту пору еще властвовало лето, сентябрь — пора сбора урожая и продолжение летнего зноя. В Истаравшане — это, пожалуй, лучшее время, когда жара понемногу идет на убыль, а холода еще не угадываются. Воцаряется погодное равновесие, и в такой период одно желание, чтобы оно длилось, как можно дольше.

Тайга утрачивала былую привлекательность, становилась хмурой и неприветливой.

Все живое старалось полнее использовать короткий предзимний период. Огненными языками мелькали лисицы, белки стремглав влетали на кедры, где у них в дуплах были приготовлены гнезда с запасами орехов и грибов на зиму. Соболя грациозно застывали на ветках и тотчас же исче-

зали, стоило им завидеть человека. И только волки вели себя по-хозяйски. Они подолгу стояли под мшистыми пихтами и разглядывали утепленное зимовье, из трубы которого струился дым. Должно быть, странно было серым хищникам видеть вновь ожившую избу. Может быть, видели они в этом какую-то угрозу для себя и прикидывали: смогут ли выстоять в поединке с человеком?

Пока еще волки не представляли опасности для Ахмада. Им удавалось неплохо кормиться, а в таком состоянии они покладисты. Злоба и вражда к человеку пробудятся потом, когда снег укутает тайгу метровым слоем, завоет вьюга, и голод зажмет в тиски волчью стаю.

Ахмад продолжал заготавливать дрова, собирал ягоды, в деревянном бочонке запарил еловую хвою, потом выбрал иглы и образовался густой темно-зеленый отвар, довольно противный на вкус, но когда нужно будет бороться с цингой, любые средства хороши.

Ахмад сделал для себя важный вывод: нельзя опускаться ни физически, ни морально, тем более, в таких условиях, в каких ему предстояло жить. И он следил за одеждой, чистил ее и подшивал, если в том бывала необходимость. Острым ножом укорачивал усы и бороду, правда, подравнивать волосы на голове оказалось сложнее. Срезал и их, хотя вполне соглашался с мыслью, что парикмахер из него получался неважный.

Стирая белье, вместо мыла использовал печную золу. Она, конечно, не отбеливала рубахи, но с грязью справлялась.

Постоянная забота о внешнем виде дисциплинировала. Ахмад Расулов старался выглядеть так, как будто к нему вот-вот должны нагрянуть гости. И такая требовательность к себе стала для него обязательной. Поддерживал он чистоту и в зимовье, все, что нуждалось в починке, было починено. Кое-что изготовил заново, например, табуретки и полки для горшков и продуктов, обновил полати над печкой, чтобы спать в тепле зимой.

Время в трудах и заботах летело незаметно. И когда однажды Ахмад вышел на крыльцо, то едва не ахнул от неожиданности. Первый снег выбелил землю, набросил тяжелый покров на таежные великаны, слепящей глаза завесой подернул окрестности. Мороз леденил лицо и руки. Ахмад стоял и ловил ладонью снежинки.

У крыльца суетились воробьи. Они первыми дали понять человеку, что пришло время проявить заботу о них. Ахмад согласился с этим беспокойным крылатым племенем. От ужина у него остались хлебные крошки. Он очистил ступеньку крыльца от снега и высыпал на доску корм для пернатых. И они по достоинству оценили его внимание тем, что прыгали у его ног и склевывали вкусное угощение.

В дальнейшем Ахмад сделал из доски кормушку для птиц и подвесил ее под навесом крыльца. Сыпал крошки, сухие ягоды, и немало птиц продержалось до теплой поры, благодаря душевному хозяину зимовья.

Ночи стали длинными, а световой день занимал всего несколько часов, и поскольку небо было затянуто плотным облачным покровом, казался коротким переходом от одной тьмы к другой.

Ложился спать Ахмад тогда, когда ощущал сильное утомление, просыпался рано, но до рассвета было еще далеко, и он лежал во мраке, предаваясь размышлениям. А подумать было о чем. Вспоминалась прошлая жизнь, недолгий московский период, а затем тюремные и лагерные злоключения. В общем-то, ему не в чем было упрекнуть себя, он вел себя достойно во все периоды жизни, и тем более непонятно было, за что же судьба оказалась столь неблагосклонной к нему. Но глупо сетовать на то, что уже свершилось,

разумнее не сдаваться и верить в то, как писал великий Саади, что за холодной зимой обязательно придет теплая весна.

Суровая сибирская зима окончательно вытеснила осень. Непрерывно шел снег, его уже навалило по пояс. Ахмад сделал широкую деревянную лопату, и по утрам расчищал подход к зимовью и двор, выбрасывая снег за изгородь, где его собралась уже целая гора.

Часто выходил на охоту, стрелял зайцев, а вот добывать соболей и горностаев не решался. Дробь могла продырявить шкурки, да и потом Ахмад не умел их обрабатывать. Он слышал, что жировой слой снимают с пушнины грубой ржаной мукой, но муки у него было мало, и расходовать ее на такую операцию он считал излишней роскошью.

Один раз подстрелил олениху, она завязла в снегу и не могла убежать от охотника. Она была небольшая, но пока Ахмад дотащил ее до своего жилья, как говорится, раз десять умылся потом. Он посмотрел в безжизненный сиреневый глаз оленихи, и ему стало досадно, что убил красивое животное. Но как бы то ни было, целый центнер свежего мяса надолго решал проблему питания. Ахмад жарил его, варил, заморозил и подвесил под навесом, куда не могли дотянуться грызуны.

Время шло незаметно, сколько он прожил в тайге, Ахмад мог сказать лишь приблизительно; дням он давно уже не вел счет, да оно и невозможно было в его положении.

Морозы крепчали, в тайге слышно было, как лопались от них деревья, крепкий наст лег поверх снега, и по нему можно было ходить, не опасаясь провалиться.

По ночам к зимовью подходили волки, выли, словно жалуясь на свою нелегкую судьбу, но днем человека не беспокоили, может, опасаясь ружья, а может, гнал их инстинктивный страх перед людским могуществом. По утрам на снегу отпечатывались цепочки следов, но Ахмад не мог определить, кто прогуливался близ его зимовья. Этой науке ему еще предстояло учиться.

Одиночество томило его. В лагере, когда он постоянно находился среди заключенных, ему часто хотелось уединения. Посидеть, побыть наедине со своими мыслями, никуда не спешить и не откликаться на чьи-то вопросы и замечания. Там такой возможности не было. Теперь же одиночества было в избытке, и оно оказалось столь же мучительным, как и жизнь среди скопления людей.

У Ахмада Расулова начались галлюцинации. То ему казалось, что в зимовье кто-то прячется в темных углах. Он осматривал их, никого не находил, но тревожащее его чувство не проходило. В тайге часто слышалось, будто кто-то зовет его, и голос звучал так явственно, что он откликался, но молчание было ему ответом. Иногда среди деревьев появлялась какая-то фигура, Ахмад шел ей навстречу, но скоро замечал, что на снегу нет никаких следов.

Он понимал причину таких видений и стал опасаться, что рассудок может не выдержать. Хорошо было бы завести собаку или кошку, но где их возьмешь в таежной глухомани, да еще в суровую зимнюю пору. Ахмад посетовал на свою недогадливость: надо было попросить щенка у староверов, наверняка, они не отказали бы ему, но, как говорится, задним умом все крепки. Мог ли он тогда предвидеть, что одиночество — тоже испытание даже для душевно стойкого человека?

И опять случай пошел ему навстречу. Как-то раз он услышал жалобное повизгивание и увидел маленького песца. У него застряла задняя лапка в трещине поваленного ствола, и песцу грозила скорая гибель. Зверек не только не испугался человека, а, напротив, так умоляюще глядел на него бусинками черных глаз, что Ахмад даже растрогался.

— Сейчас, сейчас, — проговорил он, будто песец мог понять его слова. Ножом расширил трещину. Песец ослабел от голода и не сопротивлялся, когда человек взял его на руки. Оказалось, что лапка у него сломана.

Ахмад положил зверька за пазуху, отогрел его и принес домой. Из дощечек сделал лубок, обмотал сломанную лапку полоской ткани и опустил песца на пол. Тот постоял, а потом, неловко ковыляя и постукивая лубком об пол, скрылся под нарами. Ахмад поставил на пол берестяные чашки с кусочками мяса и водой. Песец поел и снова забился под нары. Но так длилось всего около недели. Потом он привык к человеку и уже ходил по избе, знакомясь с ее углами. Постепенно они приобщились друг к другу и подружились. Ахмад назвал его Баез, что значило по-таджикски «белизна». Зверек к зиме покрылся чистейшей белой шерстью, такой, что на снегу был даже незаметен. Выделялись лишь черный кончик носа да бусины глаз.

Баез привязался к человеку, будто понимал, что обязан ему жизнью. Если Ахмад собирался пойти куда-либо, то песец, видя, что хозяин одевается, начинал поскуливать и прижиматься к ногам, словно просил, не оставлять его одного. Встречал же радостным визгом и мчался навстречу, только что не вилял хвостом. Лубок давно сняли, нога срослась хорошо, однако песец едва заметно прихрамывал. Если Ахмад чистил двор от снега или делал что-либо, Баез вертелся рядом, а когда приходила пора идти домой, бежал к двери быстрее хозяина. Ночами они сидели у горящей печи, песец забирался совсем по-кошачьи Ахмаду на колени, и оба грелись, глядя на колеблющиеся языки пламени. Одиночество уже не томило его, он разговаривал со зверьком, и тот внимательно слушал его, клоня голову то в одну сторону, то в другую, словно понимал человеческую речь.

В первую зиму Ахмад сделал для себя важное открытие, которое внесло приятное разнообразие в его жизнь. Разбирая в зимовье охотничье снаряжение — капканы, силки и прочее, — Ахмад наткнулся на рыбацкую сеть. Это его удивило. Зачем тут нужна сеть, если кроме ручья, других водных источников поблизости не было? А что если... мелькнула догадка. Утром пораньше Ахмад пошел к ручью, а затем отправился вниз по его течению. Ручей сплошь покрылся льдом, лишь посередине струилась тонкая полоска воды, но было ясно, когда наступит январь с трескучими морозами, ручей замерзнет окончательно.

Часа через два Ахмад вышел к небольшому водоему, в который и впадал ручей. К его удивлению, даже у берегов водоем не замерз. Ахмад опустил руку в воду, она оказалась теплой наощупь. Попробовал на вкус, вода отдавала сероводородом. Ахмаду стало ясно, что на дне водоема бил горячий источник, водоем едва заметно парил на морозе. У берегов скопился беловатый ил. Ахмад растер его между ладонями — ил мылился.

Открытие водоема Ахмад расценил как большое событие в своей жизни. В нем можно было купаться и стирать одежду. Самое поразительное, что в такой воде водилась рыба. Ахмад забросил сеть и вытащил пяток. Рыбы были небольшими и незнакомыми ему. Как оказалось позднее, это были сиги, рыбы неприхотливые и приятные на вкус. Ахмад поймал еще десяток и отправился домой. Баез встретил его радостно и по достоинству оценил прибавку к их пищевому рациону.

Зима раскручивала свои витки. Как-то утром Ахмад попытался открыть дверь и не смог. Он толкал ее изо всех сил, но она не поддавалась. С большими усилиями, раскачивая дверь, он сумел немного приотворить ее и выглянул наружу. Дом до половины был завален снегом. Он был плотный и спрессовывался под усилиями человека. Ахмад снова и снова толкал дверь,

пока не образовался узкий проход. С помощью лопаты он пробился, наконец, из снежного завала. В лицо ему ударил холодный ветер. Это был буран. Он выл на разные голоса и расшвыривал во все стороны потоки снега. Основная мощь бурана приходилась на верх тайги. Плотные кроны сосен и кедров раскачивались под порывами сильного ветра, крепкие стволы лиственниц скрипели, и снежная масса валилась вниз.

Стихия разгулялась не на шутку. Ахмад подумал, что если буран будет продолжаться несколько дней и с такой же силой, то его зимовье может завалить до крыши.

— Держись, брат, — сказал он Баезу. — Будем сражаться за свободу.

Песец обиженно пискнул и принялся царапать входную дверь, точно стремился помочь человеку вырваться из снежного плена.

Буран продолжался трое суток. Зимовье почти полностью скрылось под холодным покровом. Два дня Ахмад пробивался наверх, копая наклонный тоннель, а когда выбрался наружу, увидел, что на дворе ночь. Снежная буря улеглась, небо очистилось от туч и было покрыто звездами. Они горели ярко, будто хотели ободрить человека и его маленького пушистого друга.

Немало сил затратил Ахмад, чтобы освободить зимовье и двор от снежного заноса. Надо сказать, что трудился с удовольствием. Работа на свежем воздухе и на морозе бодрила, кровь бурлила в жилах, дышалось легко и свободно. Ему шел пятый десяток, но своего возраста он не ощущал. Конечно, уже не молод, но здоровая жизнь препятствовала раннему проявлению старости.

Баез крутился рядом, тявкал, прыгал с одного снежного пласта на другой и тоже был доволен, что наконец-то они выбрались наружу.

— Надо и тебе сделать лопату, — пошутил Ахмад. — Живешь за счет моего труда, а в тайге такое не поощряется.

Бураны в тайге случались часто, но теперь они не пугали Ахмада Расулова. Теперь он знал, что снежные заносы не так страшны, как кажутся, и им можно противостоять. Вот если зимовье совсем завалит снегом, тогда можно задохнуться, но, надо сказать, бураны такой силы не случались.

Первый год зимовки в тайге проходил благополучно. Продовольствия хватало, одет Ахмад был тепло, и жилье, которое он привел в порядок, надежно укрывало его от холодов и хищников. Не раз вспоминал он добрыми словами староверов, которые хоть и не приняли его в свою среду, но обеспечили всем необходимым для суровой таежной жизни. Когда Ахмад был подростком, его дед Сангали-бобо говорил, что добро подобно семенам пшеницы. Рассеешь горсть, а получишь сноп. И верно, когда Ахмад приводил в порядок зимовье староверов, он меньше всего рассчитывал на их благодарность. А оказалось, вон каким благом обернулся его труд. Вот и рассуждай после этого, что правит миром — Добро или Зло...

Время текло незаметно, дни не баловали разнообразием. Да Ахмад и не хотел никаких изменений. Он не знал, какой шел месяц, но светлое время суток увеличивалось, небо начинало приветливо синеть и светило солнце, хотя морозы все еще стояли сильные. Тайга сияла и искрилась под снежным покровом, и если встать с подветренной стороны жилища, то можно было ощутить слабое солнечное тепло. Ахмад вспомнил поговорку: в январе солнышко коровке бок согрело. Только чья это была поговорка — русская или таджикская, он не мог сказать. Скорее всего, слышал ее в лагере, вот и застряла в памяти.

Тайга манила к себе, и Ахмад не мог противостоять ее зову. С ружьем он бродил неподалеку от зимовья, глубже заходить было опасно. Снег в тайге был плотный, но мороз не покрыл его коркой наста, и можно было провалиться в завалах по грудь. Как тогда выбраться?

Волки часто появлялись у жилища Ахмада, но он не обращал на них внимания, поскольку никаких хищных намерений они не обнаруживали. Однако как-то раз он зашел в тайгу дальше, чем намеревался. Было на кого охотиться, но снег мешал быстро передвигаться, и дичь ускользала. Ахмад уже собрался возвращаться домой, как услышал сзади легкий шорох. Обернулся и увидел матерого волка, который крался к нему. Отпрянул назад, запнулся, взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и уронил ружье в снег. Искать его уже не было возможности. Оставалось последнее: подпрыгнул, ухватился за толстую ветку лиственницы и взобрался на нее. Зимняя одежда мешала, но опасность придала силы. Волк клацнул зубами, но лишь царапнул подошву сапога.

Ахмад забрался повыше и осмотрелся. Волков уже было трое. Они окружили лиственницу и неотрывно глядели на ускользнувшую добычу. Видно было, что хищники оголодали за студеную пору. Бока их ввалились, четко проступили полукружья ребер, шерсть свалялась.

Волки уходить не собирались. Вскоре начнет темнеть, холод еще больше усилится, и тогда человек или сам слезет с дерева, или замерзнет и свалится вниз. Преимущество было на стороне серых хищников. Оставалось единственное. Он достал охотничий нож и принялся срезать большую ветку, намереваясь сделать из нее дубинку. Промерзшее дерево поддавалось с трудом, скрипело под лезвием ножа, под корой виднелись льдинки.

Ветка оказалась в его руках, когда синие тени наступающей ночи поползли по тайге. Он очистил ее, укоротил и вскоре держал в руках довольно увесистую дубинку. Но в темноте в битву с волками не вступишь, да и потом трех волков, хотя и оголодавших и ослабевших, многовато для одного человека. Оставалось выжидать, обе стороны избрали для себя эту форму поведения.

Волки мерзли, прыгали, подвывали, но уходить не собирались; добыча была рядом, терпение могло быть вознаграждено. Стужа пронизывала насквозь и человека. Ахмад двигался, размахивал руками, чтобы хоть как-то согреться, и понимал, что шансов у него уцелеть до утра немного.

Ночь тянулась долго. Ахмад вставал на ветке, рискуя свалиться, перебирался на другие, только, чтобы не замерзнуть. Тени внизу тоже двигались, поблескивали глаза, щелкали зубы.

Наконец, стало светлеть. Ахмад всмотрелся и увидел, что внизу сидит один лишь волк, двое других не вынесли холода и ушли. Тогда он спустился пониже, сел прочнее на толстой ветке и свесил ногу. Волк прыгнул, стараясь ухватить ее, но получил сильный удар дубинкой по голове. Свалился в снег и на мгновение замер. Ахмад быстро слез с дерева и снова ударил волка дубинкой, а потом вонзил в него нож. Хищник дернулся, захрапел, снег окрасился кровью.

Ахмад сел на ствол поваленного дерева, ощущая слабость в насквозь промерзшем теле. Но долго сидеть не стоило. Он отыскал в снегу ружье и пошел к зимовью, с трудом переступая онемевшими ногами.

Бессонная ночь на сильном холоде не прошла бесследно. Ахмад заболел. Начался сильный жар, сознание мутилось. Он заварил себе ягод сухой малины, пил отвар и временами впадал в забытье. Он не осознавал, где находится, и в проблесках сознания молил Всевышнего, чтобы только не было воспаления легких, тогда ему конец.

Песец поскуливал, забирался на нары и ложился хозяину на грудь, чтобы согреть его своим теплом.

Так прошло три дня. Лежать все время не было возможности, приходилось подниматься, чтобы топить печь, готовить еду, согревать воду. Ахмад пил отвары лекарственных трав, парил ноги, и простуда стала отступать.

Ахмад упорно боролся за жизнь. Он убеждал себя, что время умирать еще не пришло, он еще не стар, и не до конца выполнил свое земное предназначение. А в том, что оно ему определено, он не сомневался ни минуту. И постепенно здоровье возвращалось, захотелось есть, впервые он крепко заснул, без провалов в памяти. Жар спал, и потянуло на свежий воздух. Он оделся потеплее и вышел на крыльцо. И столько вокруг было обилия снега, ясности и чистоты, что он едва не задохнулся от впечатлений.

Первая зимовка в тайге подошла к концу. Солнце с каждым днем пригревало все заметнее, сугробы посинели и стали проседать. Застучала первая капель, потекли первые, пока еще робкие ручейки.

Ахмад смотрел во все глаза на это пробуждение природы. Он воспринимал приход весны как самый большой праздник, когда каждый день приносил что-то новое. То проклюнулись первые стрелки травы, то подснежники потянулись к солнцу, то появились птицы и своей суетой и гомоном возвестили об окончании долгой зимы.

Весны в тайге Ахмад видел и во время отсидки в лагере. Но там они воспринимались совсем по-другому и были такими же несвободными, как и сами заключенные. Валенки промокали, с деревьев обрушивались пласты снега, тепло чередовалось с холодом, и даже костры не спасали от промозглой сырости... Такие весны не приносили удовлетворения. Их поругивали и не могли дождаться летней поры.

Тут же было совсем по-иному. Весна была торжеством обновления. Тайга — хмурая, темная и неприветливая — посветлела, солнечные лучи, казалось, пронизывали ее насквозь, и чащобы оживали, погнали ростки, сок запел в стволах деревьев.

О том, что весна стала полноправной хозяйкой окружающего мира, свидетельствовал и внешний вид ручного песца. Белая шерсть клочьями опадала с боков Баеза и появилась серая шерстка.

Прошло еще немного времени и поведение песца изменилось. Прежде он не отходил от хозяина ни на шаг, теперь же стал повизгивать, выбегал из ограды и неотрывно смотрел на тайгу. Виновато оглядывался на Ахмада и снова шаг за шагом приближался к тайге. Он явственно слышал ее зов.

Ахмад понимал, что происходит с его питомцем.

— Иди, Баез, — говорил он песцу. — С голосом крови не поспоришь.

И песец послушался, нырнул в тайгу и исчез.

Грустно стало Ахмаду. Их дружба с маленьким зверьком крепла день ото дня, а теперь он остался один. Обилие времени можно заполнить трудом, а пустоту в душе ничем не заполнишь. Даже воспоминания не приносят облегчения.

И снова Ахмад Расулов погрузился в скопище дел. Следовало заготавливать дрова, за зиму их запас значительно сократился. Само жилище тоже требовало заботливых рук, и застучали топор и молоток, запела пила, возвещая о новом трудовом сезоне.

Ахмад думал, что навсегда расстался со своим пушистым другом. Но самое удивительное, что дней через десять Баез вновь объявился. Стремглав выскочил он из зарослей, пробежал по двору и уселся на крыльце, словно не было долгого отсутствия. Правда, вид у него был виноватый, да и любовные утехи дались ему не просто. На морде виднелись следы царапин, песец отощал, нос стал длиннее и заострился.

Ахмад так обрадовался, что даже прослезился. Он прижал Баеза к себе, гладил и бессвязно твердил: — Ничего, Баез, ничего, брат. Откормим тебя, еще красивее станешь.

В Истаравшане была у Ахмада собака, чабанский волкодав по кличке Хайбат. Пес был хорошим сторожем, Ахмад ласкал и подкармливал его, но такой привязанности, как к маленькому песцу, не чувствовал. Видно, для появления любви к животным тоже нужно и особое время, и особые условия. И вот они появились.

Прежде Ахмад соглашался с утверждением, что у животных нет разума. Но прожив год с песцом, ежечасно общаясь с ним, уверился, что не только есть разум, а и, пожалуй, он не уступит человеческому. Он поглаживал доверчиво прижавшегося к нему зверька, заглядывал в его глаза с искорками света, и чувство любви к маленькому другу переполняло его.

Никогда еще Ахмад Расулов не жил такой простой, естественной жизнью. Раньше между ним и природой стояло человеческое общество, множество условностей и обязанностей. Люди выродились в потребителей природных благ, брали у нее все, что только можно, и мало того, что ничего не давали взамен, они еще наносили невосполнимый урон окружающей среде. А оказывается, можно поступать по-другому. Брать у природы лишь самое необходимое, ничего не портить и не уничтожать, вернуться к той поре, когда человек был ее творением, а не злейшим врагом.

Тесное общение с тайгой меняло мировоззрение Ахмада Расулова. К нему пришло понимание, что человек — не царь природы, не венец ее творения, а такое же создание, как лиственницы и кедры, как олени и белки, как тот же песец Баез. И разум, который развился у человека, пошел ему не на благо, а во вред. И тогда природа из матери превратилась в мачеху, она стала мстить своему корыстному пасынку, насылая на него ураганы, наводнения, неслыханные прежде болезни.

Ахмад стал понимать, что красота присуща всему, что окружает человека, нужно только уметь видеть ее. Красиво иссиня-голубое небо, пушистые облака, плывущие в беспредельности. Красивы первые травинки, пробившиеся из сырой земли, цветы, являющие собой само совершенство, красивы звери и птицы, поскольку они полностью соответствуют своему предназначению, красива тайга в любое время года и дня. И, наконец, красив сам человек, занимающийся осмысленным трудом, а не человек-хищник, человек-потребитель.

И Ахмад Расулов по-иному стал относиться к тайге. Она казалась ему одним живым, гигантским организмом, который существует по своим правилам и законам, и которому ведомо, что такое вечность. Отныне, если ему нужно было срубить какое-то дерево, он выбирал старое или покосившееся, если рвал лекарственные растения или ягоды, старался не обрывать корни и не ломать ветки, если собирал грибы, то оставлял нетронутой грибницу. Не просто брать, но и способствовать возобновлению. Этот непреложный закон природы становился его образом жизни.

Как ни странно, но он учился и у своего пушистого друга, песца Баеза, разумной и неприхотливой жизни. Песец довольствовался лишь самым необходимым, не требовал ничего лишнего и всегда был в согласии с окружающим миром.

Весна — это не только обновление природы. Меняется и мироощущение самого человека. Прежде Ахмад Расулов лишь взглядом скользил по цветущему великолепию урючного сада. Да, красиво, но любоваться бело-розовой пеной, заливавшей город, у него не было времени. В его плотницкой занятости не бывало простоев, результативность труда определялась быстротой и качеством исполнения. Теперь же он мог подолгу рассматривать неприглядные цветки ландыша, распространявшие сильнейший аромат, от которого кружилась голова, и который вызывал неясные мечтания. Весна в тайге

вскипала, как котел с водой на огне. Все торопилось жить, все гнало ростки и побеги, а птицы и звери были охвачены заботой о новых поколениях. И только Ахмад Расулов оставался в стороне от этого вечного обновления природы. Одиночество, ставшее его уделом, исключало возможность продления рода, да и возраст клонился к пятидесяти годам. Оставалось только вглядываться в бурлившую вокруг него жизнь и учиться у нее разумности и целесообразности.

Начался период гроз. Тяжелые черные тучи зависали над тайгой, длинные плети молний хлестали притихших гигантов растительного мира. Оглушительный грохот грозовых разрядов, казалось, раскалывал небо. Дождь лил стеной, от него не было укрытия ни под густыми кедрами, ни под навесом плотного ельника.

Однажды Ахмад видел, как ослепительно-яркая молния ударила в громадный кедр, и он сразу вспыхнул снизу доверху, как гигантская спичка. Но потоки дождя сразу же погасили пожар, и лишь почерневшие кончики игл говорили о том, что красавец растительного мира едва избежал гибели.

Но грозы бывали недолгими, спустя час-другой ветер уносил тяжелые тучи к горизонту, вновь сияло солнце, и промытая до корней тайга высыхала и прихорашивалась под живительными лучами светила.

На смену грозам пришли грибные дожди, теплые, ласковые. Они словно ласкали землю влажными ладонями, и земля отвечала на их прикосновения обилием грибов, пробивавшихся сквозь травяной покров.

Для Ахмада Расулова наступила благодатная пора. Он вдоволь ел грибы, молодые побеги растений, пригодных в пищу, из первых ягод готовил отвары, и дивился людям, которым обязательно нужно убивать животных, в то время как растительный мир изобиловал вкусной и полезной пищей.

Однажды, когда Ахмад вернулся из похода по тайге, он увидел у зимовья три туго набитых мешка. Открыл их. Они были полны жареного мяса, солонины, хлебных изделий, пирогов и многого другого. Была даже бутылка крепчайшего самогона. «Староверы» — догадался он. Обрадовался не столько щедрому дару, сколько заботе и вниманию. Обидно было только, что староверы не захотели увидеться с ним. Ахмад для них по-прежнему оставался иноверцем.

В мешках была и одежда, в которой Ахмад нуждался больше всего. Его прежнее одеяние обветшало, зияло прорехами и пришло в негодность. Новая одежда была прочной, из домотканой материи, хотя и грубоватой, но удобной и пригодной во все времена года.

За весну и лето староверы еще несколько раз давали знать о себе таким образом, но так и не удостоили его ни одним словом. В один из дней Ахмад увидел их. Староверов было пять человек. Они шли гуськом, по звериной тропе, ступая след в след, друг за другом. Ахмад узнал Софрона по высокой, кряжистой фигуре. Тот махнул рукой в знак приветствия и скрылся в зарослях можжевельника.

Минул год, второй, третий... Ахмад мог бы отметить пятилетие своего пребывания в тайге в полнейшем одиночестве, но сбился со счета и просто жил, без памятных и знаменательных дат. Эта затея тоже оказалась ненужной для занятого человека.

На шестом году таежного бытия случилась в его жизни трагедия. Погиб Баез, его верный и пушистый друг. Все эти годы они не разлучались друг с другом, Ахмад постоянно разговаривал с песцом и был уверен, что тот понимает человеческую речь и вполне разумен.

Пошли они в тайгу уже осенью. Ахмад собирал ягоды черники и малину, Баез рядом шелестел в кустах. И вдруг пропал. Ахмад окликнул песца

раз, другой, тот не прибегал на зов. Подождал еще немного и отправился на поиски. Нашел он Баеза на звериной тропе. Песец лежал задушенный охотничьим силком. Неизвестно кем и когда была установлена стальная петля среди зарослей. Баез угодил в нее головой, и она затянулась на его шее.

Ахмад высвободил зверька из ловушки, гладил его, растирал, но было уже поздно, маленькое тельце остывало.

Потрясение было сильным. Ахмад укорял себя за то, что взял Баеза в тайгу, что замешкался с поисками, пошел бы пораньше, мог бы и спасти друга. Однако и сам понимал беспочвенность таких упреков. Он и раньше брал песца в тайгу, случалось, тот и сам убегал из дома и пропадал неделю, а то и больше. Значит, такая судьба определена ему, как и самому Ахмаду, и кто знает, какая ему определена кончина.

Песец лежал, вытянувшись в струнку, зубы слегка оскалены, мордочка заострилась. И такая тоска взяла Ахмада, что он даже прослезился. Опять томительное одиночество, еще более тягостное, после гибели пушистого друга.

Похоронил Ахмад Баеза за зимовьем, у самой ограды. Вырыл ямку, застелил ее лопухами, положил туда песца и прикрыл теми же лопухами. Засыпал землей, подровнял могильный холмик. Подумал, из двух жердочек сколотил крест и вбил его в изголовье могилы.

Возможно, староверы упрекнули бы его в святотатстве, или неуважении к христианским святыням. Но сам Ахмад Расулов так не думал. Баез был порождением этого мира, российской Сибири, стало быть, мог считаться русским песцом, а потому крест вполне соответствовал месту его последнего упокоения.

До этого случая Ахмад Расулов не задумывался о своей вере. А теперь вспомнил вопрос главы староверов Анания: какого он вероисповедания? И верно, какого? И нужна ли вера человеку вообще? Чем больше он размышлял над этими вопросами, тем больше укреплялся в мысли, что вера человеку необходима. Находясь в тайге, он часто убеждал себя, что такова его судьба. Его могли расстрелять, но не расстреляли. Его могли настичь во время побега и забить насмерть, но он избежал гибели. В дни блужданий по тайге мог умереть от голода, но выжил. Значит, кто-то незримый способствовал ему, оберегал его на жизненном пути, давал возможность уцелеть и исполнить свое предназначение. В чем оно, Ахмад не знал, но верил, что рано или поздно додумается до этого.

Его предки исповедовали ислам, но мог ли он сам назвать себя мусульманином? Коран знал поверхностно, слышал беседы о нем стариков, но, как говорится, краем уха. У молодости свои заботы и стремления. Мысли о высших духовных ценностях и необходимости духовной опоры приходят потом, на склоне лет. Такая пора для Ахмада пришла. Все эти годы, в трудные периоды, он обращался с просьбой к незримому Божеству помочь ему, и содействие приходило вовремя. Все — и мусульмане, и христиане, и иудеи — молятся одному Богу на разных языках, выполняя разные обряды, но одному. Значит, и он, Ахмад Расулов, должен благодарить этого единого Бога за содействие и благоволение, просить его и дальше оберегать на жизненном пути, а взамен следовать тем нравственным заповедям, которые предписаны людям в Священных книгах.

И Ахмад Расулов стал искренне молиться по утрам и вечерам единому Богу. Он не знал молитв, он скорее советовался с Богом, поверял ему свои мысли, и у него возникло убеждение, что Бог слышит и верит в разумность и осознанность его намерений.

В детстве он слышал от стариков хадисы, священные предания о жизни Пророка Мухаммеда (да будет Его имя благословенно в веках!) и Его спод-

вижников. Некоторые хадисы остались в его памяти и всплывали теперь в подходящих случаях.

Один из них был таким: «Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «В судный день толпа воскресших подойдет к вратам Рая и начнет стучаться в них. Голос спросит их: «Кто там?» — и они ответят: «Мы терпеливые», «А в чем состояло ваше терпение?» — спросят их, и они скажут: «Мы были терпеливы в покорности Аллаху и терпеливо избегали всего, что противоречит Его воле». И тогда Аллах Всемогущий и достославный скажет: «Это правда, введите их в Рай». Ведь Он уже сказал: «Воистину терпеливым воздастся полностью без всякого счета!» И Ахмад Расулов стал верить, что и его тоже ждут райские блаженства, ибо кто, как не он, был по-настоящему терпеливым и не совершил ничего, что противоречило бы воле Аллаха.

Так появилась в его душе нравственная опора, которая в дальнейшем помогала переносить все испытания, выпадавшие в годы одинокой жизни в тайге.

И еще в нем крепла уверенность, что взамен погибшего друга Баеза, Создатель пошлет ему другого, потому что он часто просил Его в молитвах именно об этом.

И такой друг появился в его жизни через десять лет.

Никто к нему не забредал все эти годы, и потому он очень удивился, когда в середине дня в калитку постучали. Он отворил ее и увидел мужчин с широкими смуглыми лицами и узкими глазами. Несмотря на теплую пору, они были одеты в меховые кухлянки. Их было трое, на руках они держали продолговатый сверток.

Ахмад знал, что за тайгой в тундре живут ненцы и эвенки, кочуют, разводят оленей и в тайге появляются редко.

Он удивленно смотрел на них, они также удивленно глядели на него.

— Здравствуй, отец, — сказал почтительно один из пришедших.

— Здравствуйте, — отозвался Ахмад. Бородатый, с проседью в волосах, он, действительно, мог уже именоваться отцом, а то и дедом. — Входите.

Незнакомцы вошли во двор, положили сверток на землю.

Ахмад молчал, ожидая объяснения.

— Мы — ненцы, — сказал один из пришедших. — Я — Савелий, а это — Васька и Антон. Беда у нас, батька.

— Что случилось?

— Наше становище там, — Савелий махнул рукой в сторону. — Чумы там стоят, олешки бегают. Хотим перейти на новое кочевье, решили пройти сквозь тайгу, посмотреть короткую дорогу. Очень большой тайга оказалась, застряли в ней. Это моя дочь, — Савелий указал головой на сверток. — Перелезала через завал, упала, ружье выстрелило, сильно ранило ее. Помогать надо.

Ахмад растерялся.

— Но я не доктор. В больницу надо.

— Какая больница тут? — возразил Савелий. — Тысячу километров идти надо, и то не найдешь.

— Чем же я могу помочь?

— Смотри ее, лечи, а то совсем умрет.

Ахмад недоуменно смотрел на Савелия.

— Ты русский, — сказал тот. — Грамотный. Русские все умеют.

Ахмад Расулов мог бы сказать, что он-то как раз и не русский и к медицине никакого отношения не имеет, но это значило бы — терять время, а раненая девушка и впрямь может помереть. Если уже не умерла, потому что лежала молча, не шевелясь и не издавая никаких звуков.

— Что же вы ее на землю положили? Несите на крыльцо.

Ахмад постелил на крыльце меховую полость, на нее положили девушку. Она была без сознания, глаза запали, синие тени окружали их, синими были и губы.

«Не выживет», — подумал Ахмад.

— Крови много потеряла?

— Достаточно, батька, — согласился Савелий.

— Куда ранило?

— В плечо, однако.

Развернули одеяло, в которое была закутана девушка. Ее одежда была пропитана кровью. Ножом разрезали меховую куртку, матерчатую рубашку, открыли рану. Выстрел пришелся между плечом и грудиной, и это ободрило Ахмада. Значит, кости не повреждены. Судя по всему, ружье было заряжено пулей, дробь разворотила бы мышцы.

— Жакан, не дробь? — спросил Ахмад.

Савелий посмотрел на него с уважением. Русский доктор сразу определил, чем ранена дочь, разбирается, стало быть, надежда есть.

— Жакан, как есть, жакан, — подтвердил Савелий. — Молодец, батька.

Его спутники стояли поодаль и молча следили за действиями Ахмада.

Повернули девушку на бок, выходного отверстия пули не было.

Ахмад покачал головой.

— Плохо, пуля осталась в ране.

— Куда хуже, — согласился Савелий. — Совсем плохо. Что будем делать, доктор?

Ахмаду хотелось сказать, что лучше всего оставить девушку в покое, жить ей осталось считанные часы. Мало того, что потеряно много крови, так еще выстрел в упор вызвал сильное потрясение. Но все в нем протестовало против такой мысли. Сам он боролся за свою жизнь и просто не имел права не попытаться спасти девушку.

— Нужно вытащить пулю, — сказал он. — Иначе нагноение будет, рана не заживет.

Савелий с надеждой посмотрел на него.

— Доставай, доктор. Зачем ей пуля? Ты лучше знаешь, что нужно делать.

Как раз этого Ахмад и не знал, но времени на колебания не было.

— Девушка может не выдержать боли, — предупредил он.

— И так помрет, и так помрет, — рассудил ее отец. — Давай, пробовать будем.

— Доставай нож, — попросил он.

Савелий протянул ему свой охотничий нож, большой, с блестящим лезвием, острый, как бритва.

Ахмад прокалил лезвие на огне, протер его самогоном.

— Держите девушку, — приказал он.

Ненцы прижали девушку к доскам крыльца.

Ахмад примерился, разрезал рану. Потекла кровь, запузырилась. В глубине раны он увидел кончик пули, но ухватить ее не смог. Сделал разрез пошире. Девушка стонала, но лежала неподвижно, с закрытыми глазами, и тяжело, со всхлипами, дышала.

Ахмад снова и снова пытался вытащить пулю, но она была скользкой от крови и всякий раз срывалась.

Ему было жарко, он вспотел от волнения, и незаметно для себя ругался по-таджикски. Ненцы с уважением прислушивались к его словам, полагая, что доктор говорит на своем, медицинском языке.

Наконец, Ахмад сумел захватить пулю ногтями и извлек ее из раны. Она была большая, в два сустава на пальце, и Ахмад удивился, что не пробила плечо насквозь.

— Пороха в патроне было мало? — спросил он.

— Совсем мало, — согласился Савелий. — Охота кончилась, бережем порох.

— Ваше счастье.

Ахмад стянул края раны и суровой ниткой наложил четыре шва. Потом промыл рану самогоном, она уже не кровоточила, засыпал порошком ромашки, надеясь на ее обеззараживающие свойства. Разорвал чистую рубашку на длинные ленты, наложил на рану матерчатый тампон, а потом перевязал плечо девушки.

Ненцы во все глаза смотрели на его действия. Савелий то и дело вытирал у него пот со лба обрывком цветной тряпки.

— Все, — сказал Ахмад, с трудом разгибая затекшую спину. Он не видел ни ясного летнего дня, ни сороки, которая сидела на ветке рябины поблизости и надоедливо стрекотала.

— Молодец, доктор, — уважительно проговорил Савелий. — Ученый человек. Теперь что делать будем?

— Заносите девушку в дом, — распорядился Ахмад.

Раненую девушку положили на нары. Она снова была без сознания, Ахмад время от времени касался пальцами ее шеи, проверяя, есть ли пульс. Он был, но еле улавливался.

— Будем ждать, — сказал Ахмад и устало опустился на скамью. Как он мог сказать ненцам, так верившим в него, что это была первая в его жизни операция?

— Сколько будем ждать? — полюбопытствовал Савелий. На его широком лице, с несколькими волосками там, где полагается расти усам и бороде, читались тревога и облегчение.

Ахмад пожал плечами.

— Трудно сказать. Лишь бы нагноения не было. Завтра посмотрим.

— Ты уж постарайся, доктор, — просительно проговорил отец девушки. — Вылечится, хорошо платить будем. Олешка дадим.

— Э-э, дурак, — в сердцах выругался Ахмад. — Разве за такое платят?

— Дурак, совсем дурак, — согласился Савелий. — А как иначе, доктор? Дочка это моя, на все пойду ради нее. Правда, еще пять детей есть, но все равно жалко.

Ахмада позабавило рассуждение ненца. Страшное напряжение, в котором он находился все это время, спадало, и он с интересом смотрел на кочевников-оленеводов.

— Сколько лет девушке?

Савелий поразмыслил.

— Двадцать, однако, будет, — и, желая уверить доктора в правоте своих слов, привел очевидное свидетельство. — Она родилась в тот год, когда волки задрали лучшего вожака моего оленьего стада. Как раз двадцать лет назад это было.

Его спутники Терентий и Антон закивали, подтверждая слова Савелия.

— Может, двадцать один? — вопросительно проговорил Антон.

— Зачем двадцать один? — рассердился Савелий. — Двадцать! Разве ты не помнишь серого вожака Найдима?

— Тогда двадцать, — согласился Антон.

Терентий помолчал, поглядывая на трещавшую сороку.

— Однако, Варька будет жить, — высказался он утвердительно.

— Почему ты так думаешь? — осведомился Ахмад.

Терентий указал пальцем на сороку.

— Вот эта птица так говорит. Она беспокоится, просит, чтобы жизнь Варьки не уходила из тела. Если бы девушка умирала, птица улетела бы в тайгу.

Ахмад подивился такой примете, но во что только не поверишь, когда хочется, чтобы смерть отступила от молодой Варвары, которой только жить и жить.

— Дай бог, чтобы так оно и было, — проговорил он со вздохом.

— Даст, даст, — уверили его ненцы. — Вот посмотришь. Боженька — он добрый. В прошлом году Савелий как болел, мы уже думали все, хотели его в тундру отнести, чтобы песцы и волки там его съели, а он не согласился, попросил обождать, потом здоровый стал. Ясно, Бог ему помог.

Ахмада забавляли рассуждения ненцев. Он проникался уважением к этим детям природы, бесхитростным и таким искренним в своем отношении к жизни.

Ненцы прожили в его зимовье три дня. Много спали, готовили еду. Сходили в тайгу за своими ружьями и пожитками, которые оставили там, когда нужно было нести Варвару к зимовью.

— Когда ты стал жить тут, доктор? — допытывался Савелий. — Мы все знаем, но никто не говорил, что в брошенном доме появился человек.

— Давно, — признался Ахмад. — Даже не знаю, сколько уже времени. Я один, живу тихо, откуда вам знать обо мне?

— Это так, — соглашались ненцы. — А откуда пришел?

Разве скажешь им правду?!

— С геологами я работал, — сходу придумал Ахмад. — Они попросили тут пожить, починить зимовье, чтобы можно было в нем останавливаться. На следующий год начнем тут разведку на нефть.

Не всех ненцев устроило такое объяснение.

— В тайге, какая нефть? — усомнился Терентий. — В тундре надо искать.

Савелий с презрением посмотрел на него.

— У тебя ума, как у безрогого оленя. Как раз в тайге много нефти, доктор верно говорит. Она под корнями прячется. Очистил площадку от деревьев и бури на здоровье.

Ахмад каждый день менял повязки на ране девушки, распаривал листья брусники и прикладывал их к ране. Ее края были припухшими, но гноя не было, не было и гнилостного запаха. Рана понемногу затягивалась. Синие полукружья вокруг глаз у Варвары стали исчезать, губы порозовели. Ахмад варил крепкий мясной бульон и поил девушку с ложки. Она делала несколько глотков. Давал ей и отвар ягод лимонника, сильного укрепляющего средства.

Девушка оживала.

— Сорока правду говорила, — торжествующе заключил Антон.

— Птица умная, — согласился Терентий. — Правда, шумит много.

— А про доктора вы забыли? — рассердился Савелий. — Если бы не он, помогла бы ваша сорока.

— Как забудешь? — Терентий уважительно посмотрел на Ахмада. — Большой человек, знающий человек. Десять оленей заслуживает, только не возьмет, — со вздохом добавил он. — Наш шаман двадцать бы оленей попросил.

— Обманщик твой шаман, — рассудил Антон. Подумал, опроверг сам себя: — Хотя иногда помогает.

Через три дня ненцы собрались уходить.

— Пора нам, батька, — сказал Савелий. — В стойбище мужчин мало, оленей много. Смотреть за ними надо, пасти, перегонять по тундре, волки шалят. Бабы, старики да дети с этим не справятся.

Ахмад растерялся.

— Как пора? А за ней кто смотреть будет?

Он кивком головы указал на Варвару. Она уже открывала глаза и наблюдала за тем, что происходит в зимовье.

Савелий искренне удивился.

— Как кто смотреть будет? Ты доктор, ты и смотри. Поправится, потом заберем. А захочешь, у себя оставь. Женой тебе будет. Я, как отец, даю согласие.

Ахмад не поверил своим ушам.

— Какой женой? Я в три раза старше ее.

У Савелия на все возражения были свои доводы.

— Чудак ты, доктор, — рассудительно проговорил он. — У нас в тундре один старый олень целое стадо оленух обслуживает. Ничего, все довольны, никто не жалуется.

— Но я же не олень. И потом тут не тундра.

— Ты лучше, — спокойно откликнулся отец девушки. — Ты доктор, умный. А возраст, что возраст? Кто выше поднимается, тот больше видит. И потом, каждому свое. Нам тундра и олени. Тебе тайга и за зимовьем смотреть.

Ахмад Расулов не знал, что и сказать. Он удивленно смотрел на ненцев, а те укладывали свои пожитки и обсуждали текущие дела, словно все уже было решено.

Терентий вступил в разговор.

— Не держи нас, батька. И так мы припозднились.

Савелий подошел к дочери, она повернула к нему голову.

— Уходим, дочка, теперь тут твой дом. Доктор — твой хозяин, как скажет, так и делай.

Девушка едва заметно кивнула.

Ахмад, словно посторонний, наблюдал за этой картиной.

Ненцы ушли, и он остался наедине с девушкой.

Ахмад ухаживал за ней, как заботливый родитель. Перевязывал рану, кормил, сажал ее на ведро, как ребенка на горшок. Она сама была еще слишком слаба, чтобы самостоятельно следить за собой. Варвара стеснялась, но Ахмад не видел в этом ничего особенного. Его дочь, наверное, была уже такой же, может уже выдали ее замуж. А потом, когда девушка окрепла, нагрел воды, и она вымылась, правда, опять не без его помощи.

Ахмад увидел, что она миловидная. Желтизна сошла с ее лица, на щеках появился румянец. Зубы у нее были ровные, белые, иссиня-черные волосы, густые настолько, что гребень с трудом продирался сквозь них. Фигурка стройная, правда, на его взгляд, излишне худощавая, но это должно быть от затянувшегося выздоровления.

Варвара уже с аппетитом ела, улыбалась своему доктору, самостоятельно вставала с постели и делала первые шаги по жилищу. А когда почувствовала себя здоровой, то впервые за долгое время вышла во двор. Ахнула от открывшейся ей таежной красоты, и, как и Ахмад после болезни, не могла надышаться свежим воздухом.

Как заправская хозяйка, Варвара взяла на себя все заботы по дому. И тут выяснилось, что она многое не умеет. Она готовила простую немудреную пищу, в основном, отварное мясо. Ахмада же такая еда не устраивала, и он стал учить девушку готовить таджикские национальные блюда: шурпу,

лагман, жаркое. Варвара не понимала: зачем тратить столько времени на обеды и ужины, кочевая жизнь приучила ее к примитивному рационализму. Но училась она с удовольствием и по-детски радовалась, когда Ахмад хвалил ее стряпню.

Ахмад Расулов понимал, что они создания совсем других миров, которые лишь соприкасаются один с другим, но не взаимопроникают. То, что было удобно и привычно ему, ей казалось нелепым, и, наоборот, кочевая жизнь ненцев мало подходила истаравшанцу. И вообще, он пришел к убеждению, что каждый народ — это как островки в огромном океане планетного бытия. Они могут общаться, учиться друг у друга, мирно сосуществовать, но при этом не терять свою самобытность и свой уклад жизни. Именно сосуществовать, а не уподабливаться, как бы того кому-то не хотелось.

Ахмад с Варварой вместе ходили в тайгу, делали запасы к зиме. Лето шло к концу и следовало с пользой расходовать каждый погожий день. Варвара открывала для себя огромный, удивительный мир, восторгалась им, и Ахмаду по душе были ее непосредственность и в то же время взрослая рассудительность и спокойствие.

Рана зажила, уже не болела, хотя рукой девушка владела не в полной мере. Ахмад задним числом дивился своей смелости, это надо же проделал довольно сложную операцию и вырвал девушку из когтей смерти, хотя, если здраво рассудить, другого выхода у него не было.

Они жили семейной жизнью, но физической близости у них не было. Ахмад и не считал ее возможной. Он был пожилым мужчиной, она девушкой, хотя у ненцев такие, как она, уже давно были замужем и имели детей.

Месяцы шли, а Савелий все не шел за дочерью.

— Скоро зима, — сказал как-то Ахмад. — Еще немного и ты не сможешь вернуться домой. Запаздывает твой отец.

Варвара изумленно посмотрела на него.

— Куда домой? — спросила она. — Мой дом тут.

Теперь Ахмад уставился на нее широко открытыми глазами.

— Твой дом там, где твой отец, твой род, твоя семья.

Она несогласно покачала головой.

— Моя мать умерла при последних родах. У отца кроме меня еще четверо детей. Он живет с другой женщиной. В его чуме для меня места нет. Он хотел этой осенью отдать меня замуж за пастуха Иннокентия. И хорошо, что не отдал, тогда бы я не знала тебя. Ты красивый, умный, сильный, ты мне настоящий муж.

— Но у меня есть жена, — возразил Ахмад.

Варвара беспечно махнула рукой.

— Это далеко, значит, почти что нет. А потом столько лет прошло, может твоя жена другого мужа нашла. Ты, Ахмад, не знаешь наших обычаев. Ты подарил мне жизнь, значит, я стала твоей. Мой отец как-то подобрал в тундре важенку-олениху. Волки сильно порвали ее. Отец выходил ее, и хозяин важенки не предъявлял на нее никаких прав. Она стала собственностью другого человека.

— Но ты ведь не олениха?

— В этом мире все люди, — философски ответила девушка. — Олени, медведи, соболя, песцы. Только шкура разная, а все одинаково жить хотят, у всех свои правила.

Оставалось только согласиться с этими рассуждениями.

Варвара спала на нарах, Ахмад на полу, на меховой полости.

— Почему не спишь со мной? — спросила девушка. — Я тебе противна?

Пришлось признаться, что нет.

— Я не красивая? Не нравлюсь тебе? Ваши девушки другие?

— Ты красивая, — ответил Ахмад со всей искренностью. — И нравишься мне.

— Тогда я не понимаю тебя, — заключила Варвара, — Муж должен спать с женой. Хозяин должен ложиться в свою постель. На полу у порога валяются только собаки.

На следующую ночь Варвара постелила им обоим на нарах. Ахмад лег спать с ней, хотя далось ему это нелегко. Пришлось перешагнуть через свои нравственные убеждения.

Но оказалось, что перешагивать через них иногда приятно, и Ахмад наслаждался семейным уютом и теплом, на которые даже не смел надеяться на шестом десятке жизни.

Ему по душе была самостоятельность молодой ненки, ее рассудительность и своеобразная жизненная философия. Она жила, как все создания в тайге и тундре, сегодняшним днем, с ощущением неповторимости, проживая каждый миг, и мало заботилась о будущем. Она справедливо полагала, что наше будущее не зависит от нас самих, и потому незачем гадать, каким оно будет.

Повалил искристый крупчатый снег, похожий на рисовые зерна. Зима завыла буранами, набросила белый покров на притихшую тайгу. Темное небо низко нависло над растительным царством. Три цвета определяли палитру этого времени года: белый, черный и синий. Безмолвие царило в таежной глуши, лишь надрывное карканье ворон нарушало его чужеродными звуками.

Белки стремглав возносились по стволам кедров к своим дуплам, проворно сновали по ветвям соболя, отправляясь на охоту, волки оставляли цепочки следов на белом снегу; таежный мир жил своей жизнью.

Своей жизнью жил и Ахмад Расулов. Впервые зима не тяготила его. Он наслаждался покоем, теплом и заботой черноглазой ненки, так внезапно вошедшей в его судьбу. И он подумал, что, действительно, есть высшая сила, которая не оставляет нас своим вниманием и лучше нас знает, когда и что нам делать, и как нам жить. Когда-то он потерял пушистого друга Баеза, так скрасившего первые таежные годы, а взамен Создатель послал ему еще более бесценное творение — молодую прекрасную женщину. И Ахмад жил, наслаждаясь каждым мигом, полагая, что это воздаяние ему за несправедливый арест и последующие тюремные и лагерные мытарства.

Ненцы подарили ему широкие лыжи, на которых можно было ходить по глубокому снегу, не проваливаясь. И Ахмад в тихую погоду выбирался в зимнюю тайгу. Оказалось, что она и в холодную пору преисполнена красоты и величия. Стояла звенящая тишина, ели походили на осанистых женщин, на плечи которых набросили изящное белоснежное манто. Лиственницы топорщили голые ветви, и Ахмад понял, почему эти хвойные деревья называют лиственницами. Ели и кедры сохраняли свои иглы, а лиственница сбрасывала их на зиму, и ее хвоя пушистым ковром лежала у подножия ствола.

Можно было охотиться, собирать ягоды, оставшиеся с осени. Они, как угли, пламенели сквозь толщу снега, и Ахмад любовался контрастами ярких красок и снежной белизны.

Одно время, еще до появления Варвары, его охватила такая тоска, такое чувство безнадежности, что он решил выйти к людям. Пусть его снова посадят в лагерь, пусть даже расстреляют, чем такое томительное ощущение

неопределенности и своей ненужности. С большим трудом погасил Ахмад эту решимость.

Варвара подрезала Ахмаду бороду и усы, постригла волосы на голове, отошла, посмотрела и захлопала в ладоши.

— Да ты совсем молодой! Тебе нельзя обрастать, становишься старше.

Она расцеловала его, прижалась, как шаловливый котенок, и он ради таких мгновений мирился даже с однообразной таежной жизнью.

На следующее лето появилась неизменная троица: Терентий, Савелий и Антон. Принесли припасов Ахмаду, по-свойски расположились в его зимовье.

— Мы за Варькой, — объявил Терентий. — Пусть немного в стойбище поживет.

— Случилось что? — Ахмад почувствовал какую-то вынужденность в словах отца девушки.

— Случилось, — Терентий взъерошил короткие волосы. — Жена моя померла. Вторая. Вроде ничего была, а потом раз, как спичка, сгорела. Дети остались, хозяйство, пусть Варвара немного поможет.

Ахмад решился.

— Может, и я с вами пойду? Все-таки не чужие мы теперь.

Терентий несогласно потряс головой.

— Нельзя тебе, доктор. Я думал все время и понял: непростой ты человек. К нам участковый ездит, комиссии всякие. Если не боишься, поехали, а если есть у тебя что-то, что нужно прятать, тогда не надо испытывать судьбу. Я так думаю.

И Ахмад Расулов был вынужден согласиться с отцом своей жены.

— Надолго хочешь забрать Варвару? — только и спросил он.

— Зачем надолго? Поможет немножко и обратно. Все-таки жена тебе.

И Варвара ушла вместе с отцом и его земляками.

Снова время загустело и потекло, как патока из глиняного кувшина. Видел такое Ахмад в детстве у себя в Истаравшане. Занимался он привычными делами, но не было прежнего рвения, больше по необходимости чинил он зимовье и промышлял в тайге. И сама тайга казалась скучной и побуревшей, словно выцвела от летнего тепла.

Только теперь Ахмад понял по-настоящему всю томительность одиночества. Без Варвары жизнь разом обесцветилась и потеряла свое главное содержание, а заключалось оно в семье и во внимании двух расположенных друг к другу людей. Ожидание стало главным смыслом его таежного существования.

Терентий обещал, что дочь скоро вернется к Ахмаду, но прошло два года прежде, чем он снова объявился, опять в сопровождении Савелия и Антона, но без Варвары.

— Где Варя? — спросил Ахмад, от досады не желая обмениваться приветствиями.

— Не может Варька прийти, — так же коротко отозвался Терентий. — Ребенка поднимать надо, растить, одним словом.

Ахмад опешил.

— Какого ребенка?

— Твоего сына, однако.

— Моего сына? Почему же я ничего не знаю?

Терентий пожал плечами.

— Откуда ты можешь знать? Дочь скрыла от тебя свою беременность.

Ахмад сел на нары и непонимающе уставился на ненца.

— Но почему скрыла?

— Боялась, прогонишь ее или откажешься от ребенка. Ты — не наш, кто знает, что бы ты сделал?

Эти слова задели его до глубины души.

— Что значит, не наш? Я — отец, и мой сын мне дорог не меньше, чем вам.

— Может быть, — спокойно согласился Терентий.

— И что теперь?

— Мальчишка подрастет, приведем сюда, посмотришь.

— Когда?

— Видно будет, — философски отозвался оленевод.

Ахмада словно жаром обдало. Он поднялся с нар, вплотную подошел к Терентию.

— Интересно получается. Отец я или не отец? Я должен принимать участие в его воспитании?

— Отец, конечно... Должен... — слышалось ответное.

— Как назвали ребенка?

— Иннокентий, Кешка, однако.

— Я должен был дать ему имя, — возмущенно закричал Ахмад. — Мой сын наполовину таджик, и у него должно быть таджикское имя.

Терентий обидно засмеялся.

— Где такое написано? Ты не у себя в Средней Азии. Ты тут один, нас много. Мы решаем, кем быть мальчику.

Терентий вышел на крыльцо, сел на ступеньку, раскурил трубку. Седое облако дыма отпугивало мошкару, клубившуюся над их головами.

Ненец смотрел на тайгу, стеной возвышавшуюся рядом с зимовьем, на голубое небо и длинные полосы облаков, начинавшие розоветь в лучах закатного солнца.

— Хорошо тут, — проговорил он задумчиво, — а в тундре лучше, простора больше.

Ахмад сел рядом с ним, ладонью разогнал табачный дым.

— Ты не уходи от разговора. Я хочу видеть сына.

— Увидишь когда-нибудь, — отозвался Терентий. — Ты не кипятись, а лучше подумай. Вот ты говоришь, хочешь воспитывать сына. Здесь? Чему ты его научишь? Зимовье чинить, грибы собирать? Ты один, как волк, и сына таким сделаешь. Дети растут быстро, скоро в школу надо будет. Где тут школа? Сам учить будешь? Только чему?

Ахмад слушал, опустив голову. Хотелось возразить Терентию, но нужных доводов не находилось. Была правота в словах ненца.

— Молчишь? — проговорил Терентий. — И хорошо делаешь. Слова, как табачный дым, подул ветер и унес его.

— И что же будет? — глухо проговорил Ахмад.

— Я уже сказал, подрастет мальчишка, приведем, посмотришь.

— Как же я теперь жить буду? — глубокая тоска прозвучала в его словах.

Терентий сочувственно посмотрел на него.

— Как жил до этого, так и продолжай жить. Ты — мужчина, тебе раскисать ни к чему.

Через два дня ненцы ушли, а Ахмад Расулов остался наедине со своими раздумьями. Ясно, что сын многое взял от матери: и широкое лицо, и смуглость, и раскосые глаза. А что он взял от него, истаравшанского таджика? Даже имя и то чужое. Больно было от сознания всего этого Ахмаду. Какая-то половинчатость в его судьбе. Вырвался на свободу и приобрел одиночество, полюбил Варвару и остался без нее, родился сын, но увидит ли он его когда-

либо... Только тайга дана ему в собственность, вот уж кто не изменит и не оставит... И Ахмад горько усмехнулся, подумав это.

Он ждал прихода Варвары с ребенком постоянно, ежедневно. Это превратилось у него в какое-то наваждение. Вот придет ранней весной, нет, летом, а, может быть, осенью, чтобы зиму скоротать вместе с ним? Но проходили весна, лето, осень, и никаких вестей не было от его новой семьи. Так прошли пять весен, лет, осеней...

На этот раз Терентий пришел один. Он заметно постарел, лицо его стало морщинистым, сгорбился, волоски на месте усов и бороды побелели.

— Сдал ты, Терентий, — покачал головой Ахмад.

— Да и ты не молодеешь, доктор, — отозвался в тон ему ненец.

Снова, как и пять лет назад, уселись на крыльце, снова Терентий раскурил трубку, отгоняя едким дымом надоедливую мошкару. Как будто и не было этих прожитых лет...

— Ну а теперь ты мне что скажешь? — не выдержал Ахмад.

Терентий помолчал, выдохнул клуб дыма, искоса посмотрел на своего зятя.

— Есть что сказать, — отозвался он. — Беда, брат, Варька умерла.

Ахмад подался к Терентию.

— Как? Когда?

— Год назад. Отбились олени от стада, она пошла в тундру искать их. Нашла, а там волки. Стала отгонять их от оленей, волки ее и погрызли. Когда нашли, уже поздно было, истекла кровью. Думаю, даже ты не смог бы помочь ей.

Потрясенный Ахмад теребил пальцами рукав меховой кухлянки Терентия.

— Похоронили?

— Зачем? Мы своих мертвых оставляем в тундре. Хищники съедают и все их грехи забирают себе. Душа человека чистая уходит на небо.

— А сын? — больно было слышать все это и говорить Ахмаду.

— А что сын? Растет. Уже второй класс закончил. Хорошо учится, толковый парень будет.

— Я хочу его видеть, — решительно сказал Ахмад.

— Зачем? — удивился Терентий. — Кому это нужно?

— Мне и ему. Он должен знать, кто его отец.

— Э-э, нет, — лицо пожилого ненца посуровело. — Давай, Ахмад, поговорим как мужчины. — Терентий редко называл зятя Ахмад, все больше «доктор» или «отец». А тут назвал по имени, значит, разговор предстоял серьезный. — Как раз, наоборот. Кешка не должен знать, кто его настоящий отец. Я усыновил его, он теперь мой ребенок. И этого для него достаточно.

— Он — таджик наполовину, — напомнил Ахмад.

— Это ты так думаешь, — спокойно отозвался Терентий. — А я думаю поиному. Он был бы таджиком, если бы родился на твоей родине. Но он родился в тундре, он — ненец, и ничего другого он не должен знать. Он — сын другого народа, и будет жить так, как живу я, как жили все другие поколения до нас. Ты только мешать ему будешь.

Горячая волна злости ударила в голову Ахмада. Все вокруг почему-то окрасилось в розовые тона. Он вскочил и замахал руками перед лицом пожилого ненца.

— Я пойду с тобой. Я найду сына. Я отберу его у вас, — Ахмад выкрикивал все это, не вникая в смысл произносимых слов.

Терентий усмехнулся.

— Куда пойдешь? Где искать будешь?

— По имени найду, — запальчиво выкрикнул Ахмад.

Терентий рассмеялся.

— У нас каждый третий ненец — Иннокентий. А стойбищ в тундре сотни. Долго же тебе придется искать. И потом ты забыл, что тебе нельзя появляться среди людей. Снова можешь поменять свой адрес.

Злость разом оставила Ахмада. Он снова сел на ступеньку, сгорбился, обхватил голову руками.

— Что же делать теперь?

Терентий положил ему руку на плечо, дружески привлек к себе.

— Жить, Ахмад, продолжать жить. Раз ты не умер до сих пор, значит, для чего-то ты нужен этому миру. Вот и продолжай узнавать свою судьбу. Больше мы с тобой не увидимся, зачем расстраивать друг друга? Живи с сознанием, что ты оставил свой след на этой земле, выполнил свое предназначение. У тебя дети на родине, сын в Сибири. Разве плохо? Твой род продолжится, и так ли это важно — с твоим участием или без него?

Пожилой ненец говорил задумчиво, наверное, больше для себя, чем для сидевшего рядом истаравшанца, который на короткое время стал ему родным и с которым теперь они разойдутся навсегда. И как ни больно было Ахмаду, но он соглашался с Терентием. Простой оленевод не мог похвастаться высокой грамотностью, но он обладал житейской мудростью, в его речи была продуманная логика, и трудно было ее опровергнуть чем-либо.

Ахмад прижал руку к груди, намереваясь унять сердечную боль. Сердце билось неровно, его удары походили на трепыхание птицы, попавшей в силки, и Ахмад впервые подумал, что прожил большую часть жизни, и кто знает — сколько лет, месяцев, а может, дней осталось ему коротать в таежной глуши? Странно обходилась с ним судьба, она дарила ему короткие вспышки радости на фоне однообразного существования. Это походило на дальнюю грозу, когда молнии прорезали толщу черных туч, на мгновение освещали окрестности, но тучи при этом оставались неуязвимыми и медленно надвигались на затихшую тайгу. И, наверное, нужно примириться с этим, у каждого своя судьба и глупо примерять на себя чью-то чужую.

— Ты прав, Терентий, — с усилием проговорил Ахмад. — Ты все сделал правильно. Я не буду тебе мешать.

— Именно это я и хотел услышать от тебя, — согласился Терентий. — Ты разумный человек и еще раз доказал это.

Они долго сидели на крыльце, касаясь друг друга плечами. Говорить больше было не о чем, но их молчание было выразительнее пространных речей. Оба переживали чувство духовной близости, которая рождается после долгого выяснения отношений, когда на смену взаимным упрекам и обвинениям приходит понимание обоюдной правоты.

Незаметно наступила ночь, ясная и чистая, какая бывает только там, где небо не замутнено дымами и пылью. Большая круглая луна поднялась из-за гребня тайги и залила все вокруг серебристым светом. Казалось, отчетливо различаются даже метелки игл на высоких кедрах. Черные тени залегли у подножия таежных великанов, словно за тем, чтобы подчеркнуть прозрачность лунной ночи. Ни ветерка, ни звука, природа замерла в величественном спокойствии.

— Хорошо как, — еле слышно проговорил пожилой ненец. — Вот так должно быть и в отношениях между людьми, чисто и ясно, без лжи и обмана.

Ахмад молчал, погруженный в волшебное очарование лунной ночи. Да и о чем было говорить, самое важное сказано, а все остальное уже не имело значения.

Терентий поднялся с крыльца.

— Пойду я спать. Завтра рано нужно идти к моим олешкам.

Утром, когда Ахмад проснулся, Терентия в зимовье уже не было.

Ахмад Расулов продолжал жить в глуши сибирской тайги. Он делал все, что нужно было делать, чтобы успешно коротать долгие зимние месяцы, но делал это больше по привычке, без прежнего исступленного желания уцелеть, во что бы то ни стало. К нему пришло понимание тщетности человеческих усилий, и он примирился с этим. «Делай, что должен, говорили древние, и будет, что будет». Ахмад Расулов не знал этой истины, но в точности следовал ей.

Он не позволял тоске и унынию совладать с собой. По-прежнему не запускал свой внешний вид, чинил одежду и содержал ее в чистоте, из беличьих шкурок шил себе куртку и штаны. Они получались грубыми и жесткими, но отвечали своему предназначению. Коротко подрезал усы и бороду, хотя волосы на голове отросли и падали на плечи. Не любил смотреть на свое отражение в воде, он не узнавал этого человека, постаревшего и хмурого, на лице которого залегла сеть морщин, оставленных разочарованиями и бесконечным одиночеством. Больше он не искал себе друзей среди живых существ, слишком дорого обходилась ему разлука с ними.

По-настоящему близкой стала Ахмаду Расулову тайга. Он сроднился с ней, стал ее частью. За то время, что он прожил в ее глуши, он пришел к пониманию, что тайга — это не скопление деревьев и прочей поросли. Это гигантское живое существо со своими настроениями, привычками и жизненным укладом. И от того, как ты относишься к ней, зависит и ее отношение к тебе. Тайга приняла Ахмада Расулова, делилась с ним своими богатствами в той мере, в какой это ему было нужно, и он довольствовался этим.

Он стал частью великой сибирской природы, и это в полной мере соответствовало его новому миропониманию. Его больше не тянуло к людям. Их суета и заботы стали ему чуждыми. Он пришел к осознанию, что в жизни вообще есть высший смысл и нужно стремиться к его познанию.

Ахмад Расулов вспомнил Робинзона Крузо и усмехнулся этим воспоминаниям. Робинзон был и остался потребителем тех благ, которые давал ему богатый остров, без понимания великой сущности человеческого бытия. В его записках проглядывало тщеславие мелкого человека, которому нужно было, во что бы то ни стало, утвердиться в собственных глазах и в глазах окружающих позднее его людей. Он объявил себя губернатором острова, распоряжался Пятницей и попавшими туда моряками, всячески подчеркивал незаурядность своей личности. А всего этого не нужно было. Подлинное величие всегда просто по своей сути, а подвиг заключается не в количестве прожитых в одиночестве лет, а в их верном и философском осмыслении. Судьба решила испытать тебя. Ты выдержал ее немилосердную проверку, и будь благодарен ей за это.

И Ахмад Расулов перестал уважать Робинзона Крузо.

Впрочем, он никому не навязывал своего мнения, может, он и ошибался. Содержание книги о Робинзоне помнилось плохо, и рассуждения истаравшанца в большей степени относились к самому себе, нежели к литературному английскому отшельнику.

## Послесловие

Эту историю рассказал красноярский инженер Виктор Кураксин. Он жил в Таджикистане, закончил в Чкаловске Среднеазиатский политехникум, и его направили на работу в Красноярский край, на тогдашнее закрытое предприятие Красноярск-26, а ныне город Железногорск. Трудно приживался Виктор в суровом сибирском климате, а когда освоился, побродил по тайге, то лучше этого края и представить себе не мог.

Особенно увлекся он охотой. Тайга влекла его к себе не столько богатой дичью, сколько своим величием, первозданностью и неповторимостью.

— Казалось, никто и ничто не может совладать с ней, — рассказывал Кураксин, — настолько она сильна и беспредельна, а, оказалось, человек смог. Открывались предприятия, один за другим создавались леспромхозы. Страна строилась и много нужно было древесины. Тайга отступала, появлялись безлесные пустоши. Если прежде достаточно было на день-другой углубиться в тайгу и, пожалуйста, охоться, то позднее уже и недели было мало. А дальше, больше. Уходили на десятки километров и только белок видели, да и те пуганные. А серьезная дичь укрылась в самой гуще тайги.

Ну что поделать, как говорится, издержки прогресса.

Однажды, когда мы вот так толковали между собой, вертолетчик Николай Петров, отчаянный мужик, никаких чертей не боялся, взял и предложи нам: «А хотите, я вас в самое сердце тайги заброшу. Туда, где человеческая нога не ступала. На днях я лечу к геологам со снаряжением, сделаю крюк и вас высажу в глухомани. Побродите там с недельку, а потом заберу обратно. Зато такое увидите, какого еще никто не видел.

— А сумеешь ли сесть? — спросил я.

— Отыщем какую-нибудь площадку, а нет, на тросе вас спущу.

Посоветовались мы и решили лететь втроем, я и мои приятели, Лешка Удалов и Семен Панкратов, здоровенный парень, проходчиком работал в шахте.

Рано утром вылетели. Глухо ревел вертолетный двигатель, океанскими волнами колыхалась под нами тайга.

«Крюк» оказался немалый, летели часа три, чтобы достичь таежного сердца.

— Странное дело, — прокричал вертолетчик сверху, выглянув из кабины. — На карте у меня ничего не отмечено, а внизу жилье. Вон дымок из трубы курится. Так деревьями обсажено, только сверху и заметишь.

— Тем лучше, — откликнулись мы. — Будет, где остановиться.

Сесть вертолету было негде, и Петров опустил нас возле зимовья на тросе, а потом и наше снаряжение выгрузил, после чего поднялся вверх и улетел.

Небольшая бревенчатая изба была плотно окружена частоколом. Только в одном месте были ворота, сколоченные из толстых потемневших досок.

Мы постучали в них.

— Хозяин! Есть кто живой?

Створка ворот отворилась, и мы замерли от удивления. Таежный житель был уже не молод. Морщинистое лицо, короткие седые усы и борода, длинные волосы до плеч, тоже с обильной проседью. Одет причудливо: полушубок из беличьих шкурок, весь обвешанный пушистыми хвостами, штаны и рубаха из плохо выделанной кожи.

— Не пригласишь к себе? — спросил я. — Мы — охотники, люди не злые, не обидим. Нам бы на ночь остановиться, а утром мы в тайгу уйдем.

— Входите, — коротко отозвался хозяин и посторонился.

Двор был небольшой, но чистый. Само строение тоже содержалось в порядке, подгнившие бревна заменены новыми, щели законопачены мхом, ставни на окнах добротные. И внутри в зимовье все аккуратно прибрано, никакие вещи не разбросаны, каждая на своем месте.

— Молодец! — искренне похвалил я хозяина. — Не у всякого горожанина так квартира содержится.

— Одному много ли надо, — отозвался тот. — Чистота в доме, чистота в душе, я так полагаю. Может, поесть хотите, чаю могу согреть? Только чай у меня на травах.

— Было бы неплохо, — согласились мы. — С дороги чай, хоть на лопухах, первое дело.

— Только особо угощать нечем, — отговорился хозяин. — У меня еда простая.

— У нас все с собой.

Мы разложили на столе колбасу, хлеб, сыр, открыли пластмассовую коробку со сливочным маслом. Алексей расщедрился, выставил баночку с красной икрой.

— Пока так, — сказал я. — А к вечеру что-нибудь поосновательнее сорудим.

Мы пододвинули стол к нарам, с другой стороны поставили широкую скамью. Уселись, Семен Панкратов достал из рюкзака бутылку водки.

— Это вы сами, — отказался хозяин зимовья, — не употребляю.

— Что так? — удивился Семен. — Русский человек, а от питья отворачиваешься. Может баптист или старовер?

— Ни то, и ни то, — чуть заметно улыбнулся хозяин. — Да и не русский, к тому же.

— А как зовут? — полюбопытствовал я.

— Ахмад.

— Постой, постой, — мне стало любопытно. — А ты, отец, не из Средней Азии?

— Из нее самой, — согласился Ахмад. — Из Таджикистана.

Я рассмеялся.

— Вот это случай! В самой таежной глуши земляка встретил.

Теперь взволновался хозяин зимовья.

— А ты откуда?

— Из Ленинабада, там рядом город Чкаловск есть.

— Не слыхал, — признался Ахмад.

— Ну как же, знаменитый город. А ты давно в тайге?

Ахмад поразмыслил.

— Из Истаравшана я уехал в тридцать пятом году. А в тайге года с сорокового или чуть позднее.

— А, ну тогда понятно, что не знаешь Чкаловска, его построили как раз после войны.

— Какой войны? — удивился старик.

— Так ты ничего не знаешь, что произошло с той поры?

— Откуда мне знать, — Ахмад вздохнул. — Людей я не видел, а таежное зверье неразговорчивое.

За едой мы рассказали таежнику и о войне с фашистами, и о смерти Сталина, и о том, что было дальше в стране, включая и нынешнее время.

Старик слушал, широко раскрыв глаза, а когда я стал рассказывать о Таджикистане, он прослезился, покачал головой.

— Вот это просветили вы меня.

— А как ты попал в тайгу?

Я ожидал ответного рассказа, а вместо этого Ахмад отделался короткой фразой.

— Так вышло.

Ел он осторожно, приглядывался к колбасе и сыру, подносил их к глазам.

— Да ты не бойся, — не выдержал Панкратов. — Не отравленное. Видишь, мы едим.

— А я и не боюсь, — отозвался таежник. — Давно не видел этих продуктов, даже забыл, как они называются.

Мы подсчитали.

— Отец, да ты в тайге, почитай, тридцать пять лет. И все время один?

— Один, — согласился Ахмад. — Староверы меня поддерживают до сих пор. Продовольствие приносят, из вещей кое-что, но сами на глаза не показываются и не общаются со мной. Иноверец я для них. С ненцами одно время встречался, а потом разошлись мы.

— Что так?

— Долгий рассказ, — опять уклонился старик.

— А знаешь, что тебе уже больше восьмидесяти лет? — спросил я.

— Откуда мне знать? Я давно счет времени потерял.

Мы во все глаза смотрели на удивительного таежника.

— Ну, батя, ты дал, — Лешка Удалов восхищенно покрутил головой. — Ты знаешь, ты перекрыл Робинзона Крузо? Слышал о таком?

— Читал когда-то, — отозвался старик. — Еще в детстве.

— Так вот, — продолжал Лешка. — Робинзон прожил на необитаемом острове двадцать восемь лет, а ты в необитаемой тайге — тридцать пять.

Ахмад едва заметно улыбнулся.

— Ну, как он жил, и как я! Мои таежные годы один за два считать можно.

Мы хотели уйти в тайгу на следующее утро, но решили задержаться на день. Уж очень любопытен был нам этот сибирский Робинзон. Рассказывали мы ему, что страна уже не та, нет прежнего произвола, больше справедливости.

Старик слушал нас и напряженно размышлял, а еще через день оттаял.

— Растревожили вы мою душу, — признался он. — Слушайте, что со мной было.

И под вечерний чай Ахмад поведал нам свою историю. Мы верили, и не верили.

— Неужели так может быть? — удивился Удалов. — Ни за что, ни про что записали человека в бандиты, приговорили к вышке и хлопнули бы, наверное, если бы не убежал.

— Было, — вздохнул старик.

Я постарался ободрить таежника.

— Так теперь тебе нечего бояться. В твоем деле, наверняка, разобрались, да и амнистий с той поры сколько было. Ты теперь свободный человек, можешь идти и ехать, куда хочешь.

— Как знать, — усомнился Ахмад. Было видно, что не особенно верил он нашим утверждениям.

Понемногу он раскрывался перед нами. То об одном эпизоде рассказывал, то о другом, и так, по частям мы узнавали все его таежные приключения, включая и историю о сыне-ненце.

— Может, помочь тебе отыскать его? — предложил я.

Ахмад не согласился.

— Не нужно это. Парню уж, наверно, к тридцати, а может, и больше. Какой я ему отец? Растили и учили его другие.

В тайге уже царила осень. Величественная стояла она в золотистом уборе. Самая охота, а мы забыли о ней, настолько захватила нас встреча с таежным Робинзоном. Мы переживали за него, сетовали на несправедливость, а старик оставался спокоен.

— Как же ты выстоял против тайги? — удивился я.

Старик дружески коснулся моего плеча.

— Секрет простой. Есть такие предания о жизни пророка Мухаммеда (да будет его имя благословенно в веках!) и его сподвижниках, хадисы называются. В одном из них повествуется: Повелитель правоверных сказал: «Счастлив тот, кто не ждет многого от жизни и старается плодотворно использовать отведенный ему срок». Именно так я и жил. А если еще проще: я старался соразмерять свои желания с имеющимися возможностями.

— Так, значит, ты стал в тайге религиозным человеком? — спросил я.

Ахмад поправил меня.

— Верующим, это будет точнее. Понимаешь, вера живет в душе каждого человека. Иной не дает ей ходу, как бы подгоняет свои убеждения под существующую идеологию. Но рано или поздно, вера, как семена на пашне, прорастает зелеными всходами. Это неизбежно. Любому человеку нужна нравственная опора, особенно, если попадаешь в сложные жизненные обстоятельства.

— Понятно, — согласился я. — И ты стал мусульманином?

Ахмад поразмыслил.

— Скорее, приверженцем общей веры. Я считаю, что деление на отдельные религии — это скорее условность. В основном, все верят в Единого Бога, исповедуют общие нравственные принципы, и так ли важно, кто ты: мусульманин, христианин или иудей? Прежде всего, ты должен быть душевно чистым человеком. Потому я исповедую общую веру. Сам я таджик, обращаюсь к Богу по-русски и произношу не заученные молитвы, а делюсь с ним тем, что накопилось в сердце. Прошу о благополучии родных и близких, себе же — немного. Только, чтобы помог мне выстоять и прожить здоровым столько, сколько он сочтет нужным.

Признаться, я с удивлением слушал новоявленного философа. Сколько мне приходилось читать о таких вот вынужденных отшельниках! Многие опускались нравственно и физически, дичали, а Ахмад Расулов, напротив, поднялся на высокую ступень духовной зрелости.

— Ахмад-бобо, ты меня поразил, — сказал я искренне.

Он не согласился со мной.

— Ничего необычного. Если бы ты прожил тут столько же, сколько и я, ты бы понял, что в тайге нужно быть именно приверженцем общей религии. Тайга — это не смешение сосен, елей, кедров, лиственниц, кустарников и прочее, это зеленый Храм, величественный, сотворенный всемогущим Единым Богом. И в него нужно входить с чистыми помыслами, без хищных устремлений, не относя себя к какой-то одной из религий. Ведь объявлять себя в этом Храме, скажем, христианином — это значит, в чем-то считать себя лучше других верующих, требовать к себе особого отношения, а это будет неправильно. Тут мы все одинаковые и нужно понимать и принимать это.

Я так думаю.

Я слушал Ахмада Расулова с открытым ртом. Сам бы я никогда не додумался до такого религиозного толкования. Наверное, в этом тоже проявилось влияние многолетнего одиночества, когда подсознательная тяга к людскому обществу вылилась в форму таких вот откровений.

— А как же хадисы? — полюбопытствовал я. — Ведь это из исламской религии. Значит, мусульманского в тебе больше?

— Может и так, — согласился он. — Но я не считаю это преимуществом.

Мои товарищи с большим вниманием слушали таежного отшельника. Для них его речи были подлинным откровением.

— Ты здесь живешь один, — размышлял я вслух. — В жизни каждого человека бывает последний час. И, наверное, не все равно: встретишь ты его сам по себе, или в окружении родственников и близких тебе людей?

Старик не согласился со мной.

— Звери мудрее людей. Они не клевещут друг на друга, не гонятся за должностями, не занимаются накоплением благ. Они довольствуются тем, что удалось добыть. Главное, чтобы был сыт. А ты посмотри, как они умирают? Они не превращают смерть и похороны в спектакль. Почувствовали, что пришел конец их земному существованию, забиваются в укромное место в тайге, там расстаются с жизнью. Так и человек; он и кончина должны встречаться наедине. Это касается только их двоих, его самого и смерти.

Я уже решил для себя: когда придет мой смертный час, так же, как звери, уползу в тайгу и там испущу последний вздох. Это если хватит сил. Ну, а если нет, что ж, пусть это зимовье будет моим последним пристанищем, хорошо бы поджечь его и сгореть вместе с ним.

— А вот это зря, — не согласился Лешка.— Зимовье в свое время приютило тебя, ты из развалюхи вон какое жилище сделал, так пусть оно и другому какому отшельнику послужит. Похоронит он тебя вон под той громадной лиственницей и будет жить, поминая тебя добрым словом. Разве плохо?

— Неплохо, — признался Ахмад Расулов. — Память о добре, она подчас долговечнее иного каменного памятника бывает.

Признаться, мне не очень хотелось вести разговоры о смерти в присутствии старого человека. Для нас, тридцатилетних, рассуждения о ней, вроде философского мудрствования, а когда человеку за восемьдесят, тут совсем иное дело. Это уже конкретная тема. Как бы ни огорчить старика такой беседой! Но Ахмад Расулов так спокойно излагал свои взгляды о жизни и смерти, что я успокоился, но все же попытался перевести разговор на другую тему.

Я подыскивал ее, и меня осенило.

Ахмад по-русски говорил правильно, свободно выражал свои мысли, только медленно, подбирая каждое слово. Оно и понятно, за долгие таежные годы мало приходилось ему разговаривать с людьми.

— А родной язык помнишь? — спросил я.

— Не знаю, — честно признался старик. — Вот если бы потолковать с земляком, тогда бы я сказал точно — помню или нет?

Я на память привел ему несколько простых предложений на таджикском языке.

Ахмад снова прослезился и ответил мне длинной фразой, которую я, конечно же, не понял. Тогда он перевел мне ее: «Это слова поэта Камола Худжанди: «Если ты потерял богатство, ты не потерял ничего. Если же лишился родины, то ты лишился всего». Верно, сказал мой великий земляк!»

Где-то на третий день меня осенило. За ужином я предложил: — Слушай, Ахмад. А давай мы поможем тебе вернуться домой. Поедешь с нами в Красноярск. Там мы поместим тебя в гостинице, к сожалению, наш город режимный, посторонних не пускают. Мы свяжемся с руководством города, изложим твою историю, думаю, нас поймут и пойдут нам навстречу. Выдадут тебе документы, соберем деньги на дорогу. У нас во всех городах друзья. Позво-

ним, встретят тебя в Новосибирске, потом в Ташкенте, потом в Ленинабаде, а там до твоего дома рукой подать. Представляешь, какая радость будет для твоих родных снова увидеть тебя?

— А что, идея! — согласились мои друзья. — Давай, Ахмад Робинзонович, решайся.

Старик словно окаменел. Он молчал и не отвечал ни на наши вопросы, ни на наши шутки.

— Утром я вам отвечу, — сказал он.

Мы легли спать, а он так и просидел на крыльце всю ночь.

Тайга еле шумела под легким ветром, звезды помаргивали и совершали свой круговорот по темному бархату неба, и Ахмад словно советовался с ними.

Утром я бросился к нему. Я ожидал чего угодно: слов благодарности, просьбы чуточку помедлить, дать возможность собраться с мыслями и вещами, хотя какие у него вещи, но только не того, что последовало.

— Спасибо тебе, Виктор, — заговорил Ахмад. — Вряд ли кто мог предложить большее. Душевный ты человек, ценю я это. Но я должен ответить отказом. Нет!

Я и мои приятели буквально остолбенели.

— Так ты не хочешь? — изумился я.

— Зачем, не хочу? — ответил старик вопросом на вопрос. — Это будет неверно. Точнее, не могу.

— Но почему, в чем дело?

Ахмад отрешенно смотрел на буро-золотистую тайгу. Она словно распрямилась под его взглядом. Кедры, сосны и лиственницы замерли перед ним, напоминая солдат на полковом смотре. Ели и пихты сошлись теснее и образовали темно-зеленую шеренгу, сквозь которую не проникал взгляд таежного отшельника.

— Я скажу, — Ахмад был серьезен и чуточку печален. — Я не хочу обкрадывать своих родственников.

Мы непонимающе глядели на него.

Старик пояснил.

— Я уехал из дома зрелым мужчиной, полным сил. Это то, что я увез от них. Теперь привезу им старость и скорые болезни. Справедливо ли это? Полагаю, что нет. Это, во-первых. Во-вторых, я ничего не сделал, чтобы поставить детей на ноги, обустроить им жилье, женить и выдать замуж. А они будут обязаны кормить меня, мириться с моей дряхлостью и бессилием. Опять-таки, несправедливо.

— Но ты еще не дряхлый? — не выдержал я.

Ахмад усмехнулся.

— За этим дело не станет. Дряхлость — скорый спутник старости. Я буду своим детям в тягость. Возможно, они не упрекнут меня в этом, но я-то буду знать. За что же их наказывать таким образом?

Старик помолчал, глядя на тайгу.

— Но и это еще не все, есть и, в-третьих. Почти сорок лет я прожил в этом крае. Я стал частью этого мира, приспособился к его климату, его условиям. И если теперь я вернусь в жаркую Азию, я долго не протяну. Вспомните, что бывает со стеклянной посудой, если в нее сразу налить кипяток. А я хочу еще пожить. Есть силы, есть воля к жизни, зачем же преждевременно расставаться с нею?

Теперь молчали мы, пораженные странной логикой истаравшанца. И в то же время осознавали его правоту. Иные старики, напротив, стремятся к детям,

чтобы опереться на них. А иные, вот, как Ахмад Расулов, тянут до последнего, не желая никого обременять своей немощью. И то правильно, и это. И каждый решает сам это для себя. Каждый волен распорядиться своей судьбой в зависимости от своего разумения.

— Дед, это ты твердо решил? — спросил Семен Панкратов.

Ахмад утвердительно кивнул.

— И не будешь потом жалеть о своем решении?

— Может, и буду, но оно правильное.

— Пусть так, — согласился я со стариком. — Скажи тогда, что мы можем сделать для тебя?

Ахмад чуточку поразмыслил.

— Мне нужно мыло. Трудно без него обходиться. Летом я моюсь вон там, в водоеме. Вода там теплая и по берегам ил. Он хорошо мылится. Зимой же приходится купаться тут, в зимнике, а без мыла ни постирать, ни самого содержать в чистоте.

Мы заулыбались.

— С этим поможем, отдадим все, что есть.

— И другое, — продолжал старик. — Бороду и усы я сам укорачиваю, а вот волосы на голове не могу. Одно мученье с ними, видите, на плечах лежат.

— Это не вопрос, — успокоил я старика. — Дело в том, что вот он, — я указал на Лешку Удалова, — директор нашего городского Дома Культуры. И он же руководит народным театром. Это значит, он — режиссер, гример, парикмахер и многое другое.

Алексей не стал медлить.

— Прошу, маэстро, — указал на лавку. — Сейчас обслужим в лучшем виде. Ножниц у меня нет, но это не важно.

Он извлек из ножен охотничий нож, попробовал его остроту пальцем, одобрительно прищелкнул языком.

Через полчаса Ахмад преобразился. Короткая прическа, аккуратные усы и борода так омолодили его, что мы поняли: он в тайге еще не один год протянет.

— Да, тебя, отец, женить можно, — пошутил Семен. Ахмад подхватил его шутку.

— Было бы на ком, и минуты бы не раздумывал. Разве что к волчице посвататься?

Посмеялись.

— Давайте сделаем так, — предложил я. — Охоты и верно у нас не получилось, но лично я не жалею об этом. Увидели и узнали мы много необычного. Потому оставим тебе, Ахмад-бобо, съестные припасы, теплую одежду...

Старик сделал рукой такой жест, словно отказывался от моего предложения.

— Не спорить, — грозно произнес я. — Я старший в группе, мое решение обязательное.

Ахмад Расулов растрогался, даже глаза повлажнели.

— Если так, — сказал он прочувствованно, — мне ни о чем больше заботиться не надо.

Теперь я жестом остановил старика.

— Ну и прекрасно. Это от нашей группы, а от себя лично... — Я снял с гвоздя свое ружье и протянул Ахмаду, дарю вот это оружие. Прекрасное ружье, центрального боя, немецкое, марки «Зауэр, два кольца».

Волнение перехватило его горло.

— Такой подарок, я не могу...

— Зато я могу, — успокоил я старика. — Моя зарплата выдержит такие расходы.

Взволнованный Ахмад прижал руку к сердцу.

— У нас говорят: гость — подарок Аллаха. Вы не только подарок, вы его посланники.

К ружью я приложил патроны, коробки с порохом, дробью и капсюлями.

— Тебе этого, Ахмад Робинзонович, надолго хватит, — прокомментировал Лешка Удалов.

Семен Панкратов явно почувствовал себя обделенным. Все одарили таежника, а он остался в стороне. Продукты и вещи не считаются.

— Братцы, у меня идея, — пробасил он. — Давайте построим деду баню. Я посмотрел, бревна есть, доски тоже, фундамент сложим из булыжников. Вместо цемента глина пойдет, она вязкая. Чудо банька получится, будет, чем ему вспомнить нас.

Баню мы строили три дня, работали от темна и до темна. Ахмад не сидел в стороне. Мало того, что у него руки были умелые, так он еще оказался толковым прорабом.

Банька, конечно, получилась неказистая, стоит принять во внимание сроки ее сооружения и материалы, но полностью соответствовала своему назначению. Небольшой предбанник, полки, чтобы париться, камни над очагом для пара. Ничего не могли придумать с окном, нечем было стеклить, даже бычьего пузыря не нашлось. Решили обойтись без окна.

— Зажжешь в предбаннике жирник, еще лучше будет, — решил Семен. — Все, что надо и с ним увидишь.

А потом сдали баню в эксплуатацию. Натопили ее так, что с бревен смола потекла, раскаленные камни, облитые водой, дали крепчайший пар, вместо дубового веника использовали ветки пихты. Шел от него густой запах хвойного масла, и это тоже прибавляло удовольствия.

Отмытый добела, раскрасневшийся Ахмад, одетый во все чистое, долго, с наслаждением пил чай.

— Словно в раю побывал, — признался он.

Старик прихлебывал чай, а сам все поглядывал на ружье, висевшее над нарами.

— Вижу, угодили тебе этой штукой, — засмеялся Семен. — Как с молодой жены, глаз не сводишь.

— И то верно, — признался Ахмад.

Неделя подошла к концу. На восьмой день прилетел вертолет. Оглушительно грохоча двигателем, вздымая в воздух хвою и листья, завис над зимовьем. На землю упал трос с карабином на конце.

— Не жалеешь, что нарушили твое уединение? — спросил я Ахмада Расулова напоследок.

— Как ты можешь... — покачал он головой. — Вы просто осчастливили меня. А вообще-то я знал, что скоро тут люди появятся. Такие вот шайтаньи машины стали летать над тайгой. Ну, думаю, скоро заметят мое зимовье и обязательно полюбопытствуют, кто это там прижился.

Мы обнялись со стариком напоследок, и мотор втянул нас на тросе в кабину винтокрылой машины. Пилот озадаченно посмотрел на наши тощие рюкзаки.

— Вот тебе и таежная глушь. Неужели ничего стоящего не нашли?

Мы засмеялись.

— Ошибаешься, брат, такую диковину отыскали, раз в жизни бывает.

Вертолет поднимался вверх, могучие кедры остались внизу. Мы видели фигуру Ахмада Расулова, который прислонил ладонь ко лбу и следил за нами. Он становился все меньше, а потом массив осенней тайги поглотил его.

С той поры прошло много лет. Мы часто вспоминали таежного Робинзона. Хотелось бы повидать его еще раз, да все не выкраивалось время. Работали посменно, учились в институтах заочно, росли в должностях, и дети прибавляли забот. И вертолеты в те края уже не летали. А так хотелось узнать, как же дальше сложилась судьба истаравшанца Ахмада Расулова.

И твердо верилось: если пришлось ему окончить свои дни в тайге, то сделал он это достойно. Ибо кто мужественно и цельно прожил свою жизнь, не пасовал перед ее сложностями, тот и завершить ее сумеет по-мужски. Тайга приняла его и помогла выстоять, и кто лучше тайги мог проводить его в последний путь...

Эту историю красноярский инженер Виктор Кураксин рассказал нам, спустя двадцать лет после встречи с Ахмадом Расуловым в тайге, когда приехал в Чкаловск на похороны своей матери. Вернувшись домой, в Красноярск, после несостоявшейся охоты, он с головой окунулся в текущие дела, и, конечно же, все реже вспоминал удивительную историю истаравшанского беглеца из сталинского лагеря в Сибири. Напрягая память, он припомнил имя, вроде бы — Ахмад.

Что ж, только человек со стойким характером был способен пережить невероятные приключения и не сломаться, приспособиться к существованию в тайге и сделать ее своей судьбой.





КАСТУСЬ ЖУК

# На белой скатерти снегов

## Я вспомнил

Январское утро. Хрустящий снежок.
Очерченный инеем, высится город.
Кварталы и улицы меряя в холод,
Отцовский припомнил я вдруг кожушок.

И кликнули дали лесной стороны
Меня в отчий дом, где в узорах окошки,
И капли смолы, как янтарные крошки,
На шрамах,
посаженной дедом сосны.
Там сани берут от крылечка разбег,
Там лето в стогу, его впрок накосили.
А спустится вечер, ядреный и синий, —
Синеет печально сосняк, словно снег.

Как славно, что есть за лесами село,
Где жернов крутил я когда-то проворно —
Так быстро, что гул его вечно мажорный,
Как песню,
над мирной землею несло.

* * *

За селом, на вечерней меже,
Привиденьем взметнется береза...
Разольется тепло на душе,
Умиленья уронятся слезы.

Оторвись от забот на бегу
И замри, околдованный тишью.
Слышишь: шепчутся листья вверху,
Птиц в зеленых ладонях колышут.

Этот луга хмельной аромат
Льется в грудь — наслаждайся и слушай.
И ручей, что бежит наугад,
Звонкой радостью просится в душу.

Миг раздумья!.. Сквозь роздыми лет
Возвращаться мне к этим истокам,
Где оставил навеки свой след
Вешним нивам,
лугам
и дорогам.

## Лето

Дождь босиком лугами
Протопал вдоль рассвета.
И вот уже громами
Опять запахло лето.

Дыхание природы
Напористо и жарко,
И снова диким медом
Пропахли все лужайки.
А в небе — молний спицы,
Льняные тучи кружат.
И хочется напиться
Из полных светлых лужиц.

## Признание

Судьба моя,
Я рад, что ты
Не обминула проходную,
Что ты не выбрала иную
Дорогу
В поисках мечты.

Пусть громы злятся — слово им,
Но мы не слышим споров жарких,
Когда в огнях электросварки,
Как Прометеи, мы стоим.

И что стихия нам, друзья,
Когда любой из нас — стихия?
Из-под щитков, во тьме, —
лихие,
Сверкают молний лезвия.

Мы здесь — хозяева огня,
Кипит горячая работа.
Себя частицею завода
Я ощущаю в ритме дня.

*Перевод с белорусского Ивана БУРСОВА.*

* * *

И нахлынет внезапно тоска,
Все на убыль пойдет, на спад...
Но останется мне и векам
Дождепад.

Мысли кружат в который раз,
Исчезают в пучине дат...
Из твоих неутешных глаз
Дождепад.

Катит дни
и годы мой век —
Мне б вернуть это все назад.
Не всесилен, увы, человек.
Дождепад...

* * *

А скука — дребедень:
Как серый дождь осенний,
Печалью полон день —
И нет, увы, спасенья...

Прочь отгони печаль,
Она — беды порука.
И радость приручай,
Превозмогая скуку.

## Неудачнику

Не спеши стареть,
человек,
Жизнь стремительна — словно ветер...
Зерна лет
повылущит век —
Не заметишь.

* * *

Детишки кормят во дворе коня.
В прищурах глаз — и радость, и смятенье.
Конь смотрит на мальцов с благоговеньем,
Не замечая, взрослого, меня.

А я теперь в заоблачной стране,
Кормить коня — неужто не потеха?
И, удивленный звонким детским смехом,
Расхохотался аист на сосне.

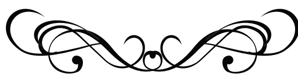
* * *

Хоть адреса не знаю твоего,
Пишу зарницей — на небес холстине,
Дождя морзянкой — на песке и глине,
Пишу
На белой скатерти снегов.
Свои координаты
В этом свете
Дарю тебе:
Я там, где шепчет ветер,
Где плещут звуки музыки лесной,
Где небо солнцем — оком Саваофа —
Глядится в воды,
Там мои ты строфы
В раскатах волн услышишь: я — с тобой!

Люби меня и будешь мной любима.
И, выйдя в предрассветный час на мол,
Ты ощутишь — с туманом я пришел,
В груди моей — течение Гольфстрима...

Хоть адреса не знаю твоего,
Пишу
На белой скатерти снегов...

*Перевод с белорусского Ирины ЖУК.*





ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ

# *Это не происходило никогда*

*Рассказы*

## Льюшка

Конец августа порадовал теплом. Не знаю, были ли побиты многолетние синоптические рекорды для этого времени, но вода в реке была на удивление теплая, что привлекало на пляж не по сезону много отдыхающих.

Льюшку я впервые увидал на пешеходном мосту, связывающем городской парк, расположенный на правом — высоком и обрывистом берегу, и пляж, тянущийся вдоль левого низменного берега от залива до излучины напротив порта. Из-за такого расположения моста хорошо заметен его наклон, вполне, впрочем, приемлемый для пешехода. Раньше, еще до его постройки, на пляж горожанам приходилось переправляться на старом теплоходике, постоянно курсировавшем меж берегами наподобие парома, или пользоваться услугами лодочников — впрочем, сейчас про это давно все забыли.

Льюшка сидел прямо на узких перилах, опасно свесив ноги над рекой, на самой середине моста, а высота там была очень даже солидная, и кто мог знать, что могло скрываться под водой. Не напороться бы на какую-нибудь старую сваю... в случае чего. Признаюсь, у меня на секунду возникла мысль о суициде, но строгий и внимательный взгляд Льюшки, вполоборота внимательно наблюдавшего за потоком пляжников, мало соответствовал такому образу.

Похоже, что такое необычное положение никого не волновало, ибо люди шли и шли себе мимо, не обращая никакого внимания на то, что кто-то наполовину висит над рекой.

— Я не самоубийца, — сообщил он, ощупывая меня своим внимательным взглядом. — Вы ведь такое подумали, верно?

— Верно...

— Меня зовут Льюшка. Имя, может быть, несколько странное для вашего уха, но тут уж ничего не поделаешь. Каждый может иметь то имя, которое имеет, не правда ли? История знает случаи еще более удивительных наименований... Какой-нибудь Дазмир или Электрина, например... Вы не находите?

— Ни в какой мере не собираюсь оспаривать ваше право на любое имя.

Льюшка удовлетворенно кивнул, словно ожидал только такого ответа.

— Мое поведение, по-видимому, должно вызывать недоумение, — продолжал он. — Но, поверьте, у меня есть веские причины поступать таким образом.

— Раз так, вы наверняка не случайно остановили именно меня, — сказал я.

— В мире вообще слишком мало случайностей, вы не находите?

— Значит, у вас какое-то дело лично ко мне?

— Поистине затруднительный вопрос!.. Конечно, дело, и именно к вам, раз уж вы заговорили со мной!

— Позвольте, это вы заговорили!

— Если бы вы знали, сколько людей прошло мимо... Не видят и не слышат! Не могут или не хотят — это уже второй вопрос, но ведь не слышат! Поверьте, вы единственный за многие дни и недели!..

— Какую реакцию с моей стороны вы ожидаете? Я, видимо, должен быть этим польщен?

— Реакцию? Любую, — вздохнул Льюшка. — Мне выбирать, знаете ли, не приходится.

— В таком случае, потрудитесь объясниться. Чего вы, собственно, хотите?

— Лучше я вам покажу, — сказал он, протянув мне раскрытую ладонь. На ней, глотая воздух и растопыривая ярко-красные жабры, лежала небольшая золотая рыбка. На рыбьей голове имелась крохотная корона.

— Видите?

— Вижу, — согласился я. — И что это доказывает?

— В самом деле, неудачный пример, — поморщился он, швырнув рыбку вниз. — А вот это?

В руке его, до этого совершенно пустой, вдруг возникла крупная жемчужина.

— Возьмите, — предложил он.

Моя рука прошла сквозь жемчужину и его руку, не ощутив никакого сопротивления. Льюшка удовлетворенно кивнул:

— Так. Попробуйте еще раз!

На этот раз и жемчужина, и рука были вполне осязаемы.

— У вас холодные руки, — заметил я. — Вы гипнотизер?

— Я водяной, — серьезно ответил Льюшка. — Разумеется, вряд ли вы мне поверите... По крайней мере, сразу. И тем не менее, это сущая правда. Да забирайте эту безделку, у меня таких не счесть. Кстати, она вполне реальна.

Я заколебался. Что-то здесь было не так. Если это сумасшедший, то меня-то таковым назвать никак нельзя... Или можно? Я проанализировал свое состояние и не нашел сколько-нибудь заметных отклонений. И тут же спохватился: если я как-то незаметно и сошел с ума, то обнаружить это сам вряд ли смогу. Это все равно, что измерять линейкой эту же линейку.

Сохранившаяся способность к логическим выводам несколько успокоила меня. Тем не менее, жемчужина весомо присутствовала в моей руке — приличная такая жемчужина, размером с голубиное яйцо и прекрасной формы. Насколько я мог судить, это был так называемый черный жемчуг — одна из самых редких разновидностей подобного рода драгоценностей.

— Она стоит бешеных денег, — сказал я. — Если, конечно, это не подделка. Возьмите.

— Это не подделка, — улыбнулся Льюшка. — А если она вам не нужна, бросьте в реку.

— С какой стати? Это слишком ценная вещь.

— Да говорят вам, что у меня их тьма! Стали бы вы беспокоиться, скажем, о горсти песка? Для меня это одно и то же!

— Раз так... — я спрятал перламутровое чудо в карман. — Спасибо. Сохраню на память о нашей встрече.

— Встреча может иметь продолжение, — загадочно произнес водяной, — впрочем, это будет зависеть от вас. Приходите завтра в полночь на это же место. И ничего не бойтесь — не сочтите мои слова обидой, я говорю так, на всякий случай. Знаете, разные бывают люди и разные у людей бывают настроения... Вы понимаете?

— Понимаю и не обижаюсь, — сказал я. — Что ж, по натуре я немного авантюрист, может быть, я и в самом деле приду. Но согласитесь, мне предварительно нужно все обдумать.

— Думайте. Это отличное занятие.

В этот момент меня толкнули в спину, я обернулся.

— Ну, бля, — буркнул какой-то неприятного вида субъект, протискиваясь мимо. — Встанут на дороге, как пни...

Когда я вновь повернулся к перилам, Льюшки уже не было. И только через секунду из-под моста донесся тяжелый всплеск. Я перегнулся и поглядел вниз, но кроме расходящихся по воде кругов на поверхности реки ничего не было.

Господь наложил на человека проклятие, замаскировав оное как любопытство. Первой жертвой его, естественно, стал первый человек: именно любопытству Адама мы обязаны потерей своей райской прописки.

Несмотря на вполне достаточный срок, прошедший с тех пор, человечество так и не избавилось от пагубной привычки совать нос в чужие дела. Первого сентября незадолго до полуночи я вступал на мост, риторически вопрошая себя, не полный ли я идиот и что я тут делаю, если в моем черепе осталось хоть чуть-чуть места для мозга.

Льюшка выступил из тени в поток серебряного лунного света:

— Добрый вечер. Скорее! Нам нельзя опоздать.

— Куда опоздать?

— В полночь начинается бал, — непонятно пояснил он, увлекая меня вперед. — Потерпите немного, сами все увидите.

Память тут же услужливо связала все происходящее с булгаковским балом в квартире № 50. А с чем еще прикажете сравнивать ситуацию, когда на полуночный бал вас тащит некто, называющий себя водяным? Или, по крайней мере, утверждает, что на бал? Я вглядывался в черный низкий берег и не мог заметить нигде ни огонька. Впрочем, что касается освещения, у Коровьева с Бегемотом все начиналось аналогично.

Мы сошли с моста, и песок еле слышно заскрипел под нашими ногами. Льюшка двигался уверенно и быстро, держа меня за руку. Похоже, он прекрасно видел в темноте.

Изменение упало на нас сразу, словно мы прорвались сквозь неощутимую завесу, отделяющую обычный сонный мир от чего-то невероятного, живущего по своим собственным законам. Внезапно мы очутились в толпе, внимающей сухонькому седому старичку, стоящему на возвышении. Пламя свечи скупо освещало снизу только его лицо, в глазных впадинах которого таилась темнота. Старичок властно поднял руки, требуя полной тишины:

— Повара! Готово ли угощение?

Он ждал ответа, и ответ пришел из ниоткуда и в то же время отовсюду. Призрачные голоса эхом пронеслись над толпой:

— Все приготовлено по избранным старинным рецептам! Изысканные супы томятся в кастрюлях, запеченная дичь и рыба исходят паром! Лучшие нектары откупорены и налиты в хрустальные графины! Официанты ожидают знака к началу!

— Готова ли иллюминация?

— Тысячи светляков ждут твоего слова, повелитель! Гниющие ветви расставлены и заботливо политы теплой водой из луж. В заводи стоит пароход, судовой механик пьян, и кормовой прожектор будет сиять всю ночь!

— Хорошо! Я вижу, распорядители ничего не пропустили. Итак, я спрашиваю последний раз: все ли вы готовы к началу бала?

— Готовы! — шелестом листьев пронеслось над собравшимися.

— Готовы!.. — проскрипели сухие сучки.

— Готовы, — где-то далеко выдохнули умертвия в зловонных трясинах.

— Тогда я, владыка этой ночи — и да услышат меня все! — объявляю осенний бал!

— Бал!

— Бал!

— Бал!

И вмиг изменился берег: теперь он был залит бледным трепещущим светом, как бы от множества колеблющихся свечей; сдвинулись черные ивы, и на лиственных стенах заплясали живые огоньки; в темный бархат неба взвилась мелодия торжественной увертюры, и вот уже вальс подхватил бесчисленных гостей и закружил их в стройном порядке. Блеск великолепных искрящихся бриллиантов в высоких женских прическах подчеркивался строгими фрачными нарядами мужчин. Легкое шарканье подошв и стук женских каблучков оттеняли призрачную мелодию, прекрасную и смутно знакомую, но почему-то ускользающую от полного узнавания. Везде, куда хватало взгляда, колыхалось море вальсирующих: черно-белые строгие костюмы с развевающимися фалдами и легкие пелерины кружащихся вечерних платьев. Льюшка исподтишка наблюдал за мной, явно забавляясь моим изумлением, но никак не показывая это внешне. Сам он оказался в черном фраке с серебряными искорками, в петлице которого горел сапфировый эгрет в виде василька. На мне тоже как-то незаметно обнаружился фрак, но белый.

Еще громче грянул оркестр. Среди гостей началось перестроение: середину залы освобождали для нового танца, отжимая толпу к стенам. Я вертел головой, постепенно привыкая к невероятной новой обстановке: музыка, шелковый шелест платьев, приглушенный шум оживленной разговаривающей толпы. Водяной дипломатично помалкивал, давая мне время полностью освоиться среди всего этого великолепия.

Напротив нас очутилась стройная миловидная девушка в палевом, и мне не оставалось ничего иного, как предложить ей руку для следующего тура. Она грациозно присела, чуть склонив головку, и вновь подняла на меня взгляд своих волшебных глаз цвета крепко заваренного чая. Танцевала она безупречно, угадывая мои малейшие движения, пожалуй, даже и не движения, а намерения движений. Положив руки мне на плечи, она с упоением отдавалась музыке и летела над узорным паркетом, полузакрыв глаза и улыбаясь, что-то шепча в ответ на мои искренние комплименты, и вдруг одаривала таким властно-зовущим взглядом, что между лопатками пробегали колкие мурашки. Она заглядывала мне в глаза так беззастенчиво-ласково и смело, что ее поведение можно было бы счесть неприличным, если бы оно не было так по-детски трогательно и наивно. Что-то было необычно в ее повадке: примерно так должна была бы вести себя капризная дочь-любимица, специально подпускаемая семейством к рассерженному отцу для утихомиривания — чуть развязно, но и с некоторой опаской... После вальса, проводив даму до места, я поинтересовался у водяного:

— Кто эта дивная особа? Она сказала, что ее зовут Диана.

— Эта-то? — отозвался Льюшка. — Это Дианка, любимая борзая графа Паскевича.

— Собака?!

— Собака. Сука, если точнее.

— О, месье Льюшка! — подкатился к нам тщательно причесанный толстяк с моноклем в тонкой золотой оправе. — Безмерно рад вас лицезреть

в добром здравии! Позвольте рекомендоваться вашему другу — вижу, он впервые на нашем празднестве, но времени отнюдь не теряет! Позвольте же представиться: Рак.

— А этот Рак в самом деле рак? — уголком рта спросил я, улыбаясь и раскланиваясь.

— Как можно! — так же боком ответил Льюшка. — Это Соломон Рак, лучший специалист по женским болезням, да, кстати, и по самим женщинам тоже. Из-за них и погиб. Не давайте ему себя увлечь: заболтает, подлец, насмерть... Безмерно рад вас видеть, доктор! Кстати, вами только что интересовалась мадемуазель Анет.

— А! Вот как! Бегу! Уже бегу! Прошу простить, господа! — Рак мгновенно ввинтился в толпу и бесследно исчез.

— Кто эта мадемуазель Анет? — спросил я, пораженный таким эффектом.

— Анет? — переспросил Льюшка. — Понятия не имею. Да нам-то какая разница.

Тем временем вальс сменился мазуркой, и я, чтобы снова не оказаться в паре с какой-нибудь крысой, пиявкой или покойницей, поспешил удалиться к краю залы. Тут ловко сновали незаметные лакеи, разнося на серебряных подносах шампанское в высоких старинных бокалах.

— Смело пейте, — шепнул Льюшка, заметив мои опасения. — Все, что касается растительности, здесь натуральное. А вот от мяса советую воздержаться, учитывая ваш слишком привередливый желудок и некоторые предрассудки.

— В таком случае, объявляю себя вегетарианцем.

— Прекрасно. Не пойти ли нам подкрепиться по этому поводу?

— Не возражаю. Куда?

— Все равно куда. Представьте, что за этой, например, колонной — столик. Представили?

— Сейчас попробую... Представил.

— Ну вот, пожалуйста! Похоже?

— Да! Только скатерть чуть не такая и всего этого не было...

— Это я. Каюсь, не удержался, нарушил, так сказать, чистоту эксперимента... Надеюсь, вы не в обиде за столь скромную сервировку? Вам, как договаривались — только флора.

— Помилуйте, даже не ожидал!.. Ананасы, виноград...

— Отведайте жареных бобов в соевом соусе: фирменное блюдо нашей кухни...

Пусть не врут сочинители! Пусть не силятся описывать замешательство главного героя при, так сказать, «погружении в рабочую ситуацию»! Наша повседневная жизнь так пронизана всякого рода чертовщиной, обыватель сейчас настолько приучен к телевизионным чудесам, что адаптация к нетривиальным ситуациям происходит практически мгновенно. А если учесть, что я был уже подготовлен хоть кратким, но знакомством с водяным, то стоит ли удивляться, что я воспринимал окружающее — и сам бал, и все волшебные превращения вокруг — без комплексов, и вскоре мы уже мирно сидели в своем уютном закуточке, выпивая и закусывая под приятный разговор.

Звуки оркестра доносились сюда как бы под сурдинку — я понял, что подсознательно установил именно такой уровень громкости, и это тут же осуществилось по моему желанию. Подозреваю, что для Льюшки громкость — да и вся ситуация! — была несколько иной, хотя основные черты все же должна была сохранить. Иначе можно было бы предположить иллюзорность и многоплановость не только данной ситуации, но и самоѓо существования того же

Льюшки — да и всего остального! — а от такого веселого допущения — прямая дорога в желтый дом... Тут я окончательно запутался и тут же попытался все это объяснить своему собеседнику.

— Вы, значит, считаете меня чем-то вроде галлюцинации? — развеселился тот. — И все вокруг происходящее тоже? Черт побери, это так и есть! Но вам-то какая разница, коли вы сами также участвуете в этой галлюцинации?! Попробуйте-ка уколоть палец вилкой — результат будет вполне существенным, уверяю вас! Так к чему задумываться о несущественном?

— Помилуйте! И мое — как, впрочем, и ваше! — существование вы называете несущественным?!

— Естественно! Объективной реальности для субъекта не существует в силу невозможности полностью познать мир, а субъективная реальность есть лишь вариант реализованной вероятности и реализована она может быть по-разному... Но это запутанно и скучно, друг мой! Перестаньте обращать внимание на слова! Слова — лишь жалкие рабы разума. К чему вам знать, кто и как организовывал осенний бал и какими принципами он при этом руководствовался?! Держу пари, к концу бала вы будете смеяться над всякими попытками рассуждений!

— То есть вы предлагаете пользоваться результатами, не вникая в суть?

— Безусловно! Ведь, что греха таить, никто никогда не смог постичь сущность даже самой примитивной молекулы, что не мешает, скажем так, развитию той же химии... Жизнь такова, какова она есть, но кто поручится, что она более никакова? Ваше здоровье! — и водяной приподнял свой бокал.

— А, вот вы где! — рядом с нами снова возник доктор Рак. Он весело потирал свои гладкие ручки и задорно блестел моноклем. Что-то новое появилось в его поведении, и это новое мне не понравилось.

Льюшка тоже еле заметно поморщился, что не укрылось от доктора.

— Скучаете? С удовольствием составлю вам компанию! — тут же расквитался он, навязываясь к нам. — Эй, человек, пива!

Пиво было темным и пахучим, добротным, густым от добавленных при варке специй. Вообще, к нему больше подходило название «эль» — вкус отзывался чем-то английским; я уже попробовал его, рассудив, что этот напиток уж никак не должен включать в рецептуру изготовления дохлых мышей или паучий яд.

— Прекрасный бал! — провозгласил бесцеремонный доктор, извлекая свои дрянные усишки из пивной пены. — Давненько я так не веселился. А ведь самое-то главное еще впереди! Не так ли, месье Льюшка? Ха-ха-ха!..

Мне показалось, что в глазах у водяного сверкнула молния. Он ничего не ответил, и поддержать разговор пришлось мне:

— Что именно вы имеете в виду?

— Сейчас проходят схватки гладиаторов, затем будет традиционный конкурс прекрасных дам — о, вы непременно должны посмотреть: какие девушки! Само совершенство, поверьте старому ловеласу! — и Рак прищелкнул языком, на мгновение показав странное уродство: сросшиеся в один зуб верхние резцы. — А потом главная часть... И, скажу вам по секрету, первую скрипку в этом действии сегодня доверено сыграть мне!

— Несомненно, вам нужно как следует подготовиться, — отстраненно сказал Льюшка. — Не смеем вас задерживать.

— О да! — многозначительно кивнул Рак, вставая. — Нам всем следует хорошенько подготовиться. Не правда ли, господин новичок? Однако тысяча извинений, я вынужден покинуть вас! До скорой и приятной встречи! — и Рака не стало, только в ушах постепенно затихал его раскатистый хохот.

— Что за главная часть? — спросил я помрачневшего Льюшку. — Мне неприятен этот Рак. Неужели кому-то будет интересно смотреть на выступление этого надоедливого болтуна? Лично я предпочитаю обойтись без подобного зрелища.

— Невозможно. Присутствовать будут все. Вам тоже придется пойти. Сожалею.

— Я, конечно, понимаю — у вас тут, конечно, свои законы... Но я-то не брал на себя никаких обязательств и от лицезрения Рака решительно отказываюсь.

— Не получится: приглашенные являются главными действующими лицами.

— Вот как... Непонятно. А при чем тут Рак?

— Вы заметили его зуб? Это упырь. Он укусит вас... Вам не повезло: в этом году принимают в вампиры. Вот в прошлом был набор в водяные. Поцелуй русалки — это такое наслаждение!..

— Что?! Вы хотите сказать?!

— Да, — грустно кивнул Льюшка. — Поверьте, я не знал, что вам суждено стать именно вампиром. Версию набора объявляют только в момент церемонии. Я сам ненавижу вампиров. Водяные — да, лешие — тоже сойдет, ну, в конце концов — домовые, но упыри...

— Черт побери! Нет! Благодарю вас за прекрасный вечер, — я нервно поднялся. — Я ухожу!

— Не советую: вы долго будете ходить по кругу, устанете и изнервничаетесь и все равно вернетесь сюда. Отсюда не уходят. Смиритесь.

— В таком случае, вы не смогли бы сами проводить меня к выходу? Ведь это вы втравили меня в эту затею!

— Сожалею. Нет.

— Что же мне делать?!

— Ничего. Выпейте вина и успокойтесь.

Глупо! Господи, как же глупо я попался! Ну кто тянул меня на это подозрительное сборище?! Почему не сработало присущее мне (как я наивно думал) чувство подсознательной разборчивости в людях?! И что же мне, в самом-то деле, теперь делать?

Я все же двинулся куда-то прочь, продираясь сквозь кусты и болота — и откуда, дьявол их побери, они взялись? Не было тут никаких болот!.. Но, как и предсказывал Льюшка, ничего из моей затеи не вышло. Раз за разом я натыкался на знакомый столик, и водяной грустно кивал мне головой, ненадолго отрываясь от своей глиняной пивной кружки. Казалось, что он удручен случившимся чуть ли не более, чем я. В отчаянии я пробовал вспоминать молитвы, обращаясь к Богу, но в памяти царил хаос, и как я ни старался, ничего путного просто не приходило на ум.

В сотый раз возвратившись к знакомой колонне, я сдался и тяжело дыша, опустился на свое прежнее место. И тут же с моего фрака исчезли все следы грязи.

— Выпейте вот это, — водяной протянул мне бокал с рубиновым напитком.

Мне было уже все равно, я машинально взял вино и проглотил одним большим глотком. Тут же в желудке словно взорвалась бомба, и я почувствовал непреодолимую тошноту.

— Тухлая лягушачья кровь, — пояснил Льюшка, внимательно следя за моим состоянием.

Меня тут же вывернуло наизнанку. Казалось, я израсходовал годовой запас желчи и желудочной слизи. Однако после приступа рвоты заметно полегчало.

— Хорошо, — сказал Льюшка. — Нужно было освободиться от пищи. Все правильно.

— Правильно?! — выдохнул я. — Ага, значит, правильно... А вот я тебя, правильного такого, сейчас по морде... За правильность.

— Кажется, пора, — пробормотал водяной себе под нос. Он быстро наклонился к моему уху и шепнул:

— Есть возможность изменить ситуацию.

— Что? Душу купить желаете, мрази? Хер вам, а не душу!

— Нет. Я прошу у вас помощи.

Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул.

— Возьмите это, — протянул он мне маленький пластиковый пакетик. — Когда Рак будет наносить свой ритуальный укус, незаметно поднесите к горлу. Он прокусит его вместо вашей артерии. Толпа должна увидеть кровь... Вам придется разыграть агонию и смерть. Будьте внимательны: если присутствующие заподозрят неладное, вам и в самом деле не избежать гибели. Кстати, и доктору тоже... Справитесь?

Я ошеломленно глядел на него. Слишком уж быстро меняется ситуация, однако.

— А зачем это... Жабья кровь? — невпопад спросил я.

— В бокале? Никакой крови. Просто рвотное. Я солгал, чтобы усилить эффект. Вам действительно нужно было очистить желудок: нехватало еще, чтобы вас вырвало во время спектакля. Знаете ли, у вампиров изо рта воняет так, что... Ну как, справились с собой? Согласны разыграть нашу маленькую комедию?

Я вяло кивнул. Черт побери, а что мне еще оставалось делать? Выбор у меня был богат, как у прародителя Адама, когда тот слонялся по раю, подыскивая себе жену.

— Кстати, чтобы вы окончательно мне поверили... — Льюшка оглянулся и вытащил руку, которую до этого держал под столом. В запястье впился здоровенный комар. Брюшко его на глазах распирало от насыщения.

— Я такой же живой, как и вы, — сказал водяной, прихлопывая кровопийцу. — Запомните: комар никогда не садится на мертвецов. И тем более, не кусает.

Надежда во мне вдруг воскресла — слабая, но упрямая.

— Рак тоже? Тоже живой?

— Рак — нет, — жестко сказал Льюшка. — Но верить ему можно. Гарантирую.

Ситуация складывалась невероятная: в двадцать первом веке человек более-менее спокойно ожидал окончания шабаша, чтобы против своей воли стать одной из его жертв! Проклятое любопытство сыграло со мной подлую шутку. Все произошло так быстро и было в высшей степени неимоверно, нелепо, но, к ужасу моему, вполне реально. Реально, как ночь, как звезды над головою, как завывания лягушек у тихой глади затона.

Мне предстояло разыграть смерть от клыков вампира и последующее воскресение — сущая ерунда, в общем-то, если бы это не касалось лично меня. И если бы не слишком большая вероятность обмана. Кто его знает, этого Льюшку, может, он врет и комара-то показал так просто, для отвода глаз: я же помнил, как у него ловко получилось с жемчужиной... Может, и не было того комара вовсе. Хотя ведь жемчужина так и не исчезла, когда хозяин прыгнул в реку.

Льюшка не терял времени. Сжато и толково он обрисовал обстоятельства, сложившиеся в общине нечистой силы (он употреблял выражение «иной

народ»), и мотивы, побуждавшие его, Рака и еще кое-кого («узнаете после»...) прибегать к, мягко говоря, нестандартным способам решения проблем. Дело было в тривиальном заговоре по смене власти, и группа заговорщиков таким оригинальным способом пополняла свои ряды. Рак и компания всего лишь бешено рвались к власти, а Льюшка и группа «живых» ставила целью легализацию «иного народа» в человеческой среде, ни больше ни меньше. Но на данном этапе тактические цели обеих групп совпадали. Именно поэтому водяной ручался за вампира, хотя и питал к нему глубокую сословную (а мне показалось — и личную) неприязнь. Нарушать условия конспирации оказывалось никак не в интересах Рака: обычная казнь для вампиров-отступников в таких случаях — осиновый кол в сердце. О способах казни водяных Льюшка предпочел не распространяться.

Мы вышли в центральную залу. Воображение распорядителей соткало невиданный чертог: мраморные колонны увивал восковой плющ; каменные плиты пола (вместо прежнего паркета) составляли причудливую мозаику; откуда-то с невидимых хоров доносилась музыка — но уже не вальс, а мелодия тихая и непритязательная, из тех, которые целый день мурлычешь не замечая.

На подиуме прохаживались обнаженные девицы — прекрасные той странной силы красотой, которая одновременно и манит, и останавливает. Видимо, конкурс был в разгаре. Белокурая Дианка узнала нас в толпе и послала воздушный поцелуй, на что водяной ответил легким наклоном головы. Я проигнорировал предназначенный мне знак внимания. Впрочем, некоторая рассеянность с моей стороны в данных обстоятельствах могла иметь некоторое оправдание.

Как быстро ко всему привыкает человек! Конечно, я безумно нервничал, но уже мог бродить среди бесчисленных гостей без риска свалиться без памяти им под ноги, мог замечать иллюзорную пышность убранства комнат, выстраивающихся анфиладами и теряющихся в сумраке дальних пределов, мог поддерживать пустые светские разговоры и даже отвечать на призывные шутки дам, отличавшиеся игривостью и полной беззастенчивостью. Льюшка находился рядом и, так сказать, подстраховывал меня от явных ляпов.

— Не стесняйтесь таращить глаза на женщин, они это любят, — вполголоса поучал он. — Более того, ваш скромно отведенный взгляд может быть воспринят как пренебрежение и заносчивость. А этого они не прощают... Приветствую вас, Зинаида! Как всегда — ослепительно и со вкусом!.. Да, между прочим, не сторонитесь официантов, берите шампанское: если не хотите пить, представьте, что оно просто исчезает у вас во рту. Пустой бокал бросьте на пол — уберут... Здравия желаю, майор! Как ваша служба? Всего хорошего!.. Так вот, о главном: после укуса падайте и замрите. Первое время постарайтесь не дышать — сколько сможете. Не шевелитесь ни при каких обстоятельствах! Это смертельно опасно! Рак даст вам знать, когда можно начать проявлять первые признаки активности. И никаких бодрых вскакиваний: протрите глаза, подержитесь за голову. Можете застонать, но не переборщите. Обычно у приходящих в себя первое время кружится голова: пусть вас пару раз шатнет. Короче, импровизируйте. Вот, в общем-то, и все... О, кого я вижу! Какая встреча, дружище! Сожалею, я сейчас занят, но обязательно как-нибудь потом выкрою часок-другой, поговорим, есть новости...

Я кивал, не переставая искать возможность как-то улизнуть с бесовского сборища, но все было тщетно: куда бы ни падал взгляд, везде шумели веселые компании, плясали и пели, бросались серпантином, хватали за рукава, тормошили, смеялись и нигде не было даже намека на какой-либо выход. Мы

с водяным переходили из залы в залу, я перезнакомился с огромным количеством гостей (которые уже сливались для меня в одну сплошную массу полузнакомых лиц), но странно — никакой усталости не чувствовалось, скорее наоборот: все более и более меня охватывало непонятное возбуждение и нетерпение.

Внезапно сильный и ясный звук пронесся над толпою.

— Рог трубит, — сказал Льюшка. — Пора! Не забудьте, о чем я вам говорил!

Не могу сказать, как я очутился на подиуме. Я опомнился от ощущения громады ждущей аудитории: безмолвный темный зал тысячами глаз смотрел на меня из пустоты, а гладкий холеный Рак в накрахмаленной белой сорочке крадущимися шагами подбирался ко мне сбоку. Монокль он куда-то подевал, и оба его глаза неотрывно вперились в меня. Мне казалось, что на дне их проскальзывают красные огоньки. Впоследствии я узнал, что цвет свечения глаз в каждой гильдии свой: у водяных, к примеру — зеленый, а у леших — желтый.

Рак подобрался вплотную и крепко захватил руками обшлага моего фрака. Хватка его была железна. Не понимаю, как у меня хватило сил выдержать его пристальный горящий взгляд. Я чувствовал, насколько мощным угнетающим и гипнотизирующим воздействием он обладал. Чужая воля, холодная и неотвратимая, безжалостно ломала мою. Внезапно я вспомнил про пакетик, и судорожно зажав его в кулаке, прижал ладонью к шее. Вампир холодно улыбнулся, обнажив клыки, и лицо его вдруг изменилось: верхняя челюсть вытянулась вперед, как у волка, и из открытой пасти на меня пахнуло невыносимым смрадом. Он нежно коснулся губами моей шеи, чуть сдвинул мою руку, нацеливаясь на пульсирующую сонную артерию — и внезапно все померкло у меня перед глазами: я погрузился в благословенный обморок.

Смок.

Вот как теперь меня звали. Смок. Я выплывал из тошнотворной темноты, с трудом находя точку опоры и равновесие: голова кружилась и летела куда-то легко и бешено. Липкий пот покрывал тело. Сердце, казалось, бьется только по своему мимолетному капризу и вот-вот остановится вовсе. Слабость и вялость навалились на меня многотонной холодной подушкой. Я застонал и открыл глаза.

Льюшка и Диана стояли надо мной, наклонясь со стороны головы, и я видел их как бы вверх ногами.

— Смок, — шепнула Диана, кладя нежную ладонь на мой лоб. — Смок. Смок. Смок.

— Он пришел в себя, — сказал Льюшка.

— Все хорошо, — зашептала Диана, улыбаясь светло и счастливо. — Все кончилось! Вы молодец, вы просто герой!

— Помогите мне встать, — мой голос, против ожидания, прозвучал вполне прилично.

Льюшка протянул мне свою сильную тонкую руку, которая уже не показалась мне такой холодной. Да и сам водяной неуловимо изменился. Впрочем, нет: это я теперь воспринимаю его по-новому, догадался я. Не знаю, как, но теперь я абсолютно точно знал, видел, что ли — не глазами, а какой-то дремавшей доселе частью души — что передо мной именно *водяной*, и ни за что не спутал бы его, например, с *овинником*. Точно так же и внутренняя собачья сущность Дианы была ясно раскрыта, и это ничуть не шло вразрез с утонченной грациозностью ее человеческого тела.

По мере моего возвращения к жизни я обнаруживал все новые свойства окружающего меня мира и новые возможности воздействия на него. Теперь мне уже не казались удивительными прежние фокусы Льюшки — я и сам смог бы походя наполнить алмазами целый сундук. Все дело в том, чтобы знать, откуда брать ту или иную вещь.

Диана тем временем по знаку водяного куда-то исчезла.

— Сейчас вам необходимо побыть одному, — сказал Льюшка. — Предостерегаю: неустанно следите за собой. Теперь вы можете отличать посвященных в общей массе — эта способность сохранится за вами всегда. Будьте же бдительны и крайне осторожны: ни словом, ни делом вы не должны показать им, что вы живы! Таких, как мы, все еще очень мало. Даже принадлежность к иному народу не есть гарантия того, что к вам отнесутся по-дружески.

Он вздохнул и продолжил свои инструкции:

— Не ешьте прилюдно. Ни к кому не прикасайтесь без крайней нужды. Если не будет иного выхода — убивайте быстро и без колебаний. Вы знаете, как. Тайна должна быть сохранена во что бы то ни стало. Наша задача — всеми средствами готовить почву для всеобщего признания и примирения. В конечном итоге мы должны добиться равноправия... Как жаль, что нас еще так мало! Начинать слишком рано... Вы сами знаете, как отнесется обыватель к тому, что рядом с ним существует параллельная культура, в корне отличная от его собственной. В средние века вас попросту сожгли бы на костре. Да и сейчас выявленному чужаку в лучшем случае суждена роль подопытного кролика в закрытом институте...

— Один вопрос, — остановил его я. — Вы же сильно рисковали, привлекая меня в ряды вашей организации. Что, если бы я отказался встретиться с вами вновь? Или не захотел бы участвовать в обряде посвящения?

— Я бы убил вас, — пожал плечами Льюшка. — По-моему, это предельно ясно.

Я пристально посмотрел на него и понял — да, действительно убил бы. Быть может, внутренне сожалея, но не колеблясь ни минуты. За серою мглою его холодных глаз крылась несгибаемая воля.

Льюшка, казалось, понял, о чем я думаю, и грустно улыбнулся.

— Вживайтесь в образ, — сказал он. — Я покидаю вас и появлюсь в вашей жизни не ранее, чем через неделю. Прощайте, Смок!

Больше Льюшки я не встречал. Уже потом, много времени спустя, мне удалось вскользь узнать о его гибели — чем-то он себя выдал, а может, кто-то предал его, не знаю. Великий Конклав не жалует отступников.

А меня вы можете встретить в парке, у моста — мы часто прогуливаемся там с Дианой: иногда в ее природном виде борзой, иногда — женщины дивной красоты с глазами густого чайного цвета. На шее у нее в таком случае всегда висит кулон с той самой черной жемчужиной. Она ничего про меня не знает да и знать, по-моему, не хочет. Чего вы хотите от мертвой собаки? Она просто нашла себе нового хозяина.

Я шагаю по аллеям и думаю, что кто-нибудь заговорит со мной, и мне суждено будет в свою очередь привести его к той памятной колонне. Я поднимаю глаза к небу, где в закатном солнце горят купола Петропавловского собора, и вспоминаю тот, давний, свой первый бал. Сколько их минуло с той поры! И в вихре их удовольствий нет-нет, да и проскальзывает, как порыв осеннего ветра, воспоминание о том, как мы смеялись и пили эль под мраморной колоннадой, и как, в сущности, одинок был тогда Льюшка. Это воспоминание заставляет меня поднимать воротник, склонять голову и замолкать

надолго и сосредоточенно. Многие мысли приходят ко мне, и я гадаю, что могло бы случиться, если бы судьба в ту ночь чуть-чуть свернула в сторону. Но эти мысли бесплодны, и вместо того, чтобы отправляться домой, я вновь и вновь поворачиваю назад, к мосту. Тогда моя чуткая спутница останавливается и вопросительно смотрит мне в лицо. Потом еле слышно вздыхает и покорно идет следом.

Я жду. Но, действительно, как же мало могущих увидеть! Это говорю вам я, живой вампир Смок.

## Это не происходило никогда

То, о чем я собираюсь рассказать, никогда не происходило. Вообще никогда.

А теперь начнем.

Я познакомился с Леной и Вениамином в интернете, на одном литературном портале — не важно, каком. Кажется, был объявлен литературный конкурс, в котором все мы решили поучаствовать. После окончания конкурса — лавров на котором я так и не стяжал — знакомство наше сохранилось, несмотря на то, что физически мы друг с другом никогда не встречались; тут сказалась некоторая общность мировоззрения, взаимный интерес к творчеству и то, что мы были примерно одного возраста — близкого к пожилому.

Лена жила в Рязани, я в Гомеле, а Вениамин Бычковский был из затерянной в глухом белорусском полесье деревушки Бобровичи.

Мы быстро перешли «на ты» — это поясняет, почему я уважаемых и почтенных людей называю просто Лена (а иногда и Ленка) и Вениамин, а не Елена Юрьевна и Вениамин Николаевич.

Вениамин радушно приглашал нас приехать в гости: Бобровичи располагались на берегу большого озера, где он в качестве плавсредства имел приличную, по его словам, байдарку и обещал незабываемые впечатления — отдых на воде и изумительную уху, конечно же, по фирменному рецепту. С проживанием проблем тоже не предвиделось: у нашего друга имелся довольно просторный дом, и плюс к тому — местный краеведческий музей, который он же и основал. Вернее, это был даже не музей, а непонятного назначения строение, в котором он собирал различные предметы старины, воссоздавая крестьянский быт прошлого и одновременно используя как гостиницу для приезжих. А гостей у него, особенно летом, бывало предостаточно.

Однако наши с Леной годы, как я уже говорил, только приближались к пенсионному сроку, и поэтому мы могли распоряжаться своим временем лишь в пределах отпускного периода. А он у нас, как правило, не совпадал.

И вдруг получилось так, что — наконец-то! — все сложилось наилучшим образом. Теперь, после всего того, что я намерен описать, я думаю, что наша встреча состоялась не случайно — не случайны были и наше знакомство, и занятия литературой, и сроки, которые судьба положила нам для встречи. Мы — все трое — были отмечены; каждый по-своему, конечно, но было в нас нечто общее, то, чего не хватало нам по отдельности, и что совпало и проявилось, когда мы, наконец, собрались вместе. Я говорю об отношении к тем странным явлениям, среди которых мы живем, но которые человечество с поразительным упорством не желает замечать — и, может быть, в этом нежелании как раз проявляется спасительный закон самосохранения.

Сколько раз тебе, читатель, попадалась информация о непонятных феноменах, которые наука, несмотря на свои выдающиеся достижения, объяснить не может? Я говорю о НЛО, о полтергейсте, о странных способностях,

присущих некоторым людям, среди них, согласен, множество шарлатанов... О явлении дежавю, о загадках исчезновения людей, о неуловимых йети. О парадоксальных случаях исцеления, наконец, которые происходят от чудотворных икон и мощей святых.

Конечно, можно отмахнуться от таких фактов. Как правило, во время, когда происходит то или иное событие, не укладывающееся в нашу обыденную логику, на месте не оказывается ни видео- и звукозаписывающей аппаратуры, ни точных приборов, позволяющих феномен надежно зафиксировать, ни, на худой конец, достаточного числа достойных доверия свидетелей. К тому же политика властей всегда направлена на то, чтобы такие факты не становились достоянием общественности: во избежание паники, невычисляемой реакции толпы и бог знает чего еще.

Что я могу сказать?

Реакция властей понятна и в чем-то даже оправдана. Недоверие и скептицизм людей тоже имеют под собой основания: я и сам ни за что не поверю, допустим, в летающую тарелку, если про нее мне расскажет полупьяный бомж, клянись он хоть чем угодно... Да беда в том, что эти самые тарелки я видел своими глазами, причем неоднократно.

Вот что было в нас общего: мы, все трое, безусловно, знали, что некий тайный мир сосуществует с нами, находится где-то рядом; более того, не раз сталкивались с его проявлениями, с его влиянием на свою жизнь. И бывали в нем — как правило, такое происходит помимо воли человека, его просто забрасывает туда. Не в реальном теле: это происходит обычно на границе сна и яви, когда мозг уже освободился от докучливых дневных забот, но еще не погрузился в сон. С легкой руки Лены мы стали называть такие проникновения Полуявью. А что, термин как термин, ничуть не хуже любого другого.

В Полуяви у каждого из нас был свой мир и свои излюбленные места. Но как же я изумился, когда однажды Лена подробно описала мне мой мир (то есть, тогда я еще думал, что это только мой мир)! Как же так, выходит, это не порождение моей фантазии, раз такое вижу не только я?! Значит, Полуявь не есть нечто чисто субъективное?!

Не есть. Конечно, она для каждого путника своя, иначе и быть не может, наверно, но какие-то общие для всех области, личности и закономерности в ней, несомненно, присутствуют. И допускают туда только в те места и обстоятельства, для которых конкретный человек предназначен.

Мы были разные. Бычковский, например, по молодости побывав в одной из уральских аномальных зон, получил контакт, за который ему пришлось платить здоровьем. Но взамен он приобрел расширенное понимание происходящих рядом с ним событий. Лена имела амплуа сталкера-спасателя, выводящего завязшие в Полуяви души из опасных мест. Я же, достаточно успешно практиковав упражнения с биополем, мог чувствовать ауру человека или места. Например, указать, где проходит водяная жила — это если нужно определить место для колодца. И, в принципе, чуть-чуть управлять энергетическими потоками.

Сразу оговорюсь: такие способности не даются просто так. И когда начинаешь отсекать жгуты присосавшихся вампиров, затягивать дыры в биополе или наслаивать его на предмет, можешь быть уверенным, что дело закончится сердечным приступом. Не болью (хотя и такое может быть), а слабостью и перебоями пульса — брадикардией. Поэтому производить такие опыты не посоветую никому. Ни к чему это.

Третьей рукой я обзавелся давно. Случилось это после скоропостижной смерти брата, когда я впервые познакомился с Библией. Беда застала меня

в командировке. Так получилось, что, когда я, прорвавшись через снега и толпы пассажиров из Киева в Ленинград, очутился в его притихшей от горя квартире, оставшуюся до похорон ночь мне было просто некуда деть. Нервное напряжение требовало выхода, сидеть просто так было невозможно, и тут кто-то сунул мне в руки черную книжицу: «Почитай Экклезиаста...».

Надо сказать, что я всегда был склонен к метафизике. Более того, меня как бы подталкивали на этом пути, вели, как это называется: то упавшая книга, раскрывшись на нужной странице, давала ответ на мучающий вопрос, то в автобусной давке чей-то голос на задней площадке бросал слово, недостающее для завершения выстраиваемой логической конструкции...

Библия пришлась кстати. Слово упало на подготовленную почву. Я сделал выбор. И отказался от неприемлемой практики — работы с тем, с чем человечеству работать пока рано. Да только эта практика от меня не отказалась.

Давно прошло то время. Я помню, как тайно творил молитвы по дороге на работу и обратно (я и сейчас так делаю): другого времени, когда я был бы всецело предоставлен самому себе, у меня не было. По церковным канонам после завершения молитвы следовало наложить на себя крестное знамение и поклониться — а как? Как это сделать? И как на меня посмотрели бы в том же переполненном автобусе, вздумай я креститься?

Так появилась третья рука. После тайного (про себя, с закрытыми глазами) обращения к Богу я крестился мысленно, так же мысленно совершая поклон в сторону ближайшего храма.

Оказалось, что эта воображаемая рука очень полезна в Полуяви. Она могла быть сильной и длинной, она могла проникать сквозь предметы и стены (ну, этим-то там никого не удивишь), она могла появляться и исчезать по моему желанию. Она была, как я понимаю, овеществлением моего желания. И, одновременно, моим тайным оружием.

Не сомневаюсь, и у Лены, и у Вениамина также были свои тайны и приемы, но встретиться нам хотелось не поэтому. Все же на девяносто девять процентов мы принадлежали этому, вещественному миру, и интерес наш носил самый что ни на есть вещественный характер. Одно дело — знать человека по фотографии, и совсем другое — встретить вживую. Я, например, был страшно удивлен, что Ленка слегка грассирует — ну никак я этого не ожидал! Стихи ее были простыми и красивыми и лились, как вода. Впрочем, я-то на своей шкуре знаю, чего стоит такая кажущаяся простота.

До Вениамина удобнее всего было добираться через Пинск. Поезд из Гомеля добирался до Пинска утром: ехать приходилось ночью. Многие, я знаю, посчитали бы такое расписание удачным: как же, вечером лег, утром встал, и пути как не бывало. Но я не люблю спать в поездах. На меня тягостно действует, когда состав замедляет ход и останавливается; я непременно просыпаюсь и нетерпеливо жду, когда он снова тронется. Зато мне нравятся поездки дневные: смотреть в окно можно бесконечно, пусть даже вид будет однообразен и уныл.

Прогрохотав по мосту через Ясельду, поезд сбавил ход и через несколько минут затормозил у вокзала. По обстоятельствам выходило очень удачно: московский прицепной вагон, в котором ехала Лена, цепляли как раз к моему поезду Гомель-Брест, так что прибыли в Пинск мы вместе. А поскольку все манипуляции с подвижным составом производились ночью, то встретиться мы уговорились уже по прибытии, на вокзале, и дальше двигаться вместе: на автобусе до Телехан или Выгонощ (это сельсовет, к которому относится деревня Бычковского), а если повезет — то и до самых Бобровичей. Но на такое везение рассчитывать не стоило, кто его знает, как тут дела обстоят с автобусными рейсами!

Было свежо: солнце только-только встало. Я вышел на перрон, глубоко вздохнул, выгоняя из легких спертый воздух тамбура, и медленно побрел назад. Вагон у нее последний, лицо я по фотографии вроде как помню (у меня особенность: плохо запоминаю лица; могу, поговорив с человеком, назавтра его не узнать. Знакомые знают и не обижаются), да Лена и сама меня вычислит, внешность у меня своеобразная: полностью седой, в очках, морда наглая. Не перепутаешь.

Не перепутать было легко: кроме нас, сошло всего человек пять, так что разминуться было невозможно. Ленкину спортивную сумку, не очень увесистую, я повесил на плечо, а пакет с провизией — ну, как же женщине без пакета? — она оставила при себе.

Прежде всего мы ознакомились с расписанием местного автотранспорта. Чтобы попасть непосредственно в Бобровичи, пришлось бы ждать нужного рейса почти до вечера, зато на Выгонощи маршрутка отправлялась всего через час. По гугловским картам выходило, что пешком оттуда до Бычковского мы бы добрались даже быстрее, чем на автобусе. Дорога пролегала среди леса, пеший туризм я люблю (моя попутчица, как оказалось, тоже), все мои вещи умещались в одном рюкзаке, да и Лена тоже не была навьючена, как ишак — чего же еще? А если что не так, попутный транспорт тоже никто не отменял.

Так и получилось: последний этап мы проехали на старых «Жигулях» — повезло, двое местных любителей направлялись на рыбалку, так что в Бобровичах мы оказались часам к двенадцати. Конечно, Бычковский не утерпел и вышел нас встречать к околице (я позвонил ему и сообщил, что мы вот-вот будем) в резиновых сапогах, куда были заправлены серые рабочие штаны, рубашке-толстовке, соломенной шляпе и с шикарной кудлатой бородой. Вениамин заметно прихрамывал и опирался на трость: последствия давней травмы, с которыми современная медицина мирно уживалась, поскольку устранить не могла.

— Ну, молодцы! Долго ж вы собирались, я уж не чаял дождаться, — прогудел он. — Пошли, вон моя хата... Дай, помогу, — он попытался забрать у меня Ленину поклажу — безуспешно, потом у нее самой пакет — с тем же результатом.

— Ну да, конечно, сейчас мы все на твою спину взвалим! — отозвалась Лена. — Ничего, Димка дотащит, он здоровый.

Я мельком скользнул по его сознанию — типичная реакция, чуть настороженная: ну, как-то отнесутся гости к новым условиям, быту, гостеприимству? Не забыть бы чего, короче, обычная галиматья в голове у человека, к которому прибыли гости — не уже привычные гости, а именно те, которые впервые.

— Нормально отнесутся, — пробурчала Лена; не вслух, а мысленно, но так, чтобы и я, и хозяин услышали.

Вениамин хитро посмотрел на нее и улыбнулся. Дескать, чем богаты, тем и рады, назвался груздем — полезай в кузовок.

— Обедать! — объявил он. — Обед прежде всего. Вы, поди, есть хотите, знаю я эти дорожные перекусы.

— Обедать так обедать, — не стали мы спорить.

Несмотря на больную спину хозяина, пространство перед домом и двор были умело выкошены. Забор отсутствовал, да он был и не нужен: хозяйство Бычковского стояло слегка на отшибе, и отгораживаться от соседей не было нужды. Земли здесь хватало всем.

— А вот и нет, — возразил Вениамин. — Почитай, все свободные участки приезжие раскупили. Фазенды лепят... Скоро, думаю, тут и места свободного

не останется. Так что времена деревенские у нас кончаются, начинаются дачные да коттеджные... Приехали бы на пару лет позже — все, не видать бы вам ни тишины, ни отдыха. Строятся! А местным даже на моторах плавать запретили — как же, урочище у них тут... Того и гляди, рыбалку платной сделают.

Отношение его к новоявленным хозяевам было ясно, да он его и не скрывал.

Жилье у Бычковского оказалось не слишком велико размером, но уютно и чисто — той лесной чистотой, которой присущи солнечные зайчики на полу и запахи смолы и сушеных трав: зверобоя, земляники, медвежьих ушек. В красном углу — иконы, украшенные вышитыми крестиком рушниками. Лампадка отсутствовала. Кому-то из нас предстояло жить здесь, другому — в той самой избе-музее, где уже было приготовлено спальное место.

Я ожидал, что на обед будет подана та самая знаменитая уха, но ошибся. Вениамин сам не рыбачил (удочки же держал только для гостей), а у соседей тоже свежей рыбы не нашлось — так уж вышло. Зато картошка с жареными грибами оказалась просто изумительной.

— Да они тут на каждом шагу, чуть не у порога растут, — улыбался хозяин. — Я вас по таким местам повожу, что ахнете!

Мы послушно пообещали ахнуть, тем более — было от чего. Дом стоял на холме, и прямо из окна открывался ошеломляющий вид на озеро, большущее, ярко-синее, в котором отражались неподвижные громады белых облаков. Противоположный берег еле просматривался темной полосой леса на горизонте. Справа все тоже было покрыто лесом, слева раскинулась деревня.

— Тут хорошо, — заметив наши взгляды, сказал Вениамин. — Дышится легко. Я, как из города приеду, надышаться не могу. Люблю эти места! Да вы за стол садитесь, нечего церемонии разводить. У меня тут для встречи кое-что есть... Вы как, не против?

На столе появилась старинная литровая бутыль и рюмки. Самогон, конечно, но не мутный, как утрированно показывают в фильмах, а прозрачный, желтый, настоянный на травах. Зубровка.

— Благослови, Господи, трапезу! — провозгласил он, наливая.

— Ой, мне чуть-чуть! — пискнула Лена.

— А я с удовольствием, — сказал я. Освобожденный от дорожной поклажи, я сидел на крепком стуле, за крепким столом, в хорошей компании, и ближайшее будущее обещало замечательные впечатления, так отчего бы не расслабиться? Не так много в жизни у нас моментов, когда можно вот так бросить все — заботы, обязанности, надоедливые мысли — и наслаждаться теплым летом, солнцем, тишиной и покоем.

Напиток тоже оказался крепким, но пился легко, видимо, хозяин тщательно профильтровал и очистил его от посторонних примесей, а зубровка придала ему приятное послевкусие.

— Берется только небольшой кусочек стебля, возле корня, там, где розовая полоска, — пояснил Бычковский. — Если класть все растение, сеном будет отдавать.

— Ну, все, — сказал я, налегая на грибы. — Теперь мне нынешней ночью Полуявь обеспечена. Они, знаешь ли, любят в этом состоянии по мозгам шарить. По крайней мере — со мной так. Довольно-таки часто.

— Алкоголь, ослабление самоконтроля, — отозвалась Лена. — Не бойся, мы рядом будем.

— А чего мне бояться, сестричка? Чай, не первый раз!

— Ну-ну, — сказал Бычковский. — Давай-ка лучше по второй.

Выпили по второй.

— Я вас сегодня далеко не поведу, так, по опушке побродим, — продолжал он. — Тут у нас дуб заповедный есть, ему больше полутыщи лет, так биологи говорили. Приезжали, как же, и студентов на практику привозили. Флору-фауну изучали... Здесь у нас хватает разной живности: немноголюдно, соседние села далеко, так что много кого в лесу повстречать случается. Вот свожу вас к дубу, покажу. Правда, болеет он: дупло в нем здоровенное, и какая-то кривая душа огонь было в нем развела. Боюсь, теперь погибнет... Так вы как — гулять пойдете, или, может, отдохнуть после поездки желаете?

— Пойдем, конечно!

— Ну и лады. Доедайте, а я пока схожу к соседям за молоком. В погреб поставим, вечерком холодное будет...

Вениамин ушел, а мы с Леной, развалясь в блаженной истоме, продолжали сидеть за столом, вяло ковыряя вилками в тарелках, обменивались ничего не значащими замечаниями и лениво оглядывали обстановку. Было нам хорошо, уютно и как-то мягко на душе.

Обычно в подобных случаях пишут «поражало обилие книг» — это своеобразное клише, когда автору надо подчеркнуть духовность описываемого персонажа. Но здесь такое было неприменимо: у нас тоже домашние библиотеки были не маленькими, поэтому особого впечатления книжные шкафы ни на меня, ни на мою спутницу не произвели. Я лишь отметил для себя, что некоторые книги были на польском — опять же, удивляться не стоило, Польша-то — вон она, до границы не так далеко. Кстати, интеллигентом Вениамин внешне не выглядел до тех пор, пока — скажу, забегая вперед — не принимался рассказывать или спорить. Тут его знания и логика рассуждений вызывали уважение. Правда, спорил он достаточно редко, предпочитая отмалчиваться и поглядывать на собеседника уважительно, но колко и цепко.

После обеда мы, несколько разомлевшие, отправились знакомиться с окрестностями. Посмотрели музей (и лежанку, на которой предполагалось спать Лене), часовню, возведенную стараниями нашего неугомонного хозяина, да и просто прошлись по лесу, выйдя на старое песчаное городище на берегу: тут было место древнего поселения, и даже время от времени производились раскопки.

Тишина и покой. Собственно, вот за этим мы и приехали: сменить обстановку, отдохнуть, не спеша поговорить, набраться впечатлений.

На нас обрушилось беззаботное лето — из той детской поры, когда никуда не нужно торопиться, когда разговор с птицей или жизнь гусеницы являются неимоверно важной частью бесконечно-счастливого дня, и каждый следующий день обещает новые и новые открытия, а мир вокруг всячески показывает, что любит тебя. Сознание слоилось, горячим воздухом текло между зацепившимися за песок кустиками красных диких гвоздик, летело над теплой озерной водой с запахом кувшинок и розовых цветов стрелолиста. Тонкие стрекозки садились на качавшиеся листы рогоза и тут же взлетали, испуганные промелькнувшей тенью птицы. Рыбья мелочь теребила упавшего в воду жука.

— И вот почему-то это место не зарастает, — сказал Вениамин. — Не живут тут деревья. Я уж сколько лет наблюдаю — только трава, да и та не везде.

— И не должны, — тут же откликнулась Лена.

— В этом месте большая беда случилась... когда-то... давно, — поддержал я.

— Во время войны фашисты сожгли в округе четыре деревни, — возразил Вениамин. — Но это не здесь, а дальше.

— Нет, это раньше, — сказал я. — Много раньше. Уже почти ничего не разобрать, а земля помнит.

— Давайте уйдем отсюда, — сказала Лена. — Почему-то мне кажется, что нам тут находиться не надо. Может, обойти озеро и посмотреть другой берег? До вечера успеем.

Солнце уже зацепилось за лес, и по замершей водяной глади побежал красный закатный блеск, когда мы, пробравшись местными «тайными тропами», ведомыми только местным жителям, вышли на берег с другой стороны. Ветер стих совершенно. Кусты ивняка стояли неподвижно, выделяясь на фоне заката черным узором, как на гравюре. Мы присели на сухом стволе какого-то дерева и некоторое время, отдыхая, молча любовались уходящим днем.

Начинали робко проглядывать звезды. Приближалась ночь, но уходить отсюда никак не хотелось, несмотря на не сдерживаемых более солнечным светом комаров. Мы сидели, наблюдая, как скрывается за черным частоколом леса потерявший былую яркость остаток темно-багрового диска, как меркнут разводы неподвижных горизонтальных облаков.

Похолодало. Над озером потянуло туманом, сначала несмелым, стелящимся по самой воде, а потом входящим в полную силу, клубящимся и наступающим волнами. Было в нем нечто нереальное, словно в фантастическом фильме о какой-то иной планете.

— Ладно, пошли, — поднялся Бычковский. — Эх, теперь нам по темноте да лесом...

— Погоди, — вдруг каким-то напряженным голосом произнесла Лена. — Смотрите, что это там?

— Где?

— Вон, как раз напротив полуострова... Да выше, выше!

Несмотря на туман, мы разглядели над водой слабо светящийся шар. Он неподвижно висел, не меняя ни цвета, ни своей светимости, мертвенной и тусклой. До него было около километра — так мне показалось, но точно оценить размеры и расстояние из-за недостатка освещенности было невозможно. В воде шар — а может, не совсем шар, четких границ у него не было — не отражался. Или отражение скрадывал туман.

— НЛО, — сказал я.

Вообще-то, неопознанные объекты я видал и раньше. Неоднократно. И все прежние случаи оканчивались чем-то вроде разочарования: мы, люди, для них ничего не значили; эти аппараты невозмутимо делали свое дело и исчезали, не обращая внимания ни на что. Но теперь все было иначе. Всем своим опытом экстрасенсорики, пусть примитивным, я мог поручиться за то, что на этот раз за нами наблюдают. Мои спутники это тоже почувствовали.

— Смотрят... — пробормотала Лена.

Бычковский промолчал, нахмурившись и вглядываясь в парящий над озерной гладью шар, который быстро скрывался туманом, плотным, густым, подобного которому я никогда прежде не видел.

Сейчас, когда я возвращаюсь туда памятью, я спрашиваю себя: почему мы не были особенно удивлены происходящим? Может быть, неведомый режиссер, поставивший эту мизансцену, посчитал, что наши излишние эмоции могут ему помешать?

Вскоре исчезло все: и шар, и лес за нами, и даже ближние кусты. Опустилась глухая тишина, не было слышно ничего: ни собачьего лая, ни случайного звука деревни, и это невзирая на то, что ночью над водой даже самый негромкий голос разносится достаточно далеко. Оставалось различимым только небольшое пространство вокруг нас да узкая полоска неподвижной черной воды.

Внезапно что-то изменилось. Вверху произошло движение, и в сплошной пелене тумана образовалось свободное пространство — как раз над нами; стало видно чистое звездное небо, и стало заметно светлее: это выглянула полная луна.

— А ведь сегодня новолуние, — пробормотал Вениамин.

Вот как. Новолуние. Что же, получается, они могут и время смещать?

Это соображение пришло откуда-то извне. Я ощущал некое единство с Вениамином и Леной — мы стали острее чувствовать друг друга, и то, что приходило в голову одному, сразу же становилось достоянием всех. Для этого даже не надо было обмениваться словами. Я чувствовал не только их настороженность, но и привычную ноющую боль в спине — это Бычковский — и существенную усталость, которую вовсе не предполагалось показывать остальным — Лена. И еще я почувствовал узнавание: когда-то, давным-давно, Вениамин уже встречался с тем или с теми, кто сидел там, в шаре, и наблюдал за нами. Та, прошлая, встреча закончилась болезнью, от которой он так и не смог полностью освободиться до сих пор.

— Тише! — шепнула Лена. — Слышите?

Мы слышали. К берегу приближалась лодка — гребец торопился, лихорадочно орудуя веслом, и когда лодка показалась в сфере видимости, оказалось, что правит ею худенькая девушка, одетая в рубище, похожее на старую ночную рубашку. Она на мгновение испуганно замерла, увидев нас, но тут же умоляюще протянула вперед руки, которые замелькали в череде непонятных жестов.

Глухонемая?

Лодка уже ткнулась носом в песок, и девушка, шагнув в воду, пыталась вытолкнуть ее подальше на берег, призывно махая рукой.

Она была не одна. На дне лодки ничком лежал юноша — голый торс, короткие штаны из грубого рядна. Он был без сознания. Из спины торчало древко стрелы.

Стрелы?!

Стало быть, это все — настолько из другого времени? И что теперь делать? Если вмешаться, не приведет ли это к изменению событий уже в нашем времени?

— Не приведет, — мотнул головой Бычковский. — Настоящее уже таково, каково есть. И изменить его никакое прошлое не может.

— Кроме того, если мы ничего не сделаем, это точно так же будет воздействием на прошлое, — добавила Лена.

Вообще-то да. Какая разница, от чего может измениться прошлое: от нашего воздействия на него или от отказа от такого воздействия?

Мы с Вениамином вытащили раненого на берег. Было ясно, что без немедленной помощи дело закончится плохо. Впрочем, если даже здесь каким-то чудом вдруг оказалась бы бригада реанимации, я все равно не рискнул бы дать стопроцентный положительный прогноз.

— Сначала надо вытащить стрелу, — предложил Вениамин.

— Нет! — решительно воспротивился я. Я уже мысленно «прощупал» рану и знал, что дело гораздо хуже, чем даже казалось на первый взгляд. — Там наконечник с зазубринами. Будем тянуть — зацепим сердце.

— Как же быть?

Девушка стояла, глядя на нас с надеждой. По лицу ее текли слезы.

— Это ее брат, — сказала Лена; она не теряла времени даром и уже знала, что произошло. Собственно, все можно было уложить в одно предложение: ночь, нападение, побег, шальная стрела. А может, не шальная.

Туман еле заметно окрасился желтым — с той стороны, откуда приплыла странная пара.

— Там пожар, — глухо проронил Бычковский. — Деревню подожгли.

— А эти, ну, которые напали, — спросила Лена, — они сюда не приплывут?

— Вряд ли. Они ведь не знают, куда плыть — темно, а на воде следов нет... Скорее уж могут решиться на рейд вокруг озера. И то, если конные.

Конечно, мы не знали, кто напал на деревню: там, в средневековье, откуда прилетела стрела, это могли быть и лучники золотой орды (да, они сюда доходили), и отряд немецких рыцарей-храмовников, и казацкая вольница Хмельницкого, и каратели царя Ивана... Да какая разница. Перед нами умирал человек, а мы ничего не могли сделать. Железный крюк так просто из тела не вытащить.

Бычковский вдруг выпрямился и сжал кулаки. Я ощутил его ментальный посыл. Кому? Неужели тем, в шаре?

И вдруг стрела исчезла. Я чувствовал: там, возле сердца, бившегося слабыми толчками, колючки больше нет.

Раненый застонал, по спине тонкой струйкой потекла кровь.

Что ж, кажется, пришло мое время... Я понимал, что то, что я собираюсь делать, превышает мои силы. Знал и то, что потом буду валяться, прижимая руки к груди и пытаясь остатками энергии удержать свое собственное сердце. Но отступить уже не мог.

Несколько глубоких вдохов перекатом от диафрагмы. Зачерпнуть праны — больше, еще больше... Активизация — ладони привычно потеплели. Как же долго я не пользовался биоэнергетикой! И надеялся, что делать этого никогда уже не придется. Но знакомые ощущения не забылись, энергия послушно прибывала, я уже ощущал ее, как теплый шарик, катающийся между ладонями. Пора.

Я закрыл глаза и сосредоточился на ране. Прокол был глубокий, стрела разорвала несколько крупных кровеносных сосудов, и прежде всего нужно было их затянуть, коагулировать кровь. А для этого ох сколько усилий надо! Ну ничего, ничего, мы потихонечку, полегоньку...

Получилось. Я открыл глаза, перевел дух и только тут заметил, что Бычковский стоит сзади, положив руки мне на плечи и подпитывая меня. Выглядел он неважно, впрочем, наверняка, и я так же. Но дело было еще не закончено, необходимо было провести обеззараживание раны — иначе не надо и гангрены, тут малейшее воспаление — и конец: слишком уж близко перикард.

Я добросовестно прошелся по всей глубине раны, выжигая возможную заразу тем особым огнем, который позволяет поднять температуру тела до сорока градусов, а субьективно воспринимается как настоящий огонь. Бациллам, проникшим в рану, не поздоровится. Мне, впрочем, тоже: выжигание буквально пожирало энергию.

Я держал огонь столько, сколько мог. И даже чуть-чуть дольше. Когда я поднялся на ноги, глаза застилала такая тьма, что не разобрать было ни берега, ни земли. Я лишь чувствовал, что рядом, за спиной, на песке сидит Бычковский, слабо мотая головой. Ему тоже было нехорошо. Лена, выудив из сумочки валидол, торопливо совала таблетку ему в рот. Я остановил истечение энергии (руки полусогнуть в локтях, большой и безымянный пальцы — в кольцо), хотя какое уж там истечение, какая энергия! Жалкие остатки! Затем сунул руки ладонями под мышки: если вдруг что-нибудь еще просочится, пусть замыкается через тело — на питание сердечной мышцы. И отрубился.

Я же предупреждал, что ничего из того, о чем я намеревался рассказать, никогда не происходило. И вообще — существовало ли, случалось ли оно, это не наше время, в которое мы были погружены чужой волей? И зачем погружены, для чего? У меня не было и нет ответа.

Если судить по тому, что мы все трое — применю тривиальное сравнение — были выжаты той ночью, как лимоны — то да, все несомненно случилось и произошло. И так же несомненно, что этого никогда не было для всего остального мира, кроме разве что тех двоих несчастных беженцев, кстати, мы так и не успели узнать их имена. Удалось ли им спастись? Выжил ли тот, кому мы так старались помочь? Сейчас, когда мы находимся в своем месте и времени, мы обречены размышлять и строить предположения, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.

Бычковский, например, утверждает, что все случившееся было опытом с целью проверить, правильно ли каждый из нас пользуется своим даром, и мы трое совсем не случайно были тогда собраны вместе. У каждого из нас, дескать, есть задание, которое предназначено только ему. Лена отмалчивается, предпочитая не докапываться до смысла произошедшего. Ей предстоит еще долго разбираться с теми, кто подвергся нападению, и пытаться, как она выразилась сухо и сдержанно, «минимизировать урон». Уж что она под этим подразумевает, мне непонятно; подозреваю, что задача эта вовсе не проста. Но она справится.

Что предназначено сделать мне, я не знаю. Возможно, просто написать об этом, чтобы кто-нибудь тоже задумался о том, зачем он существует, кому это нужно, и к чему судьба предызбрала именно его.

## Последний рисунок

До Нового года было рукой подать, календарь уже долистывал последние дни декабря. И у Антона Тихомирова дела тоже завершались: нужные сделки на следующий год заключены, бумаги, какие надо, подписаны, встречи запланированные состоялись. И вот наступил период затишья, когда никаких срочных дел в бизнесе как бы и не осталось; все были заняты приготовлениями к празднику, в делах определился короткий сезонный спад активности — как всегда в это время. В уходящем году последнее только дело осталось — отвезти в детский дом подарки. Не то, чтобы Антон так уж жалел сирот и заботился о них, просто в их бизнес-среде такое являлось как бы традицией и хорошим тоном; да и городские власти впоследствии к меценатам относились благосклоннее. А добрые отношения с ними дорогого стоят... И не очень уж это и обременительно, честно говоря.

В действе этом Антон обычно не участвовал лично, но на этот раз сделал по-иному; надо, надо было отвлечься. После окончательного разрыва с Вероникой чувствовалась в душе тупая боль и какая-то внутренняя пустота. Умом Антон понимал, что все произошедшее правильно, и доведись ему решать заново — поступил бы так же. За два года супружеской жизни наелся он досыта всех ее стервозных штучек... Чуть не с первых дней после свадьбы заметил он, что их отношения начали неуловимо меняться: Вероника настойчиво пыталась ставить себя в положение принцессы, которой теперь должны обеспечивать всяческий комфорт, а муж вообще существует лишь для удовлетворения ее, принцессы, капризов. И не брезговала на этом пути ни слезами, ни скандалами — смотря по тому, что считала в данный момент наиболее действенным.

Поначалу Антон посмеивался и был счастлив делать для обожаемой жены все, что может любящий мужчина и крепкий бизнесмен. И делал... Но, с одной стороны, все его старания воспринимались как должное, а с другой — аппетиты с каждым разом росли. И однажды он понял, что ответных-то чувств нет, а есть лишь притворство; что и его собственная любовь куда-то улетучилась, и теперь он, грубо говоря, слишком дорого платит за тривиальный «доступ к телу». Так что теперь, покупать обычный мир и лад в собственной семье? Так, где он, этот лад, должен быть по определению? И когда очередная его попытка откровенно выяснить отношения вновь окончилась истерикой, он решил — хватит.

Развод принес тягостные сцены раздела «совместно нажитого имущества» (здесь он не упирался, просто оставив бывшей квартиру и машину — вполне мог себе это позволить), но и облегчение тоже.

Одинокий вечер, не заполненный ни работой, ни домашней суетой, не то чтобы пугал, а был непривычен с той точки зрения, что — а куда себя деть? Навязываться к друзьям считал пока Антон не совсем правильным: у всех сейчас свои хлопоты, незачем лезть без приглашения... А приглашений не было — друзья его были людьми тактичными и предпочитали наблюдать издалека; может быть, давая ему время привыкнуть к своему вновь обретенному статусу холостяка и считая, что первое проявление активности в этом случае должно исходить от него.

За окнами автомобиля проплывал заснеженный Минск. Шофер Саня обреченно вздыхал, поглядывая на неторопливо ползущие группы машин-снегоуборщиков, которые разбрасывали по проезжей части грязные комья песка, смешанного с реагентами. В результате под колесами образовывалась мерзкая холодная гадость, пропитанная незамерзающей водой. Как всегда, зима наступила для коммунальных служб неожиданно и о нормальной скорости передвижения можно было только мечтать. Настроение было слегка подавленное. Антон молчал, тупо глядя прямо перед собой. Дворники на переднем стекле однообразно мотались, сбивая в стороны вновь и вновь налипающий снег. Служебный минивэн с подарками и нанятыми артистами — Дедом Морозом и Снегурочкой — держался сзади, послушно следуя за ведущим «лексусом»: Саня то и дело сворачивал в одному ему известные проезды и переулки, каким-то шестым чувством обходя возникающие впереди пробки. Город он знал прекрасно. В детском доме их ждали. В актовом зале была установлена елка, по периметру расположились воспитанники — все вместе, и подростки, и совсем маленькие. Все было как всегда, когда много детей собирается вместе. Звенел гомон, воспитатели то и дело шикали на наиболее расшалившихся.

Подлетел бодрый, улыбающийся директор, Юрий Васильевич, поздоровался — и тут же, извинившись, снова исчез: надо ему было и проконтролировать выступающих (а готовились к этому вечеру, конечно), и распорядиться насчет ужина... Конечно, без дела на такой должности не посидишь, везде успевать надо. Антон его знал хорошо — не часто, конечно, но они встречались. Мужик крепкий, хозяйственный. Из тех, что располагают с первого взгляда и на которых можно положиться.

Артисты в своих костюмах сразу же отправились в центр зала, к елке — отрабатывать программу, умотавшийся за день Санек остался подремать в машине, а Антон, у которого от детского гама уже начинало шуметь в голове, принялся бродить по коридору, украшенному рисунками воспитанников. Среди наивной ребяческой мазни внимание его привлекла акварель, нарисо-

ванная скупо, но точными, уверенными мазками. Ярко-синее море, просвечивающее из-за пальм, светлый песок со следами босых ног, одинокий парус на горизонте. Все.

Снизу шариковой ручкой было приписано: «Лида Ляпикова, 7 лет». «Вот это да, — подумал Антон. — В семь лет — и так рисовать!» Сам он был неспособен изобразить даже примитивный натюрморт, и художественные способности его находились на уровне Остапа Бендера из известного фильма — эпизод, когда великий комбинатор обводит контуром лежащего Кису Воробьянинова.

Тем не менее, в живописи Антон разбирался. По крайней мере, настолько, чтобы судить о незаурядности дарования семилетней Лиды Ляпиковой. Чем черт не шутит — иногда, пусть хоть раз в столетие, могут ведь рождаться гении-самоучки вроде той же Нади Рушевой... Эх, учиться бы девчонке!

— Что, нравится? — спросил неслышно возникший сзади Юрий Васильевич.

— Нравится, — не стал отказываться Антон. — Явно дарование у девочки.

— Да уж, — не скрывая удовольствия, ухмыльнулся директор. — В этом году на конкурсе первое место взяли. На республиканском! Талантище!

— А нельзя ли и другие ее работы посмотреть?

— Почему нельзя? Давай-ка зайдем к ней, она сейчас наверняка рисует.

— Как рисует? А елка? Новый год?

— Болеет наша Лидочка, — вздохнул директор. — В изоляторе она. Корь! И, соответственно, карантин. Так что никакого праздника у нее не будет. В смысле — такого, чтобы со всеми.

— А это удобно? Может, она как раз спит...

— Ага, спит, сейчас же. Вспомни себя в таком возрасте!

— А как же карантин?

— Нам можно, мы-то с тобой корью давно переболели. Потом только к детям больше не суйся, хорошо? На всякий случай.

— Юрий Васильевич, скорее! — подбежала молоденькая практикантка. — Там Костенко палец в бутылку засунул, а вытащить не может!

— Сейчас иду, — откликнулся тот. — Вот ведь угораздило... Ладно, Антон, ты уж тогда сам, а? Изолятор — последняя дверь по коридору, налево.

Директор исчез.

Антон ожидал увидеть полутемную комнату, где, раскинувшись на подушках, в жару лежит изнемогающий ребенок... Ничего подобного!

Лидочка, точно, была в кровати. Сосредоточенно высунув язык, она старательно водила карандашом в большом альбоме. О болезни говорили лишь большие черные глазищи — или казавшиеся большими на заострившемся похудевшем лице — и влажные пряди волос, прилипшие к покрытому легкой испариной лбу. Никакой полутьмы тоже не было, комната была освещена обычными лампами дневного света. Антон остановился на пороге.

— Ты кто? — спросила девочка, поднимая на него глаза от рисунка.

И так просто и естественно прозвучал этот наивный детский вопрос, и так беззащитно смотрелась она среди казенных простыней и кафельной плитки, что у Антона чуть было не навернулись слезы и защемило сердце.

Бывает так, что вдруг, ни с того ни с сего, открываемся мы случайно попавшемуся человеку: попутчику в купе, соседу по гостинице, кому-то в интернете, скрытому за непонятным псевдонимом... С чем это связано — неизвестно. То ли подходят к пределу какие-то силы, сдерживавшие нас до этих пор, то ли просто возникает потребность выговориться и разделить с кем-то лежащий на душе груз. И неважно, что потом больше не увидишь этого человека никогда в жизни. Так бывает.

И, сам того не желая, вдруг вывалил Антон девочке всю свою бесхитростную ситуацию: и про разрыв с чужой, как оказалось, женщиной, и про нынешнее свое одиночество, не тревожимое сейчас никакими делами бизнеса. Бухнул, буквально в трех предложениях — и остановился, наткнувшись на серьезный и грустный взгляд.

— Жалко...

— Что жалко? Чего уж тут жалеть!

— Что развод. Я думала, может, ты захочешь моим папой стать.

Антона слегка ошеломило. Он даже отвернулся, чтобы не показать замешательства: бедный ребенок! Да ведь они все тут, наверно, только и думают об этом — о семье! Но редко кому в этом везет, и потом еще реже кому действительно выпадает в новой семье настоящее счастье...

— А при чем тут развод? — невпопад спросил он.

— Детей в неполные семьи не отдают. Это все знают.

— Вот оно что.

А Лидочка серьезно и грустно добавила:

— Это ничего, что она такая. Я бы ее все равно любила.

Антон промолчал, не зная, что сказать. А Лидочка, тряхнув короткой прической, вдруг улыбнулась солнечно и ярко.

— Ты не думай, я никому про это не буду рассказывать. Честно-честно!

— А я и не думаю.

— Тогда посиди со мной, а то мне скучно.

— Посижу. Я вот хотел рисунки твои посмотреть... Можно?

— Можно.

Немного было их, этих рисунков. Та же мягкая, чуточку наивная манера, то же море и корабли с надутыми парусами — видно было, что знакомство с их конструкцией и такелажем у Лидочки основывалось на чужих рисунках и книжных иллюстрациях. Зато портрет капитана-пирата с традиционной повязкой на глазу и попугаем на плече был хорош — прорисован хоть и безграмотно с точки зрения академической техники, но живо и узнаваемо: в лице пирата явно проступали черты Юрия Васильевича. Только был он здесь суров и непреклонен.

— Ты учиться хочешь?

— А я уже в первом классе! Только у нас сейчас каникулы.

— Я не про это. На художника учиться.

— А я уже учусь. У нас есть кружок художественный, Элла Аркадьевна ведет.

— Кружок? Это хорошо, просто замечательно... А потом, когда подрастешь, хочешь в художественное училище? Я могу помочь.

— Не знаю...

Антон улыбнулся. Чувствовал он себя теперь уверенно, видно, что-то внутри него уже встало на место и приняло определенное решение.

— Чего тебе больше всего хочется? Представь, что я Дед Мороз. Ну?

— Я хочу увидеть море.

Не совсем этого ожидал он, но ни на секунду не запнулся.

— Отлично. Летом поедем на море. Будут настоящие пальмы, слоны и обезьяны. И эти, как их... Попугаи! Договорились?

— Меня не пустят. Я знаю, это столько справок всяких надо! Нам объясняли.

— Это уж моя забота — справки. Все будет сделано. Дед Мороз я или не Дед Мороз?!

Лидочка буквально засветилась изнутри, улыбаясь на этот раз радостно и доверчиво.

— Я с собой Соню возьму, ладно? Это кукла. Она маленькая.

— Возьми.

Вот так получилось, что пустота в душе Антона вдруг заполнилась. И появилась внутренняя связь — вот с этим ребенком, болеющим сейчас, но так желающим счастья. Видимо, внутри любого человека независимо от возраста неистребимо живет потребность любить кого-то и самому быть любимым. Антон и не задумывался, что такое возможно; он никак не ожидал, что это возможно именно с ним, но — так случилось, и был он от случившегося счастлив и умиротворен.

На деле все оказалось не столь просто. Документов нужно было собрать уйму. И, действительно, факт развода стал заметным препятствием: не то, чтобы законы прямо запрещали удочерение одиноким людям, но всяческого рода организации и клерки, ответственные за оформление, относились к такому обстоятельству настороженно и, прямо надо сказать, с предубеждением. И очень «кстати» развернутая на телевидении кампания против педофилов — вот ведь совпало! — тоже атмосферу не разряжала.

Сильно помог Юрий Васильевич. Он нажимал на одному ему ведомые тайные пружины, лично ездил куда-то хлопотать и договариваться. В результате постепенно наметился окончательный сдвиг в пользу положительного решения. Сама Лидочка тоже ждала этого с нетерпением, она привязалась к «папе Антону», который теперь проводил с ней все свободное время, которое ему удавалось урывать из жесткого бизнес-расписания. И было им вместе легко и свободно.

Нельзя сказать, что сближение далось Антону сразу, твердо и бесповоротно. Существовало некое обстоятельство, которое ограничивало его свободу. Дело было в его личной секретарше Светлане. Ну да, классическая история: начальник и секретарша! После разрыва с женой Антон не то, чтобы просто искал женщину (конечно, и это тоже: организм требовал свое), но оставшаяся пустота требовала заполнения. Пусть на подсознательном уровне, но это ничего не меняло. Внешне эффектная, но тактичная и корректная девушка ему нравилась. Вначале это было неосознанно, но со временем Антон понял, что Светлана стала занимать в его мыслях, положении и самоопределении достаточно важное место. Он даже иногда подумывал о новой женитьбе, но лишь в теоретическом аспекте, настороженный предыдущим опытом. Светлана же, похоже, вполне искренне проявляла симпатию к своему боссу, но до окончательного разговора, который все расставил бы по местам, пока так и не дошло. Каждый из них не торопился делать решительный шаг.

Антон понимал, что статус женатого человека здорово повысил бы его шансы в деле удочерения, но инстинктивно противился такому, как он для себя определил, «нечестному» приему. Почему — он и сам бы не смог себе ответить. Да и Светлана тоже ничего не говорила по этому поводу, хотя и была в курсе всех событий. Поэтому в их отношениях продолжала существовать некая неопределенность.

Кончалась весна. В пригородах кипело черемуховое и сиреневое буйство. Трава входила в силу, на газонах ее уже вовсю подстригали, и бригады рабочих, вооруженных бензокосилками и забрызганные до колен зеленой трухой, уже вызывали нарекания любителей утреннего сна. Шли дожди, но не долгие осенние, с обложными серыми тучами, а веселые летние — недолгие, с неожиданными раскатами грома. Близилось время больших каникул, и значит, время исполнения обещанного: Антон крепко-накрепко пообещал Лидочке поездку к морю с крутыми волнами, с веселыми солеными брызгами и всеми фантазиями, которые только могут прийти в голову.

Наилучшим вариантом ему представлялся Египет: в Турции в это время море еще недостаточно прогрето, Куба — дорого и для своих цен недостаточно комфортно, Сейшелы (да и та же Куба) — далековато: кто знает, насколько непредсказуемой окажется адаптация детского организма на столь резкую смену часового пояса. А Хургада была местом проверенным. Номер в отеле он забронировал заранее, билеты на самолет дожидались на каминной полке, а собрать чемодан — вместительный и удобный, на колесиках — было для него делом получаса.

Оставалось только документально уладить отцовство, но это было лишь формальной юридической проформой. По существу, Лидочка уже давно бы жила у него дома, единственная заминка — школа. Посоветовавшись с директором, Антон не стал срывать девочку с занятий. Перевод в другую школу в конце учебного года являлся неоправданным, поэтому они решили, что до каникул Лидочка доживет в интернате, а уж потом окончательно переедет к отцу.

А потом грянула беда. Позвонив утром, Антон не услышал в телефоне бодрое и веселое «Приветики, папа!». Ответил директор, Юрий Васильевич, и по его тону Антон сразу понял, что случилось что-то нехорошее.

Пьяный мотоциклист. Есть такая категория совершенно безбашенных наездников, несущихся посреди дороги, не разбирая ни пути, ни знаков, ни переходов. А если остатки мозгов залить пивом или чем-нибудь покрепче, то вот вам готовая машина смерти — и хорошо еще, если смерти своей! Нет, они ведь тащат с собой и окружающих, нимало о том не думая.

Дальнейшие слова доносились до сознания, как сквозь вату. Антон осознал себя только в машине, торопящем и понукающем водителя. «Лексус» буквально стлался над дорогой, оставляя далеко позади не успевающих реагировать инспекторов. Санек, казалось, слился с баранкой, вцепившись в нее, как клещ.

Больница, травматологическое отделение. И сухое покачивание головой дежурного хирурга: нет, ничего нельзя было сделать, девочку привезли уже в агонии... Мельком, краем сознания зацепило: такая сухость врача — лишь защитная реакция, невозможно же на каждого пациента реагировать по-человечески, этак можно и сердце угробить в два счета...

И Юрий Васильевич откуда-то взялся, тоже примчался, сломя голову:

— Вот, ведь, Антон, как получилось... Ты уж держись, мужик. Вот, это тебе... Она сюрприз готовила.

И — рисунок, последний рисунок в ее жизни: он сам, Антон, на берегу тропического моря, и рядом — Лидочка. Смеется, радостная такая...

И подпись: «Мы с папой».





ГЕННАДИЙ АВЛАСЕНКО

# Еще раз о любви

Закат догорел.
На продрогшем окошке моем
качается ночь,
распускаются звезды в ночи...
Торопится ночь.
Мы с тобою,
как прежде,
вдвоем.
Давай помолчим!
Давай помолчим,
хмурый вечер прилег у окна,
струится сквозь ставни
холодная влажная мгла...
Ты помнишь ту осень?
Уже не вернется она.
Та осень прошла.
Понимаешь,
та осень прошла!

Та осень прошла...
Наши тени,
бесшумно скользя,
плывут по стене,
застывают у края стены.
Что делаем мы?!
Ведь назад возвратиться нельзя!
Ведь это смешно!
Понимаешь,
мы оба смешны!
Мы оба смешны...
Я твердил твое имя во сне,
писал тебе письма,
В ночном забытьи у стола...
Сжигал свои письма,
сжигал твои письма ко мне...
И вот ты пришла...
Ты пришла,
только осень прошла!

Та осень прошла!
Я тебя дожидаться устал!
Ты поздно пришла!
Ведь предельны
и радость,
и боль!
Качается ночь,
безразлична,
глуха
и пуста...
Торопится ночь
и уносит тебя за собой...

А может не поздно,
замедлив вращенье Земли,
продлить эту ночь,
на куски расколоть тишину,
чтоб два человека
услышать
друг друга смогли,
себя перейти
и навстречу
друг другу шагнуть?!

Шагнуть,
чтобы снова
в единое
слились слова,
шагнуть,
чтобы снова
идти
по остывшим следам,
шагнуть,
чтобы вспыхнула
осени давней листва...
Себя перейдя,
сквозь года
возвратиться туда...

Себя перейдя...
И, отбросив навязчивый груз
надежд и сомнений,
обид и ошибок в пути,
найду твои губы,
услышу их легкую грусть,
найду твои руки,
скажу тебе тихо: «Прости!»

И огненным светом
наполнится враз темнота,
и ночь закричит
миллионами звездных огней!

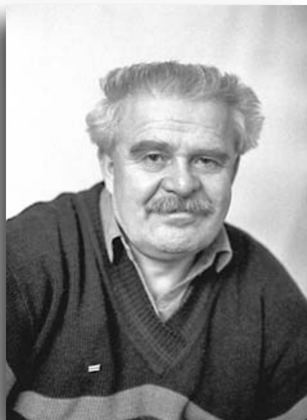
И в мире огромном
останется лишь теплота,
большая планета
и два человека на ней...

И пусть за окном
притаилась
холодная мгла!
Пусть серая ночь
осыпается
зябким дождем!
Та осень была!
Мы ведь знаем:
она не прошла!
Пусть это смешно —
мы еще раз
ту осень найдем!

В горячих ладонях
ее отогреем сперва,
вернем ей слова,
что она растеряла в пути...
Та осень жива!
Понимаешь,
та осень жива!
И живы слова...
И короткое слово
«прости»...

Пусть это смешно...
Ты мне что-то хотела сказать?
Давай помолчим...
У надежды десятки причин
вот так помолчать...
Пусть слеза
обжигает глаза...
Давай помолчим...







ЮРИЙ СТАНКЕВИЧ

# *Миллиард ударов*

*Рассказы*

## Яйцо кукушки

«Нет, правда, у меня какой-то ненатурально желтый цвет лица», — думала стареющая женщина по имени Марта Богуш, которая сидела в кресле в гостиной своей небольшой двушки и вяло следила за тем, как уходит за горизонт очередной день. За окном быстро смеркалось. В свете фонаря на уличном столбе она видела, как моросит осенний дождик. Из комнатушки ее приемного сына Дениса долетали голоса актеров, нет-нет да и прерываемые нарочито громкой и псевдозначимой музыкальной заставкой: он смотрел сериал. Как раз в это время в дверь уверенно и настойчиво постучали. Марта Богуш встала и открыла. Сразу едва уловимое чувство опасности охватило ее.

— Здрасс...

В прихожую деловито ворвалась Ульяна — подруга Дениса: черненькая, с немытыми жирными волосами, странноватой, со скошенным затылком, головкой — такие бывают у детей, которые в первые месяцы жизни лежат, спеленатые, исключительно на спине. Ее остренькое вульгарно-смазливое личико не выражало, как всегда, ничего.

Она без приглашения сняла мокрую заношенную куртку, бросила ее прямо в угол (петля, чтобы повесить на крючок, на ней по-прежнему отсутствовала) и, не обращая внимания на нее, хозяйку, проскользнула в комнатушку. Марта Богуш знала, что Ульяна на год старше ее Дениса. Переходный возраст, — привычно успокоила она себя, наблюдая, как дверь с треском закрылась и щелкнул замок. Из комнатушки послышался Ульянин голос, а потом стало тихо.

Тихо, как она знала, будет достаточно долго. Что они там делают — неизвестно: женщина гнала прочь рискованные предположения. Потом они включат видеомагнитофон и будут смотреть одну за другой очередные серии популярной киноленты, которая самой Марте Богуш не то, чтобы не очень, а вовсе не нравилась. Недавно Денис приобрел эту ленту в магазине на выпрошенные у нее и частично украденные, как она подозревала, деньги. «Возраст, — думала она, — такой возраст». Сериал они смотрят четвертый раз подряд. Завтра в школу он, ясное дело, вряд ли пойдет. Точнее, сделает вид, что пойдет, а когда она позвонит учительнице, та скажет обычное: «Нет, сегодня не являлся, так что принимайте меры…»

Когда еще был жив муж, меры принимали разные, но сладить с приемышем они так и не смогли. «Хотя, скорее всего, — опять успокаивала себя женщина, — во всем виноват все тот же переходный возраст. Переходный от чего и к чему? Вероятно, к готовности размножаться — отсюда неслыханный

всплеск гормонов, неадекватные выходки, граничащие с психическими заболеваниями, и малообъяснимые явления, чуть ли не полтергейст в квартире: и такое не однажды, как она где-то читала, происходило».

Случалось и так, что в школу ходили втроем. Она с мужем, словно конвоиры сзади, а впереди их пятнадцатилетний Денис. В вестибюле он раздевался, но куртку в гардероб не сдавал — они ее забирали до вечера, чтобы он не сбежал с уроков, а после занятий, одетого под их присмотром, сразу уводили домой. В классе, по словам учительницы, Денис был почти незаметен, вел себя тихо и даже досиживал до окончания уроков, но как только его куртка по каким-нибудь причинам оказывалась в гардеробе, то на первой же перемене он исчезал. Где он в это время был, чем занимался, никто не знал. На вопросы он отвечал всегда что-то невразумительное, а то и вовсе отмалчивался, был тихим, замкнутым, почти не спорил. Но незаметно начал красть из их кошельков, и деньги те исчезали неизвестно куда. Только однажды, совсем недавно, удалось отследить судьбу последней пропажи. На уворованное он нанял такси и ездил в пригород к этой самой Ульяне. Но кто такая эта девица, а тем более, кто ее родители, она так до сих пор и не выяснила.

Несмотря на все созданные их воспитаннику самые благоприятные условия, родителей он определенно разве что терпел, во всяком случае, у женщины в последнее время сложилось именно такое впечатление. Чувств своих приемыш не афишировал, но время от времени Марта Богуш ловила его беспокойный взгляд — быстрый, пронзительный, недобрый.

Само собой, они с мужем никогда не позволяли себе по отношению к подростку никакого физического воздействия. Нечто подобное случилось только раз и сразу повлекло за собой неожиданные последствия. Однажды ее покойный муж, у которого накануне из кармана исчезла крупная денежная купюра, схватил приемыша за ворот и хорошенько встряхнул его, но она, не теряя времени, вступилась за своего любимца. Тем не менее, Денис сразу скрылся за дверью своей комнатки, а через несколько минут предстал перед ними с веревкой в руке.

— Видите петлю? — каким-то неестественно тихим голосом спросил он.

Ее тогда сразу охватило дурное предчувствие, и сердце сжалось от внезапно нахлынувшего страха, но муж этого не уловил.

— И что?

— А то, что если вы меня хоть раз тронете или начнете еще как щемить, то я удавлюсь вот на этой веревке.

— Да ты что? — растерялся тогда ее муж. Он был довольно мягким по натуре человеком. — Разве мы для тебя чего жалеем? Разве не родные?

Лучше бы он не говорил банальностей и не задавал неуместных вопросов, потому что сразу глаза приемыша, пожалуй, впервые, впились в них с откровенной злостью.

— Вы мне и не родные, и не родители. Я все знаю.

* * *

Их приемный сын Денис появился на свет в заброшенном поселке километрах в тридцати от столицы, в оставленной, полуразвалившейся халупе. Наверно, зимой бывшие хозяева жить там уже не могли, а потом вообще решили не возвращаться. Но вот летом в хате вдруг появилась молодая женщина — по слухам, пришла откуда-то, на сносях, что не мешало ей частенько быть на подпитии, с неизменной сигаретой во рту — скорее всего, как считала

Марта Богуш, какая-нибудь «залетная» нимфоманка. И родила она, как животное, одна, не только без помощи врача или акушерки, но даже соседей.

Младенцу не было еще и недели, когда мать положила его, завернутого в пеленки, на кровать, растопила печь и, закрыв вьюшку, исчезла навсегда.

Соседи случайно заметили, как дым просачивается через дверь и полуразбитые окна, бросились в хату и спасли дитя. А через год они с мужем собрали соответствующие документы и усыновили мальчика, забрав его из интерната.

* * *

Женщина по имени Марта Богуш по-прежнему сидела в кресле, но беспокойство не покидало ее. Так всегда происходило в последнее время, когда к ним являлась эта Ульяна, или приемыш часами сидел в своей комнате перед видеомагнитофоном или просто так, сложив на коленях руки с ненормально длинными пальцами, — а о чем он думал, она никогда не знала.

Денис не интересовался ничем, ну разве что в самом начале, когда ему приносили что-то новое. Так, в прошлом году дня два побренчал на гитаре, а потом навсегда забросил ее под кровать. Чтобы научиться играть на таком относительно простом музыкальном инструменте, нужны были, как теперь прикидывала она, терпение, увлеченность и, в конце концов, хоть какой-то талант. Та же участь постигла компьютер, хоккейную амуницию, ружье для подводного плавания, рыболовные снасти. Женщина с удивлением поняла, что все это было для него обузой.

Она вспомнила, как однажды муж, тем не менее, пришел домой довольный и сразу позвал Дениса. Тот неохотно вылез из своего угла.

— Знаешь, старче, я тебя в престижную спортивную секцию устроил.

— Это еще что за секция?

— Кикбоксинга. Вот и снарядные перчатки тебе сразу купил. Встретил я тут давнего друга, одноклассника. Он теперь завучем в спортивной школе. Завтра пойдем и, так сказать, оформимся официально.

Денис на это никак не отреагировал, но пойти завтра в спортзал согласился. На тренировки он сходил три раза. В первый раз его нагрузили общефизическими упражнениями, во второй — тренер учил основам и, как водится, в третий раз поставил его в спарринг с более подготовленным ровесником, чтобы проверить, как он привык делать, не только физические, но и морально-психологические качества ученика.

В первом же раунде, получив чувствительный удар в лицо, новичок весь затрясся, побелел, бросился на противника и укусил того за шею так, что едва оторвали. Ясное дело, его сразу отчислили.

Второй странный случай произошел в школе. Как женщине опять-таки рассказывала учительница, на перерыве кто-то из мальчишек, гораздо сильнее их приемыша, то ли специально, то ли случайно зацепил его. Потом так и не разобрались. В ответ Денис выхватил из кармана ручку и острый ее конец вонзил товарищу в плечо. А целился ведь в голову, мрачнея, рассказывала классная, а что, если бы попал, например, в глаз? Или в сонную артерию?

* * *

Марта Богуш, женщина пятидесяти пяти лет, с седыми уже висками, сидела в кресле и прислушивалась. Тишина. Что они там делают за закрытой дверью — неизвестно. Однажды муж, когда еще был жив, вспомнила вдруг

она, обнаружил, что дверь в комнату, куда как раз явилась гостья, осталась открытой, и зашел туда по какой-то надобности. Что он там увидел, он ей так и не сказал, даже значительно позже, но в ту минуту она, сжавшись, услышала его крик: «Вон отсюда!» и увидела, как он вытащил за руку девушку, которую звали Ульяной, и вытолкал за дверь, на лестницу, выбросив вслед куртку.

Что он там увидел?

Женщина жалела его, обвиняя во всем себя: так и не смогла родить ему ребенка, не выполнила свой, хоть и не установленный никем, долг перед семьей, перед природой.

Как раз после того случая муж, который уже был в пенсионном возрасте, стал болеть. У него начались проблемы с желудком, появились симптомы внезапной слабости, а однажды женщина заметила, что он начал странно желтеть: кожа на руках, ногах, на лице приобретала цвет разбавленного яичного желтка.

* * *

Тишина. Женщина по имени Марта Богуш по-прежнему сидела в кресле и думала о том, что она все-таки по-своему любит своего Дениса. Несмотря на все неожиданности и не совсем приятные отклонения, потому что все это издержки все того же переходного возраста, не иначе. Она помнила его совсем маленьким, никому не нужным и слабым, болезненным, а потом он незаметно вырос и в последние годы, вспомнила она, ни разу не болел даже гриппом.

Вот только девушка. Когда она появлялась в квартире, женщина почему-то испытывала странный ужас. Хотя, казалось бы, что может быть ужасного в девчушке подросткового возраста? Может, с ее стороны это обычная ревность к Денису, думала Марта Богуш. Если же им нравится быть вместе, пусть дружат. Только, только...

Что тогда муж там, в комнатке, увидел?

Женщина вдруг поднялась с кресла. Вставала она теперь с трудом. Но ведь ей уже за пятьдесят. Тоже переходный возраст, разве что только наоборот. Она подумала о том, что уже давно пора идти на кухню и готовить ужин, но как раз в этот момент дверь комнаты приемного сына открылась, и он вышел оттуда, но не один, а вместе с Ульяной.

Выражение лиц у обоих было довольное и в то же время подозрительно настороженное, словно они там, в комнатушке, пришли к какому-то неведомому ей выводу. Волосы на яйцеподобной, с узким лбом голове Дениса были как всегда расчесаны на ровный пробор, тонкие губы в уголках рта едва заметно кривились, а темные беспокойные глаза смотрели куда-то в сторону.

Зато Ульяна сразу отыскала ее глаза, победно выдержала паузу и тряхнула головой, отбрасывая сальную прядь, потом перевела взгляд на приемыша. Тот сказал: «Уля сегодня никуда не пойдет».

Женщина молча ждала продолжения.

— Она… ну, вообще, останется здесь и будет жить с нами...

(«Вот оно что, — подумала женщина. — Чего-то подобного и надо было ожидать, но ведь это, это...»)

Но Денис прервал ход ее мыслей, добавив едва сдерживая удовольствие:

— Ты же не против, мама?

Женщина молчала. Вдруг, как это часто случается, словно пелена с ее глаз спала, и сознание холодно, будто со стороны, начало оценивать то, что, пожалуй, давно происходило в квартире, в которой она, как до этой минуты тешила

себя надеждой, была хозяйкой. Словно впервые она увидела, как острый нос приемыша ждал, вынюхивал, стараясь вывести ее из себя, и тонко, безнаказанно, заглушить ее стремление к сопротивлению. Ужас уже проснулся в ней и постепенно рос, становясь все сильнее.

— Нет, я, конечно, не против, — сказала Марта Богуш.

(«Лучше так, иначе будет хуже, они же войны хотят».)

Женщине почему-то вспомнились все события последних лет, так или иначе связанные с ее приемным сыном и которые, как она теперь понимала, характеризовали его совсем не так, как ей раньше казалось. Переходный возраст? Но можно ли им оправдать, например, постоянное воровство денег из кошелька? Или затаенную жестокость, которая легко может перерастать в ернический садизм? Кем были его настоящие родители? Живы ли они теперь? Почему они восприняли данную им жизнь как площадку для удовлетворения своих животных инстинктов? И почему именно она должна теперь расплачиваться за это?

Они, ее Денис с Ульяной, пожалуй, не ожидали, что она согласится так быстро — им, как она теперь догадывалась, хотелось покуражиться, оплести ее паутиной заранее заготовленных, двусмысленных слов, в конце концов, исподволь запугать ее, не иначе.

— А, хорошо, хорошо, — закивали они, — значит, не против? Значит, Ульяне можно курить в комнате? Ну, конечно, она будет открывать форточку. Не выходить же ей каждый раз на лестницу?

— Можно, — ответила она.

— И ходить в ванну?

— Можно.

— И одевать время от времени твое пальто? У тебя же их два?

— Можно.

— И?..

— Можно.

Они одолевали легко, совсем легко, но теперь она знала, что если в доме завелась гниль, то именно она и будет верховодить и побеждать — такова логика жизни. Избавиться от нее можно, только выжигая ее огнем или покидая поле боя. Однако же она, несмотря ни на что, навсегда привязана к приемышу и идти ей некуда. Куда, в самом деле, она уйдет? А его, кстати, охраняет закон и он, пожалуй, все давно просчитал. Пройдет еще три года, и он достигнет совершеннолетия. И что тогда? И тогда, если она дотянет до того времени, — что изменится? Тысячи, десятки, сотни тысяч детей страдают по вине родителей, но и тысячи родителей мучаются с теми, кого родили. О чем это говорит, кто ей ответит?

Наконец, удовлетворенные, они ретировались. Два молодых, сильных тела, чуждые всякой морали. И ей против них не выстоять.

Яйцо кукушки требует деликатного обхождения.

Из кухни давно тянуло запахом подгоревшей еды, и женщина по имени Марта Богуш встала с кресла и заторопилась туда, чтобы довести приготовление ужина до конца. Они втроем сядут за стол и поужинают. Она будет приветливо улыбаться, угощать их и предлагать им самые лучшие и вкусные куски.

(«Яйцо подброшено в чужое гнездо, но вот птенец вылупился и начал вовсю проявлять природные инстинкты».) Она готовила ужин и вдруг подумала о том, что ей совсем не хочется есть: желудок в последнее время на все откликался болью. Женщина почувствовала тревогу, ей стало жутко. Марта Богуш подошла к зеркалу и заглянула себе в глаза. На нее смотрела усталая

женщина с почти старушечьим лицом. Кожа на лице была желтая — цвета раздавленного желтка. Такое же лицо в последнее время было у мужа. Страшная мысль вдруг сковала ее сознание, но женщина поспешно отогнала ее.

(«Чтобы выжить, птенцы кукушки делают своеобразную «зачистку» — выбрасывают из гнезда лишних...»)

Нет, все это просто страх и нервы, в ее возрасте — обычная вещь, успокаивала себя женщина. Сейчас она вернется в кухню и приготовит вкусный ужин. На троих.

## Миллиард ударов

Крыса не раз путешествовала на лифтовом канате с этажа на этаж, поскольку дом был старый, и в поисках еды у нее было много конкурентов. Ей перевалило за два года, и она безошибочно чувствовала, что жить оставалось недолго. Сейчас она вцепилась когтями в рельефные выступы тросиков и замерла в ожидании: днем, особенно утром и вечером, лифт двигался вверх-вниз почти непрерывно, замирая разве что ночью. Крыса немного расслабилась, длинный хвост ее свесился вниз, сердце билось ровно — двести шестьсот циклов в минуту.

Наконец в лифт зашли. Человек, как подсказывала ей интуиция, был один. Пассажир нажал кнопку, внутри что-то щелкнуло, загудело, и лифт поехал вниз. Небольшой блок ограничения скорости начал вращаться, стремительно ускоряя обороты: обычное дело, если бы не один незначительный нюанс, который касался непосредственно крысы и непредсказуемо изменил ситуацию. Сказался возраст животного — подвела сила мышц, острота зрения и слуха, да и просто реакция на опасность: хвост неожиданно попал в блок и сразу же намотался на цилиндр. Крыса была мгновенно затянута внутрь и моментально раздавлена. Трос автоматически сбросился.

Лифт остановился.

* * *

Человек по имени Павел Дук торопился. В прихожей, на выходе из квартиры любовницы, он мельком взглянул на себя в зеркало, критически усмехнулся и пригладил волосы. Он был уже не молод, имел лишний вес, но широкие плечи и узкие бедра скрадывали эти не очень существенные, по его мнению, недостатки. В зеркале он увидел ничем не примечательное лицо лысеющего мужчины с прямым носом, серыми глазами и впалыми щеками.

Любовница — женщина лет сорока, дородная, но без явных жировых отложений, темноволосая, с чувственным ртом — набросив халат, вышла проводить его и закрыть дверь. Ее пышная обнаженная грудь выпирала из-под халата, а голова, когда женщина прильнула к нему, доставала ему почти до подбородка. Мужчина вдруг почувствовал, как опять проснулось желание, но заглушил его и торопливо поцеловал женщину на прощание.

— Созвонимся, — сказал он, выходя на лестничную площадку. Это был последний, девятый этаж, и человек по имени Дук поспешил к лифту. Он нажал кнопку вызова, дверь почти сразу открылась — лифт был рядом.

Уже в кабине, отыскивая при слабом свете плафона кнопку первого этажа, он мысленно опять вернулся к тем двум-трем часам, проведенным

в квартире любовницы. Их связь длилась уже несколько лет. Мужчина иной раз задавался вопросом: почему его неудержимо тянет к этой женщине, ведь его жена ни в чем ей не уступает — и красивее, и нежнее. Любовница же иной раз была прямо-таки вульгарной, несдержанно-похотливой, но искренней в своих чувствах и не стыдилась этого. Прокручивая теперь в голове минуты, проведенные с ней в постели, мужчина облизал внезапно пересохшие губы и опять почувствовал, как его исподволь охватывает желание, даже эрекция появилась. «Разве ж эта женщина, если бы он, к примеру, на ней женился, оставалась бы для него все такой же привлекательной? — думал он. — Вполне вероятно, что все могло быть наоборот: он стал бы к ней равнодушен, а законная жена, встреть он ее в то время, превратилась бы во всегда желанную любовницу».

Кабина лифта качнулась и двинулась вниз. Быстротечные мысли между тем вернулись к повседневным заботам: вот он явится домой и примется объяснять жене причину своего опоздания. Потом мужчина вспомнил о служебных обязанностях: с утра надо было согласовать ряд вопросов с базовой фирмой. Человек по имени Павел Дук работал начальником отдела маркетинга медпрепаратов узкого профиля. Вдруг в кабине, прямо под ногами, что-то глухо щелкнуло, и лифт остановился. Мужчина начал беспокойно искать глазами панель и нажимать на кнопки, но безрезультатно. Его неожиданно бросило в жар. Слабая волна пока еще неосознанного страха пробежала по телу.

«Без паники, — приказал себе человек по имени Павел Дук и обвел глазами все четыре стены кабины, а также потолок и пол под ногами. — В конце концов, ничего не случилось, он просто застрял, но через секунду-другую вызовет дежурного диспетчера или еще там кого, и его вызволят. Правда, это произошло с ним впервые, однако же о подобных случаях он знал, даже видел в каком-то комедийном фильме или слышал в юмористических капустниках с участием знаменитых комиков».

Но уже первый, весьма поверхностный осмотр камеры его временного содержания вызвал в душе новую, безотчетную волну страха. Кнопка вызова дежурного диспетчера была вырвана «с мясом», содрана была и табличка с номерами аварийных телефонов.

Мужчина привычно опустил ладонь в карман, где всегда лежал теплый прямоугольник мобильника, и — похолодел. Лицо его покрылось потом.

Мобильника не было. Он предусмотрительно оставил его дома, чтобы жена не докучала. Мало приятного, когда в разгар интимных ласк «труба» вдруг начинает наигрывать призывную мелодию. Так, сейчас надо было, во-первых, не поддаваться панике, а во-вторых, спокойно искать выход. Должен же быть в его ситуации какой-то выход?

«Вентиляция», — подумал он. Ему нужен свежий воздух, потому что неизвестно, сколько времени он просидит в этой коробке, может даже до утра.

Он опять ужаснулся: подростками вентиляция была сплошь забита и зацементирована жвачкой, и мужчина сразу же ощутил острую нехватку кислорода — вот-вот начнется приступ удушья. «Но ведь это всего только внушение, — убеждал он себя, — воздух просачивается через всякие незаметные щели, проникает под дверь, а он в кабине один и ему вполне хватит кислорода».

Человек по имени Павел Дук набрал в легкие как можно больше этого самого воздуха и крикнул:

— А-а-а-а-а!

И опять:

— Помогите!

А потом начал барабанить в стены кабины и в дверь ногами:

— Лифт остановился! Слышите, кто-нибудь?!

И опять уже на выдохе:

— Помогите!

Ответом было молчание. Мужчина замер и прислушался. Тишина. Страх с новой силой накатил на него, и он с отчаянием понял, что если не возьмет себя в руки и не сумеет успокоиться — будет хуже. Тем более, он уже имеет проблемы с сердцем и гипертензию, пусть себе и в начальной стадии, но от этого не менее опасную.

Мужчина нащупал пульс и поднес к глазам часы. В тусклом свете оплавленного спичками и окурками плафона он принялся считать.

Он насчитал почти тридцать циклов, пока секундная стрелка часов пробежала четверть циферблата.

«Почти сто двадцать, — мысленно запаниковал он. — Тахикардия на грани срыва, к тому же затылок сжимает. Давление».

Но он сразу же принялся успокаивать себя: например, у американских астронавтов, когда они спускались в модуле на Луну, а потом выходили из него на поверхность, пульс, как отметили в Центре полетов, был около ста двадцати циклов в минуту. Так это же происходило на Луне, а он находится на Земле, даже неподалеку от своего дома, всего в нескольких остановках. Ну а то, что он застрял в лифте, так это мелочь, достойная разве что смеха. В конце концов, лифтом все время пользуются, люди обнаружат, что кабина не работает, сообщат, кому надо и его освободят.

Мужчина даже деланно усмехнулся и вдруг вспомнил про таблетки от давления, которые в последнее время нет-нет, да и носил в карманах. Он ощупал их: один, второй, третий, но ничего, кроме перочинного ножика и портативного калькулятора, который неизвестно как здесь оказался, не обнаружил. «Видно, таблетки остались в другом пиджаке», — подытожил он, и опять почувствовал, как холодеют спина и ладони.

Сердце билось в прежнем ритме. Человек по имени Павел Дук неожиданно вспомнил известные ему факты, которые теперь почему-то всплыли в памяти. Проведенные расчеты по частоте сердечных сокращений для разных видов животных совпадают с фактическими величинами продолжительности их жизни. Сердца животных за период жизни делают приблизительно одинаковое количество сокращений: в пределах одного миллиарда.

Однако же и человек, как утверждает современная наука, — животное, пусть себе и развитое.

Миллиард ударов.

Чтобы занять чем-нибудь свои мысли и успокоиться, а этого надо было добиться любыми путями, мужчина вытащил калькулятор и принялся подсчитывать: в одной минуте — шестьдесят секунд, что приблизительно соответствует такому же количеству сокращений сердечной мышцы. В шестидесяти минутах содержится три тысячи шестьсот, в сутках — восемьдесят шесть тысяч четыреста, в месяце — два миллиона пятьсот девяносто две тысячи, в году — тридцать один миллион сто четыре тысячи циклов, в шестидесяти годах — ...получалось немногим более миллиарда. Но продолжительность жизни современного человека искусственно увеличивают гигиена и медицина, а раньше люди вообще не жили больше сорока лет, — прикидывал он.

Манипуляции с цифрами, тем не менее, не дали никакого результата. Страх с новой силой охватил его. Мужчина начал бить в стены кабины кула-

ками, а потом и ногами, пока настоящий припадок удушья не остановил его. Он сбросил пиджак и рванул ворот рубахи.

«Клаустрофобия?»

Действительно ли он страдает клаустрофобией? Человек по имени Павел Дук начал лихорадочно перебирать в мыслях прошлое — возможно, с ним уже случалось что-то подобное? На первый взгляд, ничего такого как будто не обнаруживалось. Однако же и ситуации, подобной нынешней, он не мог припомнить. Проверить это не было случая, впрочем... впрочем, вот оно: неожиданно воспоминание тридцатилетней давности услужливо выплыло из глубин памяти. Да, это было давно, в студенческие годы, когда он жил в общежитии. Он привел девушку своего факультета к себе в комнатушку, но кроме него там жили еще трое его однокурсников, и оставлять ее на ночь было никак нельзя. «Комендантская как раз свободна, — дали ему совет, — комендант в отпуске. Только вот замок там трудно открыть, еле ключ подобрали». Но об этом он знал и сам.

Они выпили вина, выкурили по сигарете, и он помог ей снять с себя одежду. Но она вдруг вспомнила, что забыла в его комнате «косметичку».

— Потом заберу, там все равно ничего особенного нет, — сказала она.

— Я принесу, — услужливо предложил он, ощущая надобность сбегать в туалет. Сказать об этом постеснялся, благо причина нашлась сама: сходить за оставленной «косметичкой».

Но дверь не открывалась. Ключ был намертво заблокирован в замке.

И он сразу же почувствовал страх, нахлынувший ниоткуда: комнатка, минуту назад казавшаяся уютным гнездышком, вдруг мгновенно превратилась в опасную западню. Ключ упрямо не поворачивался, руки тряслись, а движения стали суетливыми, как у безумца.

— Да брось ты, — посоветовала ему девушка, — потом откроем, иди ко мне.

Преодолевая ужас, он вернулся в постель, разделся, но желание, снедавшее его минуту назад, — пропало. Вместо него с новой силой навалился страх.

Тогда он вскочил и, не обращая ни на что внимания — ни на свои руки, ни на язвительную улыбку девушки, ни на поднятый им излишний шум, — начал выбивать дверь.

И как только она открылась, страх исчез, будто его и не было.

Теперь мужчина уже смутно помнил, чем закончилось любовное приключение. Скорее всего, а, несомненно, так оно и было, девушка сразу ушла, а он вернулся к себе, упал на кровать и забылся тяжелым сном.

«Ужас».

Человек по имени Павел Дук почувствовал, что ему становится по-настоящему плохо. Руки похолодели, а ноги утратили способность держать вес тела, и он, спиной по стене, съехал вниз, на пол.

«Опасность».

Степень этой опасности он осознал только сейчас. Действительно, он не молод, и как все люди в его возрасте, имеет изрядный «букет» болезней, некоторые уже явственно проявились, другие находятся в зародышевом состоянии. Многие его ровесники внезапно умирают, к удивлению знакомых и родственников. Умереть не сложно. Что такое существование человека? Как он когда-то вычитал, а теперь вспомнил, тонкая красная нить, которая сразу рвется, если сила жизни возобладает. А красная потому, что живая: красный цвет — цвет крови.

В конце концов, в его положении это не что иное, как пустые разглагольствования, — оборвал он себя. Когда дверь этой западни откроется, то его,

вполне возможно, найдут на грязном, пахнущем мочой, заплеванном полу, в блевотине, с синим обезображенным лицом, под стенами, испещренными гнусными словами, отвратительными в своей предельной мерзости — можно только представить, какие психические отклонения водили рукой тех, кто это писал. Вызовут «скорую помощь», потом жену, подключат вечно всем недовольных милиционеров-тугодумов. Интересно, что подумает жена, когда обнаружит его тело в этом районе, в незнакомом доме — месте, никогда ранее им не упоминавшемся? Взрослые дети? Впрочем, тогда ему будет на все это глубоко наплевать. Пожалуй, что так.

Новая волна страха накатила на него.

— Помогите! — опять закричал он что есть силы.

Молчание.

Безусловно, он теперь как раз в том возрасте, когда его сердце уже выработало свой миллиард сокращений, — думал мужчина, — а это значит, что надо подготовиться и встретить неизбежное без лишних волнений и жалоб на судьбу. Разве смерть, всегда находящаяся, как он однажды вычитал у Кастанеды, рядом с нами, за спиной с левой стороны, на расстоянии метров полутора, может проявить к кому-нибудь интерес, сочувствие, милость, еще какие-нибудь чувства, кроме безразличия и враждебности? Конечно, нет. Однако же человеку, если он осмотрителен и не лишен интуиции, стоило бы не сетовать на эту извечную враждебность, не бояться, не враждовать в ответ, а наоборот, попытаться подружиться с ней и придти к согласию.

«Не бояться?»

Мужчина готов был поклясться, что его теперешнее состояние как раз не является боязнью смерти. «Здесь что-то совсем иное, необъяснимое, возможно, какая-то патология, годами дремавшая в нем, не имевшая случая проявиться», — лихорадочно рассуждал он. Боятся же люди темноты, замкнутого пространства, или, наоборот, бескрайнего и открытого, молний, пауков, мышей, громких звуков, вида крови, глубины, змей, да мало ли еще чего. «Может, и он из этой категории? Фобиями страдают почти все. Однако же нет, здесь не совсем так, — пытался он анализировать и доказывать самому себе. — Чего именно он боится? Замкнутого пространства? И только? Этот фактор, несомненно, присутствует, но вряд ли он имеет существенное значение, нет — здесь не то. Тогда что?»

Ответ был на первый взгляд простым. Он боится погибнуть вот так по-глупому, нелепо, и не достичь своей цели. У каждого человека — своя цель. Можно разбогатеть, удачно жениться, или, как говорят в простонародье, высоко взлететь, вырастить и хорошо устроить детей, но при всем при том не быть счастливым в этом конформистском мире. Счастливым можно быть только тогда, когда достигнешь цели. «А он достиг своей цели? Вообще, какая она у него? — думал человек по имени Павел Дук, перебирая мысленно отдельные факты жизни, какие-то несущественные усилия, слабые попытки, мелкие стремления. — Доволен ли он своим нынешним положением. И чего конкретно он хотел, считая от сознательного возраста — приблизительно двадцати лет — до настоящего времени? Эти желания осуществились?»

И была ли вообще у него цель?

Мужчина припоминал разве что отдельные моменты чего-то аморфного, бесформенного. Сначала его целью было стать студентом, потом окончить институт, и он этого добился, несмотря на нищету, голод, одиночество. Потом, с трудом перенося духоту системы, решил бежать за границу, но бегство в результате предательства тех немногих кому доверял, не состоялось.

Его следующей целью была любовь, но и здесь его ждало обычное непонимание, а потом измена. Наконец он решил, что его цель после брака с женщиной, которая доверилась ему, — достичь определенного достатка, воспитать детей, но вот дети выросли, а он, как говорится, должен уйти со сцены, ибо биологический барьер уже преодолен, и природе он, отработав свой миллиард циклов сердца, больше не нужен.

Неожиданно мужчина ужаснулся. У него не было цели. «Но я платил добром тем, кто мне доверялся, — мысленно оправдывался он. — И сама жизнь — разве она имеет цель?»

Вдруг свет в оплавленном от спичек и окурков плафоне слабо замигал и погас.

Мужчина оказался в темноте. Мрак значительно ухудшил его состояние, но заставил настойчиво искать пути к избавлению. «Если мне уже совсем хана, то и бояться нечего», — убеждал он себя. Самое опасное, что сейчас напрямую угрожает ему, это высокое давление и тахикардия. Обе причины не представляют опасности для молодого организма, но для него это может окончиться тяжелым сердечным приступом, и помощи ему ждать неоткуда. Когда его, в конце концов, найдут и вызволят из этой душной клетки? Возможно, он вынужден будет находиться в ней гораздо дольше, чем рассчитывает. Как и сколько времени будет тянуться это «дольше»?

«Однако же, — рассуждал он, — надо относиться к любой беде, а в его случае к маленькой разновидности техногенной катастрофы, с холодным спокойствием. Мы давно живем в мире, где личная безопасность стала иллюзией. И мир этот настолько сложен, что катастрофы, которые он порождает, невозможно предупредить только по одной причине: их абсолютной непредсказуемости».

Ему вспомнились события совсем недавнего прошлого, о которых сообщалось в прессе. Например, в Стокгольме, когда там случился пожар в туннеле, где был проложен электрический кабель, места, снабженные электросистемами, сразу оказались отрезанными от цивилизации. Перестали работать водопровод и проводная телефонная сеть, от перегрузки вышла из строя и сотовая связь, а на улицах с наступлением темноты сразу появился криминал. Или когда от удара молнии произошел крупнейший сбой в системе всей мировой энергетики и больше суток такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Оттава, Детройт, Монреаль и другие города, оставались без света. Остановились поезда в метро, лифты небоскребов, погасли светофоры, в краны не поступала вода.

Как чувствовали себя тогда некоторые люди — его собратья по несчастью? Заблокированные в вагонах подземки, в лифтах, в обстановке неопределенности и страха?

Руки его по-прежнему тряслись, когда он снова начал лихорадочно ощупывать карманы. Носовой платок, расческа, открытая пачка с контрацептивами, блокнот, шариковая ручка, перочинный ножик...

«Перочинный ножик?»

В темноте мужчина вытащил маленький, почти декоративный складной ножик, который носил на всякий случай, как это делает большинство людей: им можно заточить карандаш, порезать хлеб или бутерброд, откупорить бутылку да мало ли еще что. Он вытянул лезвие из паза и потрогал пальцем. Лезвие было острое, он сам однажды в свободное время наточил его.

Сердце по-прежнему колотилось в груди.

Миллиард ударов. За ним уже край...

На запястье левой руки он нащупал выпуклый бугорок, где бился пульс, прижал к нему лезвие и, стиснув зубы, провел по вене. Из ранки сразу брызнула и потекла кровь. «Кровопускание — самое простое и эффективное средство от высокого давления и лучшее предупреждение апоплексического удара, если нет больше никаких других средств, — вспомнил мужчина. — Основное средство, которым, кстати, пользовались в древности лекари. Разве что применяли еще пиявки…»

Теплым ручейком кровь струилась из ранки на руке. Может, впервые за последнее время человек по имени Павел Дук почувствовал, что к нему возвращается надежда. Сколько он уже здесь сидит, во тьме и скрежете зубовном? Час, два, пять? Но теперь он способен перехитрить надменную судьбу, которая обошлась с ним так немилосердно.

В темноте он не мог разглядеть циферблат, но безошибочно определил, что пульс замедлился, и ему стало немного лучше. Правда, подступили непривычные апатия и слабость, но впервые начал отступать страх.

«Страх. Вот причина. Вот почему смерть, которая всегда у нас за спиной на расстоянии вытянутой руки, приближается вплотную и по-дружески хлопает вас по плечу. Пора, — говорит она. — Не надо бояться».

Мужчина хотел было встать на ноги, но передумал: зачем напрасно тратить силы, когда их и так мало. Вдруг злость заклокотала в нем, но прошла очень быстро. И правда — на кого ему теперь злиться? На устаревшие технологии, на изношенную технику, на людей, которые не могут дать ему гарантию безопасности даже на примитивном, бытовом уровне, даже в этом похожем на гроб лифте, на их равнодушие, эгоцентризм?

«Но ведь так было и будет до скончания света». Человек всегда остается одиноким перед роковыми силами природы, перед непостижимым Космосом. И что он сам в конце концов значит, на что годен, если ему отмерен всего лишь миллиард ударов сердца?

Теплой тоненькой струйкой кровь из вены стекала по его ладони на пол. Другой рукой мужчина вытащил платок и держал его наготове, чтобы в нужный момент пережать ранку. Он чувствовал, что ему становится легче. Лучше потерять немного крови, чем жизнь. Ему вспомнилось, как он однажды сдавал кровь на станции переливания, и как после этого в тот же день работал и ничего плохого с ним не случилось ни в тот день, ни на следующий, ни позже.

Ему теперь значительно лучше, даже в сон стало клонить, скоро его найдут, он вернется домой, и, вполне возможно, будет вспоминать обо всем, что с ним случилось, с улыбкой. Разве что коллегам расскажет всю правду о своем приключении, однако больше никогда не будет пользоваться лифтами в старых, обветшалых домах. Нет, никогда не будет.

Мысли мужчины начинали путаться. Ему вдруг пригрезилось, что он идет по лугу, покрытому цветами, нестерпимо терпкий аромат которых наполняет его легкие. Луг этот спускается вниз, ведет к реке. Он уже видит эту реку, удивительно спокойную, неторопливую — ни одной волны, и вдали другой ее берег, но на тот берег ему и не надо, хорошо и здесь, в тени, среди цветов и тишины.

Мужчина встрепенулся. «Опасно впадать в сон, — подумал он. — Тем более, что кровь, пожалуй, еще течет из раны, а он до сих пор не перевязал ее платком».

Он пошевелился и осторожно перевязал тряпочкой запястье. Хорошо, что в голову ему пришла такая удачная мысль, и он так хорошо все сделал: легкое кровопускание заменило искусственные лекарства, которые

еще неизвестно помогли бы ему или нет. А так — все отлично, давление снизилось, он спокоен, вот-вот его вызволят из этой клетки. И самое главное — исчез страх.

Человек по имени Павел Дук опять задремал. Но больше он не видел себя на речном берегу, утопающем в цветах — ему вспомнилось детство, школьный класс, где он сидел за партой, а рядом с ним Кривоножка, которую перевели в их класс из другой школы, и которая хромала на одну ногу, за что моментально получила соответствующее прозвище. Кривоножка наклонилась к нему и шептала на ухо, просила, чтобы он не прогонял ее со своей парты — ей неприятно и горько. Между ними лежала открытая книга с каким-то текстом, он начал читать, но очнулся.

Мужчина вдруг понял: этот сон из далекого прошлого вовсе не случаен. Он тогда в присутствии всего класса во всеуслышание заявил, что отказывается сидеть с Кривоножкой за одной партой. Она пересела на другую парту, около двери, которая у них считалась самой непрестижной, и сидела одна. Все бы ничего, но через некоторое время Кривоножка наглоталась барбитуратов и ее не смогли откачать.

Он не отплатил добром тому, кто ему доверился. Мужчина мысленно пытался убедить себя: девушка сделала это вовсе не потому, что он прогнал ее. Но тогда — почему? А если именно это стало последней каплей, и тонкая нить не выдержала напора жизненных сил и порвалась?

Неожиданно он почувствовал, что лифт тронулся и поплыл вниз. «Ну, вот и дождался, — мелькнула мысль. — Минута, и он будет свободен».

Действительно, кабина, так долго бывшая для него местом заключения, спускалась вниз, пока наконец не остановилась. Сработали механизмы и дверь открылась. В лицо ему ударил свет. Он начал вставать с колен, ему было трудно: тело налилось неимоверной слабостью, ноги дрожали, но он сделал усилие, и вот он уже поднялся и сделал шаг вперед. Мужчина был несколько удивлен, что никто его не встречает, нет никаких спасателей, аварийщиков или еще кого-нибудь. Вообще нет никого, только свет впереди, и он с радостной улыбкой устремился к нему навстречу.

* * *

— Здесь, пожалуй, все прозрачно, — сказал судебно-медицинский эксперт, обращаясь к оперативнику в гражданском и двум милиционерам в форме, которые выносили тело и накрывали его целлофаном, — смешанная экзогенно-циркуляторная подострая гипоксия. Редко, но случается, особенно при ишемической болезни, к тому же боязнь замкнутого пространства. Что интересно, в аналогичных случаях люди ведут себя по-разному: одни спокойно дожидаются, когда их освободят, даже спят, если пьяные, иногда, заметьте, что-то читают, иногда злятся на лифтеров, а одна женщина, помнится, за несколько часов поседела, мужчина в годах свихнулся и его сразу отправили в «дурку». Неясно одно: зачем воспринимать это все так драматично и резать себе вены?

На улице с утра было сыро и пасмурно. Шел дождь. Капли его попадали и под козырек подъезда, где стояли несколько человек в ожидании спецмашины более известной как «труповоз».

## Притча о жуке-чернотелке

Молодой следователь по фамилии Локас открыл дверь в свой кабинет и сразу же распахнул форточку: в противоположном крыле здания находился следственный изолятор, от чего в помещении не выветривался характерный запах. Следователь Локас был довольно высоким, светловолосым, с чертами лица, характерными для северных районов: серые глаза, прямой нос и пухлые губы подростка.

Он вытащил из сейфа и полистал папку с очередным делом, которое в последнее время вел, и наконец попросил привести подследственного.

Вскоре того ввели. Следователь Локас видел его уже третий раз и отметил, что внешне тот изменился не в лучшую сторону: под глазами арестованного появились темные круги, а худое горбоносое лицо еще больше осунулось и заострилось. Подследственный, тем не менее, не прятал глаз и был внешне достаточно спокоен.

Следователь Локас показал арестованному, куда сесть — впрочем, тот и сам знал это — и произнес привычно-формальную фразу:

— Вы — гражданин Крат? Да?

— Да.

— Как я вам уже говорил ранее, вы обвиняетесь в убийстве своей невесты и ее сожителя, гражданина другой республики — потому и арестованы. Вы признаетесь в преступлении? Расскажите, как все было, и мы не будем играть в прятки, проведем следственный эксперимент, оформим все как есть и передадим дело в суд. Ваше искреннее, чистосердечное признание будет учтено и смягчит приговор.

Подследственный Крат внимательно выслушал следователя. Несколько долгих минут он обдумывал ответ, а потом сказал:

— Я по-своему расскажу вам, как все якобы было, но заметьте — якобы. Может, было, а может, и нет. А насчет того, что я убийца, то вам еще надо это доказать.

— Докажем, — сказал следователь Локас.

— Старайтесь! — подследственный Крат красноречиво пожал плечами.

— Ну и как же, по-вашему, все случилось? — немного помолчав, спросил следователь Локас.

Подследственный саркастически усмехнулся.

— Вы, конечно, знаете о том, что такое промежуточный хозяин? — неожиданно спросил он.

Следователь Локас недоуменно поднял брови.

— Здесь вопросы задаю я, — уточнил он, но с ноткой удивления.

— Согласен, согласен.

— Однако же продолжайте. Что вы подразумеваете под этими словами — «промежуточный хозяин»?

— Есть такая наука: биология. Так вот, один из многочисленных ее разделов утверждает: паразиты не только приспособились использовать тело хозяина как источник питания и благополучия, но и овладели техникой изменения стереотипа его тела, поведения в своих корыстных интересах.

— Ну и что? — спросил следователь Локас.

— Так вот теперь послушайте короткую притчу на конкретном, так сказать, примере.

— А ближе к делу нельзя? — поинтересовался следователь.

— Куда уж ближе! Слушайте же внимательно. Жил-был один ну, скажем, жук-чернотелка. Кстати, у нас (я имею в виду нашу страну) их около

двадцати видов. Пожалуй, и вы их часто встречали, да только не обращали особого внимания: где-нибудь под колодой, в погребе или на огороде. Такой черный, блестящий жук-работяга. Так вот, наш жук-чернотелка родился и вырос в привычной для себя среде. Он рано лишился родителей и сразу стал самостоятельным. Жизнь, между тем, не очень веселая вещь, хотя некоторые счастливчики утверждают, что главное состоит в том, чтобы… быть. А если наоборот?

— Что наоборот? — вмешался следователь Локас. — Несчастье в том, чтобы быть или счастье в том, чтобы не быть?

— Ваш вопрос не лишен смысла. Впрочем, полагаю, что тут — что в лоб, что по лбу — все едино. Однако же понаблюдаем за нашим героем, жуком-чернотелкой. Это был работяга, сообразительный, старательный, умевший переждать опасность: не слишком высовывался днем, чтобы не склевала какая птица, вот только не любил большой воды. Однажды он столкнулся с личинкой, которую, будучи искренним идеалистом, приблизил к себе, не зная, что это личинка червя-волосатика. Жук-чернотелка продолжал свои обычные занятия, а в это время в нем, в его теле пробудилась иная, хищная жизнь. Личинка начала постепенно расти и развиваться, пользуясь жизненной энергией и соками своего хозяина. Иногда жук-чернотелка смутно ощущал определенный дискомфорт, безотчетную тревогу, слабость, которая все усиливалась, но продолжал изо всех сил добывать еду и старался больше отдыхать, чтобы восстанавливать силы. Жук-чернотелка боялся воды: это было заложено в нем генами его многочисленных предшественников. Влага в тенистом местечке, роса на траве целиком удовлетворяли его потребности. Но время шло и нашего героя все больше охватывало смутное желание найти водоем. И вот жук-чернотелка, которого подгонял какой-то глубоко таящийся в его душе древний инстинкт, однажды отправляется в путь. Много преград преодолевает он: избегает птиц, у которых самое острое зрение, удачно обходит ямы и камни, ему удается увернуться от ног людей, от колес машин и конских копыт, которые в любую минуту могли лишить его жизни, и, наконец, достигает большой воды. Жук в ужасе замирает перед ней. Что-то в нем сопротивляется тому, что должно случиться, но в то же время нечто, что выше желаний и рассуждений, толкает его вперед. Чувствуя этот нетерпеливый зов, жук-чернотелка по стеблю спускается на дно водоема: ему невмоготу без воздуха, вода сжимает его со всех сторон, давит сверху, но он упрямо ползет вниз, пока не достигает дна. Смертельная тоска вдруг охватывает его. Вот тут из его тела и выходит волосатик: до двадцати пяти сантиметров в длину, тонкий, вертлявый. Он в своей стихии и с легкостью оставляет своего промежуточного хозяина. А жук-чернотелка, наивный трудоголик, который всю свою жизнь прожил ради благополучия врага, сразу погибает.

— Поучительная притча, — сказал следователь Локас. — Вы когда-то учились на библиотечном факультете. Красиво рассказали. Ну и что из этого?

Подследственный Крат бросил на него мрачный взгляд.

— Иногда случается так, что неплохой, искренний и бесхитростный человек жертвует своей жизнью ради циничного подлеца, даже не подозревая об этом. Такими жертвами, к слову сказать, могут быть не только жуки, животные, но и люди, и даже целые народы. Но, в конце концов, это мой вывод, так сказать, доморощенный.

Оба умолкли. Следователь Локас постукивал пальцами по столу, обдумывая услышанное.

— Я с интересом вас послушал, и у меня хватает мозгов, чтобы въехать во всю эту вашу аллегорию. А теперь, возвращаясь от жука к нашим бара-

нам, послушайте мою версию того, как все произошло, — вдруг проронил он, — и я имею достаточно оснований утверждать, что она единственная и правильная.

Подследственный Крат поднял голову и насторожился.

— Так вот, — продолжал следователь, — несколько лет назад вы познакомились с вашей нареченной. Вы влюбились в нее. Но у вас не было материальной базы, проще говоря, денег, чтобы начать совместную жизнь. А тем временем ваша невеста, мягко и осторожно, начала склонять вас к тому, чтобы вы должным образом обеспечили себя и ее: приобрели то, что имеют другие успешные люди — квартиру в центре города, автомобиль, дачу на берегу водоема. Вот только как? И вы, человек, который очень не любит большой воды (да или нет?) — бьюсь об заклад, что да, завербовались в плавание. Плавая в далеких морях, вы получали неплохие на то время деньги. Приблизительно в это же время умерла ваша мать и вы, взяв краткосрочный отпуск, продали ее квартиру и довольно выгодно часть денег вы потратили на новую квартиру в центре, оформили ее на вашу невесту, вы ведь безмерно доверяли ей, остальное оставили ей же и опять ушли в плавание. Все свои заработки вы высылали нареченной. Но вот вы, наконец, вернулись. Только на месяц раньше. Наверно, вы ощущали что-то неосознанное, какую-то опасность, угрозу. Разве не так? Вы ведь даже не сообщили своей невесте о том, что возвращаетесь домой? Хотели сделать ей приятный сюрприз?

Но вот вы дома. Утро. Вы заходите в подъезд, поднимаетесь по лестнице. Ключ у вас. Вы открываете дверь и тихонько входите. То, что вы видите, заставляет вас насторожиться. Повсюду мужская одежда вперемешку с дамской. Чемоданы, сумки. На столе — билеты на самолет. Здесь же и документы. Его зовут Ашот. Квартира уже продана, завтра они выселяются и вылетают к нему на родину. Вы по-прежнему беззвучно идете в спальню, приоткрываете дверь и видите в постели обоих. Они спят. Тот, кого зовут Ашотом — низкорослый, смазливый, весь заросший черной щетиной, вам даже становится почему-то обидно и гадко. Вы отступаете на кухню и возвращаетесь оттуда с ножом. Дальше уже банально: следует разборка, а потом и ее последствия. В армии вы научились отлично владеть холодным оружием, нож и в плавании был для вас основным инструментом. Я прав? Отвечайте!

Следователь Локас умолк в ожидании.

— У меня алиби. Я вернулся значительно позже.

— Вот как? А если вас кто-то видел именно в тот день?

— Не берите на понт, — сказал подследственный Крат, но с едва уловимой ноткой тревоги. — У вас, кстати, буйная фантазия.

— Я даю вам минуту, — потребовал следователь Локас. — Начнем говорить правду?

Он уставился на заключенного и умолк в ожидании.

— А вот вы — вы хотели бы прожить свою единственную жизнь, а запасной ведь нет, в качестве жука-чернотелки? — вместо ответа спросил подследственный Крат.

— Хотя я и не вправе отвечать на ваши вопросы, все-таки я отвечу. Конечно же, нет. Но вы виноваты не в этом, а в том, что нарушили закон.

— Докажите.

— И весьма скоро. Но я даю вам шанс.

— Это вы о чистосердечном признании? Нет, гражданин начальник, на лоха вы меня не разведете.

— Что ж, уговаривать — не мое дело. До встречи.

— Прощайте.

Следователь Локас нажал кнопку, и подследственного увели в камеру.

Оставшись в одиночестве, следователь Локас долго сидел за столом, время от времени отвечал на телефонные звонки и думал. В конце концов, он впервые оказался перед дилеммой: снизить ценность жизни человека, только что сидевшего перед ним, почти до нуля, или наоборот, дать ему надежду. Жук-чернотелка. Следователь вдруг представил себя в такой же ситуации и ощутил неприятную тревогу в душе и неуверенность. Он, как и его подследственный, тоже был молод, встречался с девушкой и вскоре тоже собирался жениться. Но, размышлял он, можно ли быть уверенным в том, что так шатко и ненадежно в окружающей реальности, которая тоже весьма относительна, как и мораль?

Следователь Локас открыл сейф и вытащил дополнительную документацию к делу временно задержанного Крата — нашел и положил перед собой то, что до сих пор придерживал в качестве основного доказательства: письменное свидетельство одного из соседей невесты подследственного Крата, несколько предложений на одной странице. Этими несколькими строками старый пенсионер вдребезги разбивал алиби Крата. Он утверждал, что видел Крата в подъезде как раз в день убийства, хотя последний упорно настаивал на том, что появился в городе на несколько дней позже. Это свидетельство, которое лежало теперь на столе, и было той козырной картой, которая могла или уничтожить его подследственного, или наоборот, освободить, если не дать ему хода.

Следователь Локас опять перечитал бумагу. Как раз сутки назад у старика, который свидетельствовал против подследственного Крата, случился инсульт. Парализованный, он теперь лежал в больнице, и многочисленная его родня, скорее всего, готовилась к неизбежному. Он уже ничего не сумеет сказать — прикидывал следователь Локас: ни подтвердить, ни опровергнуть. Только эта его бумажка, пожалуй, сможет.

Следователь Локас думал. Бывшая невеста Крата и ее сожитель — мертвы. Их уже не оживить. Даже если засудить этого Крата по максимуму. Что с того, если он, Крат, либо погибнет на зоне, либо лет через десять-пятнадцать вернется старым инвалидом с туберкулезом в последней стадии? С другой стороны, что хорошего в том, если на нем, следователе, глухарем повиснет нераскрытое дело? Тогда арестованного Крата надо будет вскоре освободить в связи с недоказанностью. А как же закон? Жук-чернотелка…

Следователь Локас вытащил из пачки сигарету, выкурил ее до половины, бросил в пепельницу, а потом, поколебавшись, сунул туда же бумагу старика и чиркнул зажигалкой.

«Жизнь неподсудна», — вдруг вспомнилось ему.

***Перевод с белорусского Ирины КОЧЕТКОВОЙ.***





АНТОН ЕВСЕЕНКО

# *Песня соловья*

### Спасительный круг

Я в море жизненном, ребята,
Не помню, чтобы унывал.
И вот опять меня куда-то
Несет любви девятый вал.

И вам пишу я не для рифмы —
На сердце вот моя рука,
Что в море жизненном есть рифы,
Но нет нигде материка.

А кто же тучи все разгонит
И крикнет радостно — лови!
И бросит мне не треугольник,
А круг спасительный любви!

### Песня соловья

И поцелуй, и лунный ореол
Взял соловей и в песню перевел.
Слова любви понятны соловью:
Я вас люблю, же тэм и ай лав ю.

Давай, родной, озвучивай интим,
Когда от счастья к небу мы летим.
О милый птах, о звонкий чародей,
До слез волнуешь ты всегда людей.

* * *

Хожу между селеньями,
Хожу часами поздними.
Спасибо же, Вселенная,
Что я осыпан звездами.
А ночью звезды катятся
На травы непримятые.
Спасибо вам, акации,
За ночи ароматные.

* * *

Солнце клонится на запад,
Травы пышные растут,
А цветущей липы запах
Слышен даже за версту.

А под липами не душно,
Здесь всегда найдете вы
Кислородную подушку
И перину из травы.

## Памяти Юрия Сапожкова

Заплакал редактор, читавший мой стих,
От строчек бесхитростных, строчек простых.
Совсем незнакомый, чужой человек
Он стал побратимом души мне навек.

В журнале его телефон я нашел.
— Редактора нет. — А надолго ушел?
— Он умер, — сказал телефонный звонок.
От слез теперь я удержаться не мог.

Он просто ушел из телесных тенет,
Коль души бессмертны и смерти той нет.
Родная душа и родной человек,
Он стал побратимом души мне навек.





ДЕНИС БУКА

# *Вот и послала судьба тебя мне*

## Безрассудный умник

Тают иллюзии, словно глазурь —
Сладкая ложь на черствеющей булке.
Опыт похитил блаженную дурь —
Взял и ограбил, как тать в переулке!

Чем пробавляться я буду теперь? —
Трезвый, как черт, рассудительный, зрячий...
Подлинно вот уж потеря потерь,
Гибель спасительных грез — не иначе!

К небу взмолился: «Погибну в вине,
Если слепой не поманишь надеждой!»
Вот и послала судьба тебя мне,
Чтобы в любви я остался невеждой.

* * *

Мечты меня уносят далеко —
За рваный край грохочущей столицы,
Где спелой рожью поле колосится,
Где мысль парит и дышится легко.

Мечты меня уносят высоко —
Туда, где не препятствуют границы
Душе в любую даль переселиться,
Где воздух чист и небо широко.

В окно гляжу: бурливое движенье
На улицах — но как они пусты!
Сижу весь день в постылом заточенье,

Унылый раб житейской суеты...
Одно-единственное утешенье,
Что мой прелестный надзиратель — ты!

## Poeta famelicus*

Русские рифмы,
        скользкие рыбы,
вы пошершавей
        быть не могли бы!
Голой рукою вас —
        хвать!.. Только жалко,
не насыщает
        эта рыбалка.

* * *

Пульсируя, течет
        пространство в бесконечность.
Все новое цветет,
        соскальзывая в вечность.
Лишь Истина вовек
        проста и неизменна,
Прекрасен человек,
        Природа совершенна.



* Голодный поэт (лат.)



ЮЛИЯ ЛОГВИН

# *Утро субботы*

* * *

Необъяснимая тоска...
Ноябрь. Холодно. Не ново.
Все будет, знаю. Но пока
Я почему-то не готова
Махнуть рукой,
За шагом шаг
Ступать уверенно —
Простите.
Все серо, сыро — как-то так,
Ноябрь нынче мой сожитель.

Бредут безрадостные дни:
Чем глубже в жизнь,
Тем счастье реже...
И все сложней искоренить
Тупую боль ошибок прежних.

И все внимательней к друзьям,
Все настороженней — к знакомым,
И все дороже фотохлам,
И все сильнее тяга к дому...

Все чаще тянется рука
Кому-то написать: любимый.
Необъяснимая тоска,
Пожалуй, все же объяснима...

* * *

И я его как-то, знаешь ли, не особенно,
И он обо мне — когда уже много выпито...
Такое вот непонятное мы пособие:
С картинками, только, знаешь ли, без эпитетов.

И вроде бы это даже по-настоящему,
И нет между нами выдуманных условностей,

Мы смотрим одну ерунду, но по разным ящикам,
Звонок — замираем оба в полуготовности.

«Не он». «Не она». А лучше бы. Может, в пятницу?
Как раз сочинится пара незрелых опусов,
И он отвлечется, может, от этих, глянцевых,
И скажет, что так соскучился, нужным голосом.

...И утро субботы — нежное и ленивое:
— Тебе с молоком? И сахара много, вроде бы?
И есть ли сейчас хоть что-то альтернативнее,
Ну, кроме, конечно, матери или Родины...

* * *

Здравствуйте Вам, не сумевшим себя уберечь от соблазна!
Здравствуйте Вам, так бессовестно предавшим верных людей!
Можете клясться, что это уже не случится ни разу,
Только напрасно — ошибки хранятся в истории дней...

Здравствуйте Вам, оступившимся в пропасть, но спасшимся — чудом!
Здравствуйте Вам, заблудившимся в серости и пустоте!
Можно забыть, но другие — увы — не забудут!
Глупо твердить, что того, что случилось, никто не хотел...

Здравствуйте Вам, затерявшимся путникам в улицах темных!
Здравствуйте Вам, отыскавшим случайно спасительный свет!
Можно прожить, не почувствовав горечь ошибок свершенных...
Здравствуйте Вам, и, надеюсь, прощайте на тысячу лет...

* * *

Я тоже чья-нибудь мечта.
И не иначе.
И кто-то ждет меня давно,
И даже плачет.
Я чьи-то сны, и чей-то бред,
И мысли чьи-то.
И чей-то день одной лишь мной
Насквозь пропитан.
Я чье-то счастье. Чья-то боль.
И лучик света.
Я чья-то самая.
Любовь.
Я верю в это...





ИГНАТИЙ ЯЦКОВСКИЙ

# *Повесть моего времени, или Литовские приключения*

## Вступление

Уже минуло почти сорок лет с того времени, когда происходили основные события, описанные в этом произведении, а иные материалы, использованные здесь, еще более давние.

Это объяснение я считаю необходимым для того, чтобы убедить читателей, что современная эпоха не имеет ничего общего с нашим произведением.

Автор не возражает, что те же самые материалы в иных руках могли бы приобрести совсем иное содержание; ему, однако же, казалось, что форма романа [определение Яцковского — прим. перев.] может быть более интересной, и потому он факты и героев, связанных не так между собой, как с описанной эпохой, соединил в форме романа.

Суждение автора про людей, которые когда-то играли значительную роль, несомненно, отличается от того, как они представлены в биографиях, но полностью соответствует репутации, которую они оставили после себя среди близких соседей, согласно с теми взглядами, которыми они руководствовались в жизни, а факты, очень скрупулезно представленные, позволяют каждому оценить приговор, на который не влияли ни поклеп, ни лесть.

Название книжки, с которым авторы имеют столько хлопот, может, и неудачное, но «Фонарь чернокнижника» уже забрал Крашевский, а «Повесть моего времени» — первое, что пришло в голову, и автору казалось, оно создало более широкое поле для демонстрации публике того, что еще не было описано, но находится в близком родстве с книгами, которые хорошо читаются без внимания на титул, ибо одновременно и учат, и развлекают, символом которых может быть: «Rivendo dicere verum»[1].

Названия разделов показывают дух этой книги, а кто ее один раз прочитает, независимо от того, что впечатления у него будут разные, согласится с ними.

Автор не имеет амбиций спорить с известными критиками, ибо — их оценка будет положительной, или отрицательной — книжка напечатана и уже не изменится, и верно только то, что ее может читать публика любого возраста и положения без угрозы быть обиженной какой-нибудь мыслью.

Кто же написал эту книгу? Это несущественно. Тот, кто знает местность и детали, описанные здесь, узнает автора, и гарантий правдивости ему не нужно; для тех, кто подробностей не знает, имя автора не было бы порукой. Для них лучше всего отозваться словами Красицкого:

Winiem nagany, kto zmyśla zuchwale,
Przeczytaj, osądź, nie pochwalisz — spalę[2].

## Раздел I

## Войские

В Новогрудском повете, в Литве, где я провел лучшие годы своей молодости, жили неподалеку Войские, шляхта из антенатов[3], наследники имения небольшого, но хорошо обустроенного и прибыльного, потому как расходы оба хозяина умели разумно ограничить как без досадной для слуг экономии, так и без ненужной чрезмерности. Сами они были никому не должны, а когда после совместного совещания и одалживали на короткий срок небольшую сумму соседу, который об этом просил, так расписок не брали, потому что пан Войский говорил следующее: «Отдашь, сосед, так хорошо, а если не отдашь, так достаточно мне будет наказания, что потеряю твою дружбу; зачем еще держать ту бумагу, которая бы могла меня в недобрую минуту соблазнить на процесс, который беспокоит разум и опустошает карман».

По этой причине спекулянты тоже не могли к нему подступиться: ни владение, которое предлагалось в залог, ни обещанные большие проценты не производили на Войского никакого впечатления, потому что он доверял сознательности, а не имуществу своих должников. А когда собирался чистоган, который нужно было где-то держать, то он как о большой милости просил более состоятельных своих приятелей, чтобы те приняли его, довольствуясь половиной законного процента и долговой распиской, что такая-то и такая-то сумма принята на сохранение.

Бывали у пана Войского временами и свои капризы. Однажды расточительный сын каштеляна (прежнего друга Войского), наследник значительного имения по отцу, который вернулся из-за границы и довел за короткое время свои дела до такого состояния, что уже не мог получить нигде денег и кредита, надумал впервые нанести визит Войскому. Напомнив про своего покойного отца, который был некогда в дружеских отношениях с Войским, он наконец открыл истинную цель своего посещения признанием, что его интересы требуют кредита, и что он, вместо того, чтобы отправиться за ним куда-то в другое место, счел за лучшее напрямую обратиться к бывшему приятелю своего отца, желая скорее ему быть благодарным за помощь, чем кому-либо другому предоставить эту гордость.

— С превеликим удовольствием буду стараться сделать это для Ясновельможного Пана, — отвечает Войский. — Если моя жена на это согласится, и если нужная сумма не превысит наших возможностей.

— Несколько тысяч червонных злотых было бы мне теперь достаточно, — ответил расточительный проситель. — Впрочем столько, сколько без ущерба себе можно одолжить мне в данный момент.

— О! Такая мелочь у нас еще найдется, — с покорностью ответил Войский. — Вопрос, мне кажется, только в том, согласится ли на этот долг моя жена, с которой, чтобы убедить ее, позволь мне, Ясновельможный Пан, поговорить с глазу на глаз.

— Ах, не устраивай для меня такой церемонии, дорогой Войский! Я в твоем доме, так прошу трактовать меня как равного себе, — пожимая ему руку, громко говорит панич Войскому, который выходит с поклоном. Каштелянич радуется, он думает, что тот, не зная (так ему казалось) про его выходки, легко даст поймать себя в ловко поставленный силок.

Через минуту Войский возвращается с мешочками и говорит, что жена согласилась на то, чтобы дать в долг желаемую сумму, но с условием, чтобы была выдана соответствующая расписка на гербовой бумаге, и он боится, что тяжело будет доставать ее, потому что до повета далеко.

— Эту проблему я уже предусмотрел, уважаемый сосед, — отвечает молодой человек, вытягивая из-за пазухи шелковый пулерес[4], полный гер-

бовой бумаги для векселей самого разного достоинства, из которых пан Войский может выбрать любой лист, который ему нравится, чтобы будущий должник его подписал.

Но, как на беду, Войский, непривычный брать такие расписки, а также читать по-российски, и не умеющий пересчитывать золото на ассигнации, пересмотрел в очках на носу все двухголовые (как он их называл) образцы и положил на стол, признавая, что все они между собой подобные, а само их количество страшит неосведомленного ошибкой в выборе.

Засмеялся молодой мот над такой неопытностью кунтушовца[5] и, вытянув из стопки бумагу наибольшей ценности, поставил на ней посередине свою подпись, окруженную вверху и внизу каллиграфичными хвостами.

— Что это Ясновельможный Пан делает? — вскрикнул впечатленный Войский.

— Это моя подпись, — отвечает молодой человек.

— Но зачем Ясновельможный Пан зачеркнул ее этим арабским письмом, которого мы тут, на деревне, читать не умеем?

— Это мелочь, она ничего не стоит, — объяснял панич. — Это только выкрутасы.

— Мелочь и выкрутасы! — как закричит, хватаясь за голову, Войский. — Пан еще денег от меня не получил, а уже хочет сбыть меня мелочью и выкрутасами? Оставь же меня, пане, в покое со своими крючками! И пусть пан как можно скорее выбирается из моего дома, а то как узнает моя жена, что Ясновельможный Пан цепляет к своей подписи какие-то, может, фармазонские иероглифы, так будет бояться, чтобы не накликало это на нас какой-нибудь беды.

И, убрав мешочки, он отнес их назад жене, покинув фанфарона[6] удивленным и обиженным.

* * *

Панна Войская была моложе мужа лет на десять. Ее лицо и фигура сохранили следы весенней красоты; тронутые немного инеем букли более придавали гладкому лицу, оживленному голубыми глазами, важности и значительности, чем напоминали о количестве прожитых лет. Ее вид и мягкие движения вызывали у слуг и друзей уважение, а когда отсутствующие, как это временами случается, становились темой разговора гостей, они всегда имели в ее лице снисходительную защитницу; когда же без унижения для остроумия она не могла защитить своего заочного клиента, то так быстро умела перевести разговор на другое, что неизвестно каким образом объект критики оставался с нетронутой репутацией или не осмеянный из-за собственных привычек.

Муж был для нее во всех более-менее сложных обстоятельствах наивысшим трибуналом, его волей распутывались вопросы, которые панна Войская, боясь ошибиться, с ним обсуждала. Поэтому механизм управления хозяйством был таким слаженным, что чужой глаз не мог заметить, кто там руководит. Пан всегда ссылался на то, что не может ничего сделать без панны, а она — без него; только конклавам этой гармоничной пары выдавалось умозаключение, за которое либо обоих нужно было благодарить, либо на обоих, при отказе, нужно было гневаться.

После раздела края большие изменения произошли по соседству; также и отец панны Войской, когда-то ярый польский конфедерат, во время наступления войска Суворова был убит на собственном поле, когда защищая свое стадо, на которое напали грабители, положил на месте из штуцера[7] двух казаков, от тех, кто его атаковал, мужественно отбивался корабелью[8]. Соседи или где-то погибли без вести, либо после долгого заключения вер-

нулись в уничтоженные имения или должны были или отдать их на успокоение также обедневших кредиторов, или продать. Так почти все знакомые Войских пропали навсегда, а перспектива завести новых не прельщала. Самые дальние путешествия пана Войского ограничивались разом в год, в марте, Новогрудскими контрактами[9], где он, похлопотав по своим делам и боясь попасть под следствие за плату налога ассигнациями, среди которых могли попасться фальшивые, оплачивал его серебром за целый год (хоть и по курсу более высокому) и возвращался домой. А панна Войская всегда отмечала годовщину смерти своего отца посещением каменного креста, поставленного на поле под Райцем[10], на месте трагического происшествия, с надписью, сделанной Войским: *«Boguslaus R... obit anno 1794, aetatis 75 suae 75»*[11].

## Раздел II

## Богуся

Через несколько лет после женитьбы Войских в их однообразной жизни появилась утеха — родилась дочка, которую назвали (этого добилась панна Войская) в честь деда — Богумила. Сам же пан Войский был приверженцем имени Анеля, потому что, во-первых, в его фантазиях казалось ему, что и ангел не соперничает с ней в красоте, а во-вторых, что имя Богумила будет всегда напоминать про трагическую смерть деда, которая уже и так много слез и здоровья стоила панне Войской.

Богуся стала с того времени единственной целью самой чуткой заботы обоих родителей, особенно потому (как показали последующие годы), что она осталась их единственным ребенком. Каждый день ее взросления тешил родителей новыми неожиданностями. Еще в колыбели она узнавала их обоих, к обоим тянулась маленькими ручками, а улыбка — такая ангельская! — что какая бы печаль тайно не закралась в родительское сердце, она должна была исчезнуть как из сердца, так из памяти, словно снег весной под лучами солнца. Так разве панна Войская могла позволить кому-нибудь пестовать такое сокровище, а тем паче вскармливать молоком за деньги? Неимоверное удовлетворение получала она, когда, кормя дитя грудью, поднималась мыслями к небу, чтобы благодарить Творца за свое счастье. Там отдавала ее в жертву Божьей Матери, а когда мысль постепенно опускалась на землю, то мученицей блуждала около башен Острой Брамы, Жировичей, Ченстохова и по другим чудесным местам, славящимся милосердием Наисвятейшей Панны к чувствительным матерям и невинным детям.

Когда опаленный солнцем отец возвращался с поля, первый его вопрос был про Богусю, и первые домашние новости, которые мать рассказывала отцу, также касались только маленького ребенка. Затем подходила очередь нежного поцелуя взаимного приветствия и вопроса: «Как же ты, сердце мое?»

Во время досадных детских болезней родители вместе, бывало, просиживали целые ночи над ребенком; когда же мать не могла убаюкать младенца, Войский брал дочку на руки, тихонько качая, долго носил по комнате, пока не уснет, затем клал в колыбель с такой осторожностью, будто это был хрупкий марципан, который рассыплется на маленькие кусочки от любого прикосновения. А потом он тихо ворчал: «Эти дамы так с детьми освоились, что уже и не обращают внимания на детские хвори, не могут ребенка убаюкать. Иди, мое сердце, отдохни, сильно задеревенели твои руки, сама видишь, я для няньки более пригоден».

Панна Войская не начинала спор из-за этих обидных укоров и чтобы не разбудить разговором дитя, и по той причине, что такая забота отца о Богусе не могла оскорбить искренне преданную мать; так, полностью

признавая его правоту, она поцеловала его на ночь и на цыпочках вышла из комнаты.

Однако недолгим был ее отдых, ибо все совершенство пана Войского, который остался присматривать за ребенком, оказалось ничего не стоящим, когда Богуся с криком проснулась и снова заплакала. Снова схватил ее отец на руки, горничную, которая хотела что-то сказать, прогнал и широкими шагами заходил по комнате, качая свое сокровище на руках и протяжно напевая: «Ах! Моя же ты дорогая, моя, моя, моя!» Но ни весь прежний опыт Войского, ни его новые нежности в этот раз были непригодны.

А мать не медлила бы так долго на помощь, если бы ей не требовалось хотя бы минутки для того, чтобы немного оправиться, ибо иначе нельзя было войти в комнату, где находился мужчина. Так научила ее мать, и это (что стало уже ее натурой) из требований приличия она никогда не забывала сделать; если в супружеских отношениях это будет упущено, то навсегда унизит женщину и превратит ее во вторичный инструмент, неспособный внушить уважение к себе, так необходимое для крепкого счастья в браке.

Когда же наконец панна Войская прибежала в детскую комнату, пан Войский, отдавая ей на руки Богусю, которая уже заходилась от плача, закричал:

— Дитя, видимо, голодное. Посмотри, дорогая, что с ней происходит. Такого мы еще не видели. Это же было само добродушие. Она не будет плакать без причины. Не сделали ли вы что-нибудь с ней без меня? Что вы от меня скрываете?

А когда панна Войская, не отвечая на эти и подобные им вопросы мужа, дала ребенку грудь, Богуся закричала еще сильнее и, отворачивая от матери голову, так завертелась в ее руках, что та еле смогла ее удержать.

— Иисус, Мария, святой Юзеф! — закричал испуганный отец. — Дитя заболело! Скорее послать за доктором!

— О дай ты мне покоя с этими докторами! — плача ответила Войская. — Агатка! Беги скорее за Кукевичовой!

## Раздел III

## Кукевичова и Ицка

Панна Кукевичова была экономкой фольварка, бывшая нянька самой панны Войской, при необходимости хорошая акушерка, а теперь во всех хозяйственных вопросах была ее первым министром, особенно в вопросах чьего-либо здоровья. Про ее талант знали как в деревне, так и в околицах. А поэтому каждый пациент, который обращался к ней, получал если не лечение, то хотя бы лекарство, совет и утешение. Пан Войский мало доверял ее уму, но озабоченный тем, откуда бы лучшего привезти доктора, ибо как раз тогда впервые припомнил, что еще ни один нужный специалист не бывал в его доме, спешно добавил Агатке, которая выходила:

— Разбудить Гжеся, и пускай он, сколько духу хватит, скачет в деревню за Ицкой с поручением, чтобы на этой самой кобыле жид в один момент появился здесь. А Гжесь из деревни вернется пешком.

Наказ обоих Агатка выполнила с такой аккуратностью, что панна Кукевичова и Ицка почти одновременно появились на пороге. Запыхавшаяся экономка со связкой ключей ввалилась в комнату с криком:

— Иисусе, сын Давидов, смилуйся над нами! Каждая Душа Пана Бога хвалит! Что тут такое? Что тут?

И, протягивая свои короткие руки к ребенку:

— Панночка моя! Что с тобою? Что тебе? А как же расплакалась!

А когда ребенок и от нее испуганно отвернулся, закричала:

— О сладкое имя Иисуса! Не испугал ли кто дитя? Временами шайтан в образе страшного зверя напугает дитя во сне, а временами какой другой случай. Так нужно купать в теплой воде, в которую хорошо всыпать по жменьке пепла с сена, кладя его в воду под голову, ноги и оба плечика, подобно знаку святого креста, проговаривая: «Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь». Агатка, ставь корыто и воду. Пускай панна на простынке в него панночку положит, а я побегу в фольварк отщипнуть святоянского хлеба[12] с венков, которые освящали в прошлом году на празднике Божьего Тела в Синежицах и которые мне панна Зубковская подарила, что я рядом со сретенской свечкой повесила над кроватью.

Мелким, но быстрым шагом панна Кукевичова выбежала за дверь, когда, будто вспомнив самое важное, вернулась еще раз и закричала из дверей:

— Агатка, не выливай из корыта воды, не выбрасывай пепел, пока я не вернусь. Мы там найдем причину детского страха, потому что в пепле найдется шерсть зверя, который ее испугал.

После этих слов Кукевичова мелко посеменила дальше, и звон ключей, который все слабел, подсказывал ее отдаление.

Пан Войский в это самое время был занят другим делом. Уступив поле боя возле колыбели женщинам и не имея смелости с фавориткой панны заводить споры в вопросах, в которых, как выяснилось, был неосведомленным, начал разговор со своим арендатором Ицкой:

— Похвала Пану Богу, — с поклоном и вытряхивая из шапки ермолку, проговорил на пороге Ицка, входя в комнату. — Ну что здесь такое? О, горе! Не панночка ли заболела? Aj, wej, mir![13]

— Видишь, дорогой Ицка, — медленно ответил Войский, — какое у нас несчастье. Единственное наше дитятко заболело, не дай бог, умрет! Вот позвал тебя посоветоваться.

Ицка, ощущавший себя в профессии отцовства выше пана, так как был уже отцом нескольких детей, рассудив, что смысл понятен и что, по существу, как более опытный, может дать совет, сразу его остановил.

— Ну, что здесь за совет? Пусть панна делает так, как я. Если у меня дети заболеют и кричат, а крик такой громкий, потому что бахуров[14] шестеро, так я кричу жене, чтобы она дала им по луковице, а если и это не помогает, запрягаю коней и на несколько дней выезжаю из корчмы, пока дети не стихнут. Нужно и пану так сделать, а дети, ну, это женское дело.

— Дурень ты, дорогой Ицка! — отвечал Войский. — Не для такого совета я тебя сюда позвал. Видишь, дитя у меня больное. Нужно сейчас послать за доктором. Ты везде бываешь и лучше моего знаешь, куда и за кем надобно послать.

— Ну, а это еще зачем? Какой тут доктор? Где тут доктор? Столовичи, Мышь, Городище, ну, там нет ни одного доктора. Слоним, Несвиж, Новогрудок — там есть, но далеко. А хоть бы и ближе, ну, какая из этого польза? Когда мой тесть умирал в Новогрудке, моя теща сама побежала к пану доктору Эмме, а пан Эмма ничего не делал, только смотрел в карты, которые там шулеры раскладывали. Так моя теща говорит: «Ой, беда! Пан Эмма, спасай моего Хаима!» А он ей отвечает: «Подожди, подожди, не мешай мне сейчас». Так тот, что раскладывал карты, говорит ему: «Что ты сидишь, у тебя нет денег, ты все проиграл, а выиграть не можешь. Иди с этой бедной женщиной, она даст тебе рубль, будешь снова пытать свое счастье». А он ему отвечает: «Ну я не лечу за рубль, я беру только золото». Так моя теща дает ему дукат и кричит, и плачет: «Gej, gej[15], пан Эмма». А он ей говорит: «Постой, посмотрю, какой это дукат». И поставил его на карту, а тот не проиграл, а на беду выиграл, и как он выиграл, так выигрывал и выигрывал. А когда он выигрывал, то не хотел идти к больному.

А моя теща и кричит, и плачет, а они ей говорят: «Ну что ты, глупая женщина, плачешь, ты сама дала ему денег, чтобы он отсюда не ушел. Он не пойдет, пока голым не останется». А он ей говорит: «Ну, иди ты домой и поставь воду в горшок, возьми в аптеке ромашку и мыло, как приду, чтобы все было готово». Так она сразу побежала домой, а Хаим уже только руками время от времени шевелит, а жил еще долго, до пятого часа. А когда пан Эмма пришел, моя теща уже в трауре сидела и говорить не могла, только сказала: «Ай! Разбойник!» А потом это моя теща подговорила бахуров, чтобы бегали за этими докторами и кричали: «Пан Эмма, пан Эмма, где твоя энема?» Ему это очень не нравилось, и он решил вернуть ей дукат, но когда это картежник имел дукат, чтобы отдать долг? Он сам не будет ни пить, ни есть, он жене и детям откажет в том, что им обязательно нужно, но не будет экономить на картах, и если бы за его два уха, которых он никогда не видел, дал кто-нибудь два дуката, так он бы дал их отрезать и еще бы думал, что заработал денег. Так же, как и пьяница, когда водки захочет, а все уже пропил, украдет, что может, и продаст за кварту водки, а как протрезвеет, плачет, а все говорят, что пьяница и злодей.

— Мой, Ицка дорогой, — ответил озабоченный Войский, — после твоей долгой речи я таким же мудрым остался, каким и был. Ты не сказал, за кем нужно послать, чтобы мое дитя вылечил.

— А зачем посылать? — ответил сразу Ицка. — Нет разве панны Кукевичовой? Она такая мудрая женщина! Она тут всех лечит в окрестностях. А кто умер, ну, так нужно было, потому что кто родился, тот умереть должен. Пусть пан будет спокоен: если она не поможет, то никто не поможет.

Тут ключики за дверью дали знать, что приближается Кукевичова, которая, осторожно открыв дверь, втиснулась, как утка, в комнату. По знаку панны Войской она прижала ладонью ключики к боку, чтобы не звинели и, поднимая свою тучную фигуру на цыпочки, покачиваясь, пошла к колыбели, где лежала Богуся, которая заснула после теплого купания.

— Благословенно имя Господа нашего, — прошептала Кукевичова на ухо панне. — Вот принесла пучок освященного мака, который осторожно нужно положить под головку панночки, чтобы лучше спала; а это фиалковый корень, а тут стручок святоянского хлеба. Одно и другое нужно давать грызть ребенку попеременно, их святость помогает, чтобы у ребенка быстрей прорезались зубки. А теперь, Агатка, поставь бульон на огонь, чтобы панна могла чем-нибудь подкрепиться, а сама панна пусть сцедит ей корм, потому что эти несколько часов переживаний должны были испортить молоко, которое в детском желудке устроило бы колики.

А вот мир и кадило, что на Трех Королей[16] складывались под чашей на алтаре. Нужно посыпать щепотку этого на фаерку[17], перекрестив ее. Этот запах очищает воздух и отгоняет злых духов. А теперь, пока панночка проснется, нужно отчитать коронку[18] на Спас.

И началось ворчание вполголоса: «Иисус, который переменился, будучи Богом — стал человеком, так перемени наши страдания в радость и веселье, а болезнь Богуси — в здоровье и долгую во славу твою жизнь. Отче наш...» и т. д.

Может, молитва, а может, монотонное ворчание, как шум каскада, благотворно подействовало на сон ребенка.

Не отважился пан Войский остановить никаким замечанием весьма набожное занятие женщин, но, тихо приблизившись к колыбели, посмотрел на сонного ребенка, перекрестил его знаком святого креста, поцеловал жену и вышел на цыпочках из спальной комнаты, приказав Ицке возвращаться домой.

Завтра, как только взошло солнце, Богуся проснулась с улыбкой на губах. Панна Войская достала ее из колыбели, а Кукевичова, помочив

палец в сахарный сироп, засунула его в рот ребенку и через минуту произнесла:

— Благословенно имя Панское теперь и вовеки. Аминь. Болезнь уже прошла, это бедняжку зубки мучили. Слава богу, уже прорезались. Пусть панна ее покормит, а ты, Агатка, беги разбуди пана, чтобы и он с нами потешился, он, бедный, измучился совсем. Как же обрадуется, когда узнает, что Бог услышал наши молитвы!

Что было духу выбежала Агатка и застучала в двери Войского:

— Что там такое? — на первый стук отозвался Войский.

— Панна просит пана, — сказала Агатка и крутанулась назад, думая, что ее миссия окончена.

Зря Войский кричал:

— Иисус, Мария, Юзеф! Что там такое? Какое там новое несчастье? — потому что исстрадавшийся человек и не надеется на приятные новости. — Ах! Моя Богуся, Богуся! Умирает, наверное, дитятко!

И машинально, еле перекрестившись, накинул на себя халат и туфли и вскочил в комнату почти неживой.

Но какое же его встретило удивление, когда увидел веселые лица. Богуся на груди расчувствовавшейся матери, будто бы занятая наиважнейшим делом, не отрывая губ, обратила только голубые глазки на отца, и, как бы приветствуя, протянула к нему маленькую ручку — подала знак выразительного признания и благодарности.

— Иисус, Мария, святой Юзеф! — закричал отец. — Какое чудо! Сердце мое разорвется от радости!

Он прижался губами к детской ручке и задержался так на некоторое время, а когда ребенок уже поел, взял его с рук матери на свои, и, целуя ее в уста, что еще не могли говорить, может, задушил бы ее от радости, если бы небритая в спешке борода не разозлила своей нежностью дитя, которое, высвобождаясь из его рук, потянулось в объятия матери.

— Держи ее, держи, моя любимая жена, — сказал Войский, передавая дочку в руки матери. — Ах, какой же я бедный, что она больше любит тебя, чем меня. Был, помню, ревнивый к твоей любви, а теперь не знаю, был ли я более несчастным, если бы убедился, что Богуся меня любить не может.

И кинулся к лицу взволнованной жены, в поцелуях которой утонул.

## Раздел IV

## Неожиданные хлопоты. Деревенская аптека

Кукевичова не могла остаться равнодушным свидетелем такого обидного для нее разговора и поэтому сразу отозвалась:

— Что пан болтает, так того, Пан Бог, не пиши в свои книги. Пан должен был благодарить Бога за здоровье Богуси, а он Его обижает, произносит слова ревности, которая есть один из смертных грехов; а тот, кто имеет смертный грех, не попадет в Небесное Королевство; так, помню, учил ксендз Улетовский. Если пан ревновал панну, а Бог это дело примирил, отдавая ему панну перед алтарем, чтобы в будущем греха не было. То пусть же пан остерегается грешить ревностью к ребенку, которого Бог или себе забрать еще может, или отдаст кому-нибудь другому.

— И что за теолог — эта твоя Кукевичова, — смеясь сказал жене Войский. — Не буду ни о чем спорить с тобой, Кукевичова, хоть ты меня ругаешь и страшишь, может быть, и без надобности, но привязанностью своей к моей жене и ребенку заслужила у меня всякую снисходительность. Должен признать в доказательство уважения к панне, что с сегодняш-

него дня начну ее ближе узнавать, так как до этого, знаешь ли, женским хозяйством я никогда не занимался. И хоть мне гуси панны временами и наносили урон в зерновых, так считал лучшим не видеть того, чем ругаться с человеком, который нянчил мою жену. Прошлой ночью я и сам видел доводы, и Ицка меня заверил, что панна необычно осведомлена в лечении, а потому позволь тебе повысить юргельт[19] на пятьдесят золотых.

Эти слова пана Войского неожиданно панну Кукевичову с вершины удовольствия (с причины выздоровления Богуси) опустили на землю, так что она не сразу смогла понять, где она и что делает. Минуту назад командовала, будто в своем доме, а тут слова: «Ругаешь и страшишь без надобности; гуси нанесли урон; пятьдесят золотых юргельта» — убедили ее, что находится на чужой территории и что пан только из-за уважения к своей жене ее терпел, а на ее многочисленные таланты и годность к службе не обращал никакого внимания. Поклонилась тогда только и села в уголке, а через минуту полились из ее глаз потоки слез.

— Что с тобой, Кукевичова? Что ты? — закричала Войская.

— Ах, моя госпожа, — отозвалась заплаканная, — первый раз передо мной открылось страшное будущее. Там, где юргельт, там и отправа, а куда я, бедная, пойду, если господам захочется отдалить меня от себя. Покойный Обозный, свети Боже над его душой, взял меня к себе ребенком за какие-то заслуги моего отца, который погиб в битве под Столовичами[20], а его панна, святая память имени ее, была мне как мать, и тому, что я умею, научилась от нее. По ее настоятельных просьбах и обещании, что нас от себя никогда не отдалит, я сменила фамилию Подгайская на фамилию опытного и верного лакея господ Кукевича. Бог нам не дал долгого счастья, и я, оставшись во второй раз сиротою, единственную утеху имела в надежде, что панна меня от себя не отдалит! Не раз себе думала: я ее воспитываю, она меня похоронит.

И поэтому, когда покойная приданое панночке складывала, позвала меня и показывала: «Смотри, Кукевичова, это будет на праздники, а это на каждый день, это надевать в гости, а это, когда нет никого». Отдельный сундук приказала мне наполнить лечебными травами, объясняя тысячный уже раз свойства каждой из них. Карда Бенедикта[21], говорила госпожа, от удушливости; мох исландский — от кашля; лопух — от водяной опухоли; ромашка, центурия и тмин — на колики; литвор[22], деревянка[23] и полынь — для укрепления желудка; крапива и брунела — на коклюш; березовые и липовые цветы — на пот; а когда пот холодный и больной пухнет, нужно его овечьей постилкой крепко укутать, оставить только нос и рот для дыхания; растертая полевая мальва, табак, настоенный на водке, спиртовой бальзам на березовых и тополиных почках — на все резаные раны; прокаленная ржаная мука и синяя бумага — на рожу; вывести ее можно также, сжигая в течение трех дней по два клочка льна, положенных крест-накрест на красном шерстяном платке, проговаривая каждый раз: «Славься, Мария!», а если опухоль уже превратилась в рану и воспаление не проходит, то уголь несмолистой коры, толченый и просеянный через полотно, посыпанный на рану, остановит воспаление; гной затем вытянет сарацинская мазь, полученная из кусочка освященной свечки, оливы и нескольких капель вина, что в ампуле[24] со Святой службы осталось; шалфей с медом и уксусом — на воспаление горла; печеный лук, растертый с мылом, — на нарывы и язвы; синий камень из Жировичей уничтожает дикое мясо; бобовник на водке — на лихорадку; смородиновый или клюквенный сироп — на горячку; рута со свежим маслом — на бешенство человека и животного; рапс и питьевой мед — на оспу, корь и ветрянку; кости освященные (что осталось с Пасхи), закапанные на грядках на Троицу, защищают зерно от града; окуривание дома освященными веночками и обход около него с лоретан-

ским[25] колокольчиком, читая четыре Евангелия, разгоняет бури и ураганы; хлеб святой Агаты тушит пожары. И все это нужно с молитвы к Богу начинать и с Богом заканчивать. Коронка на Спас, литания[26] и новенна[27] к Святому Антонию — надежное лекарство от всех болезней, сомнений и страданий.

Вот и теперь, когда панночка так хворала, я клялась, что как она поправится и отнимут ее от груди, снести на отпуст[28] в Жировичи, а тем временем на следующие девять вторников сделала вотум[29] поститься и оправлять новенну.

— Это все хорошо, — остановил ее уставший Войский, — но, моя дорогая Кукевичова, какую связь имеет конец этого разговора с его началом? Сначала мне казалось, что имеешь какую-то обиду на меня, но Бог мне в свидетели — ничем тебя обидеть не думал, наоборот, хотел отблагодарить за твои хлопоты о нашем ребенке.

— Ах, мой пан, прошу меня простить, как вспомнила покойную и ее святые слова, так совсем забыла про себя, потому что не каждый является хозяином своей мысли. Правда, правда, мой пан, несколько слов, которые сейчас вспомнить не могу, а особенно тот юргельт, так меня напугали, будто пан меня как старую и ненужную, после св. Юрия намерен отправить, а где бы я подевалась, бедная? Ничего для себя не собрала за годы; в Добродетель[30] меня не примут, вынуждена была бы пойти в костельную лечебницу и побираться с протянутой рукой у людей. Я дом прежнего своего панства, свети Пане над их душами, привыкла было уважать как свой собственный; спокойной смерти ожидала. А когда с моей панночкой перебралась в панский дом, так была при ней, как при своей дочке, она меня никогда не ругала, не давала понять, что я — убогая служанка. Полотно или сукно, которое использовалось для моей одежды, всегда вырабатывалось под моим присмотром, и я брала его столько, сколько на меня нужно, на сторону никуда не пошло. Никаких других расходов я не имела, и деньги мне были не нужны, может, только чтобы заплатить детям за лечебные травы и раз в год на святую службу за моих добродетелей. В таких случаях шла всегда к моей панночке, которая мне давала на это несколько золотых. Даже когда после рождения Богуси панна дала мне более десятка локтей кортуна[31] в подарок, так я сказала, что такая трата была не нужна, и кортун лежит нетронутым. Поэтому сегодняшнее обхождение пана со мной навело на меня страх, показывая, что я ошибалась, когда считала дом моего панства своим.

— Ну полно уже тебе, дорогая Кукося, — остановила ее занятая ребенком Войская. — Пан ничем тебя обидеть не хотел и думать не думал, чтобы выгонять тебя.

— Мир, мир, — воскликнул Войский, — даю тебе слово, моя дорогая Кукося, что ни обидеть, ни выгнать тебя и не думал; не догадывался даже, что ты у нас навсегда желаешь остаться; а если так, то, конечно, будь с нами так долго, как тебе нравится. Лучшим доказательством того, что я не вмешиваюсь в ваши дела, есть то, что до этой минуты я не знал про договор, который вы между собой имеете; а если панна мне какие-то деньги своей экономностью вносит в кассу, то я никогда счета у нее не прошу, ибо, как говорят, дареному коню в зубы не глядят.

Теперь, когда б мне можно было тебя о чем-то попросить, дорогая Кукося, безо всякой новой обиды, так попросил бы, чтобы ты про мою неделикатность полностью забыла, а в дальнейшем своем хозяйствовании, чтобы в угоду нашей экономии, не забывала и про свои потребности. А сейчас будьте здоровы, пришло время мне высунуть нос за порог, чтобы посмотреть, что делается на поле.

— Ах, боже мой! — спохватилась Кукевичова. — И я ведь тоже опоздала, а там меня с молоком ждут. Панна всю ночь не спала, так пусть приляжет, а ты, Агатка, присмотри за ребенком, пока я не вернусь подменить тебя.

И повторяя себе бесконечные наказы и рекомендации — это кресло поставила на место, эту вещь прибрала с дороги, тот стол протерла, этот по-другому оправила — вышла за дверь, что-то бормоча себе под нос.

## Раздел V

## Богуся растет, ее проказы

С этого времени жизнь Войских шла обычным образом: Богуся росла, ее болезни лечила Кукевичова; Войский, возвращаясь домой, выслушивал каждый раз более долгие рапорты о поведении ребенка; вот уже Богуся в один день произнесла «мама», а в другой — «папа», вот уже сама ходит и щебечет на языке, который никто не понимает, смысл которого Войская с Агаткой старательно додумывают и который панна Кукевичова объясняет в соответствии со своим представлением самым остроумным образом безо всякой тяжести, коря мать и няньку, что те не понимают дитя. Она считает, что Богуся сама мудрость и набожность! Когда Богуся поднимает руку, чтобы отогнать комара, который ей надоедает, Кукевичова кричит, что Богуся перекрестилась, это ум не по годам! Уже, в конце концов, повсюду Богуся, ничего от нее ни спрятать, ни укрыть невозможно!

Увидев однажды, как девушка, которая выходила замуж, всем кланяется, Богуся, замотав себе голову подвязками матери, с опущенными глазками всем по очереди до земли кланялась, будто прося благословить.

— Что это девчонка творит! — закричала мать, хватаясь за голову; однако, когда Богуся, обойдя всех, поклонилась отцу, что сидел в отдалении, тот подхватил ее на руки, и, целуя ей губы и глаза, воскликнул:

— Пусть Бог благословит, мое дрожайшее сокровище, но меня не пугай даже шуткой, что однажды должен буду отдать тебя. Нет, нет, ты меня не покинешь.

И она обхватила его шею руками.

Временами, обмотавшись какой-нибудь шалью, чтобы казаться более пышной, затыкала за пояс материны ключи и, переваливаясь с ноги на ногу, показывала походку Кукевичовой, и, бормоча что-то под нос, трогала мебель и будто ее протирала. Все смеялись над этой шуткой до слез, а панна Кукевичова даже заплакала и, подхватив ее на колени, давай обнимать и целовать; тем временем шутница просунула ручку в карман экономки и достала пригоршню слив, фаршированных тмином и медом с цитваром[32], которые панна Кукевичова давно уже приготовила ей от глистов, но никак не могла уговорить съесть это, а сейчас, притворяясь, что хочет этот краденый деликатес отобрать у нее, заставила обманом проглотить это нелюбимое детьми лекарство, по причине чего был новый смех на весь вечер.

Временами, укрывшись платком и сдвинув на лоб свой чепец, изображала квестора[33] и, обходя всех по очереди, получала от одной кусочек пряника, от другой — изюм, от третьей — миндаль; только с Кукевичовой была осторожной и каждый ее подарок внимательно осматривала перед тем, как отправить в рот. И эта осторожность снова вызывала смех.

## Раздел VI

## Ксендз Булгак, квестор

Причиной, чтобы изображать законника, был ксендз квестор Булгак, бернардинец из Несвижа, может быть, самый частый гость в доме Войских, необычная когда-то личность. Как человек знатный, он провел

молодость при Дворе и в путешествиях. Пан Войский и пан подкоморный Сорока были его школьными товарищами. Сорока и Булгак, оба чрезвычайно способные, имели намерения заняться государственными делами, просили пана Войского быть куратором их интересов. Сорока был послан в Стамбул секретарем польского посольства. Соответствующее место для Булгака готовилось в Лондоне. Однако пан Букатый[34], отдавая эту должность своему сыну, который потом женился на Глинской, отбил охоту у пана Булгака, не желавшего работать в канцелярии под началом молодого пана Букатого, что вполне вероятно. Подался тогда в качестве кандидата на депутата Трибунала[35] и был выбран на должность, на которой держался несколько лет стабильно и без партиальности[36].

Как депутат, он был в младшем круге Четырехлетнего сейма. А когда произошел раздел края, пан Булгак подал на Катерину манифест в Новогрудские Акты про насилие и нападение и где-то прятался вплоть до восстания, поднятого Ясинским в Вильно.

Или зная об этом, или случайно, Булгак сразу же оказался на Новогрудчине и активно занялся организацией восстания, но отделение российского войска напало в ночи на его дом и захватило его неожиданно. Напрасно Булгак объяснял, что войска царицы на него не имеют никакого права, так как он не присягал на верность. Суровый комендант[37], оскорбленный уже самим этим объяснением, приказал растянуть его на земле и кнутами высечь подданство. Не помогло и то, что жена Булгака падала к ногам казаков, она и сама, получив несколько ударов, была вытянута за волосы из комнаты и потеряла сознание. Булгак же во время пыток, кричавший всякий раз «Ad majorem Dei gloriam»[38], гневил еще больше своего мучителя, которому каждый подобный выкрик казался угрозой, что избиваемый, избавившийся от кнутов, пойдет с жалобой к майору. «А что ты, сукин сын, будешь ходить к майору, вот я тебе покажу майора». И с каждым разом больнее приказывал бить, пока мученик не потерял сознание и не затих. Затем дом был разграблен, строения сожжены, а самого Булгака отвезли в команду[39], откуда он, посетив сибирские рудники, вернулся только через несколько лет.

Душевное состояние несчастного не улучшилось после возвращения. Страна отдана, имение разрушено, жена от переживаний умерла! Какие же планы на будущее? И тогда Булгак, продав землю за бесценок, большую часть своих денег раздал тем, кто в них нуждался и кто потерпел, как он, а тысячу дукатов отдал на строительство костела отцов бернардинцев в Несвиже, в котором стал сначала синдиком[40], потом прокуратором[41] и, наконец, братом квестором.

Квеста этого уважаемого человека была для тех, кто давал, приятная, а для тех, кто брал, полезная. Ксендз Булгак знал все семьи в округе не только по генеалогии, но и по их финансовому состоянию, а также по-дружески. Имел он приличный рост, румяное лицо, белые волосы, а по причине отсутствия зубов немного шепелявил. Когда ксендз Булгак, оставив, как обычно, свой возок и баранов за воротами, шел через детинец, держась на всякий случай за свои «огурцы»[42], то собаки ласкались к нему, не лаяли, потому что он каждую называл по кличке. А когда, открывая дверь, кричал басом: «Laudetur Jesus Christus!»[43], все живое кидалось в его объятия.

— Ах, как пан поживает? Дорогой! Ксендз Булгак имеет честь нас навестить, — кричала панна Войская.

— Прошу прощения, моя панна, я только брат. Капланство более счастливым предназначено. Поздно Бог посмотрел на меня милосердным оком, пусть будет благословенно имя Его.

Тем временем Богуся уже стоит на кресле возле окна, рада увидеть своего барана, который, тряся колокольчиками, повешенными на закручен-

ные рога, ведет отару костровых на ночной отдых под крышу. Завтра пан Войский прикажет загнать баранов в Несвиж, потому что ксендз Булгак, видимо, останется здесь на несколько дней, как это было в его привычке.

— Как дела, Отче? — заговорил, входя, Войский. — Ксендз Булгак, может, еще не обедал?

— Охо-хо! Так его милость уже считает меня не братом, а мирянином, — ответил Булгак, — как можно имея столько баранов по милости добродетелей до этой поры поститься, а притом нужно тебе знать, что я приехал из Торчиц, от панов Рудинских, что без обеда никогда от себя не отпускают.

— Из Торчиц? — вскрикнул Войский. — Всегда, вспоминая их и Рудинских, не могу не вспомнить их старшего брата, майора, который если не позорно, так по крайней мере, бесполезно погиб, защищая гетмана Кособовского в Вильно. И, как меня заверял пан поручик Павел Раецкий, что если бы он собственноручно не убил его из пистолета, то гетман бы спасся бегством. Так отважно Рудинский защищал палашом вход. Ксендз Булгак, какие же удивительные вещи мы видели! Не имеешь ли ты, ксендз, каких-нибудь более счастливых известий?

— Что это его милость все какие-то мадригалы[44] разводит? — нетерпеливо отозвался ксендз Булгак. — Знаешь же, что на этом габите[45] слезы мученицы и подшит он словами: «Да будет Воля Твоя, как на Небе, так и на земле, и прости нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим». Что мне его милость про те вещи говорит, которые не изменишь, и не показываешь своей девочки, которую, знаешь ведь, люблю как своего ребенка.

— Ох, так она еще с тобой не поздоровалась? Богуся! Иди сюда, Богуся! Это же твой квестор, которого ты так мастерски показываешь.

Бежала уже Богуся в объятия дорогого гостя, но после последних слов так застеснялась, что подалась назад с еще большей поспешностью, и Бог знает, где бы спряталась, если бы не появилась на счастье Кукевичова. Она входила в комнату через другую дверь, схватила Богусю и заключила в свои объятия, а потом, потихоньку успокоив, вышла с ней вместе к ксендзу Булгаку и, поцеловав ксендза в руку, просила благословить дитя.

Через минуту, будто избавляясь от тяжкого греха, вскрикнула:

— Ах! Мой Отец и Добродетель! Большая я перед Богом должница, но Бог мне свидетель, что не во мне причина греха. Уже прошло шесть лет, как во время тяжелой болезни Богуси я пообещала отнести ее в Жировичи, но наш милостивый пан всегда находит какие-то препятствия в исполнении слова, данного Богу. Поэтому я боюсь, как бы не было большого несчастья для моей души, а, быть может, и вреда какого этому ребенку.

— Что я слышу, мой пане Войский?! — отозвался Булгак. — Жалоба понятная и великая, и если бы не был добровольно щедрым добродетелем нашего костела, то должен был бы дать тебе огромный штраф, как садалис[46], ты должен проявлять рачительность в такого рода делах. Пусть будет панна покойна, — продолжал ксендз Булгак, — обращаясь к Кукевичовой, — пан Войский не будет шутить над вещами, которые касаются спасения панны, ибо в этот интерес входит каким-то образом и судьба его Богуси, которую, панна знает, как он сильно любит. Послушаем только, что он скажет на это.

— Панна Кукевичова частично права, — ответил Войский, — ибо, возможно, тут и ее часть вины есть. Почти перед каждым большим праздником она напоминает мне про свой вотум. Я к этому неравнодушен, наоборот, как родители, мы оба хотим быть участниками этой святой пилигримки.

Но дорогая Кукевичова не желает удовлетвориться богослужением будничного дня, а я, обращая внимание на толчею, какая обычно бывает при отпущении, не могу позволить рисковать ребенком. Поэтому, уважаемый ксендз Булгак и мой старый приятель, рассуди наш спор, а я охотно исполню твой приговор, так как знаю, что он будет разумным.

— Правду говорят, — отозвался ксендз, — что нужно выслушать обе стороны. Ясно вижу теперь, что не равнодушие, а прилежание пана Войского было причиной этого промедления. Панна Кукевичова, не нужно настаивать на своем, а то как бы в толпе какое несчастье с ребенком или с кем-то из вас не приключилось. Осмотрительность является даром Святого Духа, которым не следует пренебрегать истинно набожному человеку. Вотум, неосмотрительно данный, не считается обязательным, ибо как говорит псалмист: «Благодарная жертва Богу — скорбный дух, покорное сердце в несчастье, Боже, не оставишь». Так, если это дело поручили мне, а пора в этом году уже поздноватая, то, надеюсь, что следующим летом в будний день, в приятное и удобное для вас время выберетесь, чтобы исполнить тот вотум, о котором панна Кукевичова так верно вспомнила.

Что в следующем году, после посевной, 3 мая, к удовольствию всех сторон и было исполнено.

В последующие дни ксендз Булгак, отчитав свой бревер[47], закрывался с паном Войским один на один и раскладывал бумаги, которые поручали ему враждующие стороны без каких-либо инструкций, доверяя его суду. Он таким образом уладил много безнадежных дел, создал много брачных союзов, поделил имения между родней, повздоривших друзей примирил, не допустил до поединков, потому что как только узнавал про некий конфликт, сразу, приехав, как квестор с баранами, так мог сподвигнуть грешника к покаянию своей сердечной беседой, что тот ничего более не желал, как только примирения со своим противником на условиях, которые этот мир делали шляхетным. После этого, приказав молчать, бедный брат направлялся к противнику, и как человек бывалый, так влиял на обидчика, что тот ехал с ним упрашивать обиженного, или сводил их в каком-нибудь нейтральном месте, где они подавали один другому руки и старались быть еще лучшими друзьями, чем раньше, пока не случался между ними раздор, который обоих огорчал.

Моральное влияние ксендза Булгака распространялось на несколько поветов. Католик, кальвинист, жид или татарин — все без исключения его уважали, и он в своих квестах никого не пропускал. Также навещал в Липе преданного католика Абуховича (которого или из-за поговорки, или из-за привычек «Коток» называли), как и кальвиниста Атенхауза в Осташине; заезжал по дороге и к панам Уланам, Давидовичам, Соболевским и другим татарам в Молюшицы (а попав на байрам[48], ел с ними колдуны с кониной), как и к жидам Мирским, Черным (у которых в шабат была щука с шафраном). Визиты в Молюшицы оплачивали костелу Маркевичи, Мацкевичи и Равинские, которые из-за того, что граничили с татарами, как с людьми военными, частые споры без посредничества ксендза Булгака не могли бы желанным образом завершать. Знакомство с мирскими жидами спасло, прежде всего, родственников самого ксендза Булгака из Островок, а также Войнов, Войниловичей, Протосевичей и других, когда после французской войны генерал Тучков (тот самый, что ограбил Несвиж), ограбив их дома и забрав все, что они имели, приказал вывести их на площадь и, выстроив подле выкопанной могилы, угрожал расстрелять, если не откупятся чистоганом или огромными долговыми расписками, которые он за половину сумм или хотя бы за что-нибудь продал купцам Мирским, также угрожая пулей.

Администрация несвижского замка, а также оскорбленные граждане пожаловались, правда, царю на Тучкова. Тучков, отданный под суд, был прислан за счет тех, кто подал жалобу, в Несвиж, но комиссия, которая должна была расследовать дело и судить его, по неизвестной причине ни разу не собралась, а известие — правдивое или фальшивое, — что изъятых из Несвижа двенадцать серебряных апостолов в натуральную величину видели в столице в очень недоступном месте, прибавило страху, что дело никогда не будет окончено.

При этом всем, насколько мнимые должники, избегая обязательной выплаты долгов, так позорно вытребованных, долговое дело евреев Черных желали получить со следствием, которого не было, и декрет, который исключал это дело из Сумарийного реестра[49], получили в земском суде, настолько, с другой стороны, жиды Черные не пожалели цены и расстарались на указ, который требовал обязательной выплаты долга под довольно логичным претекстом[50], что владельцы долговых расписок, не обвиненные в разбое, за поступок Тучкова наказаны быть не должны. В этой альтернативе ксендз Булгак использовал свое влияние и склонил обе стороны понести половину растраты, чтобы объединить суммы, реально выплаченные Тучкову, не принимая во внимание те цифры, которые в долговых расписках с помощью ранее описанного способа были записаны.

## Раздел VII

## Продолжение рассказа про ксендза Булгака. Бегство молодежи. Исправник и секретарь

Вот каким когда-то был (сегодня, очевидно, покойный) наш почтенный ксендз Булгак, квестор несвижских бернардинцев. Его благие дела многие даже не заметили, ибо он никогда не имел привычки их обнародовать. Он никогда не переубеждал других при свидетелях. В компании никому не навязывал своих убеждений, но когда разговор ему не нравился, или с детьми начинал играть, или, когда их не было, сев в углу, перебирал свои четки и тихонько шевелил губами, временами со вздохом вполголоса произнося: «Et ne nos inducas in tentantionem, sed libera nos a malo. Amen»[51].

Таким образом он поступал особенно в то время, когда слишком громко начинали говорить о политике либо пофамильно перечисляли шляхетскую молодежь, которая тогда по одному перебиралась из Литвы за Неман. Флориан Кобылинский, в будущем генерал и старшина Полоцкого воеводства, человек состоятельный, про которого все говорили, что только четвертая его часть видна над землей, недавний кандидат в земские писари, на которого нападали на сеймиках и которого избила мелкая шляхта. Она бы за него проголосовала, если бы противники не закинули в костел, где готовилось для них угощение, голову кобылы и распустили слух, что он из экономии готовит для них дохлятину, — теперь он куда-то исчез, а через год узнали, что он правая рука Даву[52] и секретно подговаривал Межеевских, Римшей, Обуховичей, Яцковских и других к бегству за Неман.

Родители и приятели тех молодых людей сильно опасались, даже самому ксендзу Булгаку было неприятно слушать, когда вслух называли имена беглецов. Однако же, либо не в состоянии выбрать между необходимостью секрета и туманностью результатов, либо, демонстрируя полную нейтральность, в разговор он не вмешивался, только молился, но, выругав отдельно каждого из болтунов за неосторожность, при-

казал запрягать свою колымажку и будто бы по костельным интересам поехал в повет.

Там он узнал от секретаря Нижнего суда[53], что Петр Петрович, исправник, получив рапорты от ключвойтов про сбежавших молодых людей, поручил ему написать губернатору Ланскому официальное сообщение и потребовать инструкции, что делать с родителями, опекунами и имениями беглецов, и что с этим письмом сам секретарь тянет время, так как хочет посоветоваться изначально с заинтересованными; что сам Петр Петрович (хоть и русский, но человек порядочный и шляхетный), как заслуженный военный, который не доверяет своим знаниям и боится, как бы не оплошать с каким-нибудь неизвестным ему законом, приказав молчать ключвойтам, каждый день спрашивает у секретаря про письмо, а, получив ответ, что в суете более важных дел он еще не готов, ходит несколько минут по комнате и, заламывая руки, громко выкрикивает: «Беда! Беда! Беда!»; что не раз проклинает свою должность за то, что он, который за время долгой военной службы умел всегда беречь своих подчиненных, теперь должен стать инструментом несчастья граждан и может быть назван «доносчиком», словом, которое ему более неприятно, чем смерть.

После аудиенции с ксендзом Булгаком секретарь пошел к названному исправнику и после приветствия на вопрос про ненаписанное письмо ответил, что удостоверился в фальшивости рапортов, так как обвиняемая молодежь покинула дома либо выехав на учебу в Вильно, где на университет под кураторством князя Черторийского юрисдикция полицейской власти не распространяется, либо направилась по семейным интересам в соседние поветы; в чем сам исправитель может убедиться, если напишет письма обвиняемым, ответы которых, хотя бы и оказались позднее фальшивыми, всегда будут защищать исправителя в том, что он со своей стороны выполнил обязанность, не тревожа без надобности правительство и — даже в обратном случае — не подменяя государственным преступлением юношеское легкомыслие, что имеет в себе нечто притягательное для тех, кто из-за присущей их возрасту живости любит сотворить какую-нибудь штуку, лишь бы его имя, став известным, приобрело определенное значение.

Какое удовлетворение принесли эти слова Петру Петровичу — тяжело описать. Он подскочил, выкрикнул: «Неужели?» А потом, потирая руки, обнял секретаря и произнес: «Ах! Ты мой друг! Ты мой друг! Писать сейчас же письма, писать письма!» Через пару часов его воля была исполнена.

Через несколько дней в ответ пришли тяжелые отписки. Каждое письмо тянула не менее, чем пара коней. А также еще в Глиницы, около Смольчиц, либо Рутки, где гребли были плохие, нужно было еще просить у проезжающих помощи, чтобы выбраться на сухое место. Ибо при письмах (которые по совету ксендза Булгака были одинаково адресованы: лично в руки его светлости пана Мотовича, секретаря Нижнего суда) была еще разных сортов говядина, фаски[54] масла, крупы, мука и водка, словом, то, чем только сельское хозяйство обычно наполняло литовские закрома, — всего было вдоволь.

Тогда пан Мотович, получив такие важные разъяснения от запрошенных, пошел с ними к дому исправника и, воспользовавшись его отсутствием, заполнил его закрома со вкусом и полезно; так, что, когда Петр Петрович вернулся к себе и застал секретаря, который крутился возле недавно еще пустых полок, даже отступил назад, думая, что заблудился:

— Кузьма Гаврилович (это значит — Казимир Габриэлевич), что это такое? Что это за чудеса ты у меня творишь? Я имел эскадрон, да и то в мирное время, и у меня конюшня не была так со вкусом обставлена, как ты наполнил мои закрома. Боже милостивый, скажи мне, откуда это все?

Сам ты небогатый, да и мне бы не хотелось, чтобы ты ради меня избавился от своих доходов.

Мотович засмеялся, отдал ему письма, содержание которых было составлено в соответствии с его советом, и из которых отчетливо было видно, что никто из подданных его Царского Величества край не покинул.

— Это все хорошо, — воскликнул вдвойне обрадованный исправник, — а если окажется, что объяснения фальшивые, что тогда с нами будет?

— Ничего, — равнодушно ответил Мотович. — Пан выполнил свои обязанности и квита. О чем еще должен доносить, если имеешь на руках доводы, которые делают этот донос совершенно ненужным. В конце концов, правительство не любит чиновников, которые без важных на то причин его беспокоят. А в указе Петра Великого написано: «Доносчику первый *кнут*». Лучше помнить поговорку: «Рука руку моет», так и обывателям, и себе будет выгода. Я знаю эту шляхту: лаской с ней все сделаешь, суровостью же их погубишь, но ни себе, ни государству не поможешь». Царь тебя за то не поблагодарит, что сделаешь его объектом ненависти подданных, которым угодить и повернуть к себе является первейшей обязанностью верного трону чиновника.

## Раздел VIII

## Мотович. Ланской. Петр Петрович. Корнеев и Зарембо

Необходимо уточнить, что Казимир Мотович был сыном бедного мещанина из Новогрудка. Окончив школу еще в польское время, он на протяжении нескольких лет зарабатывал учителем панских детей. После раздела края пешком и возами из глубин России прибывали разные повесы, чтобы занять должности, на которых нужен был неизвестный еще полякам язык. Одно только прочитать экспедицию[55], написанную по-русски, уже прилично оплачивалось. Мотович, быстро научившись читать те иероглифы, пошел на государственную службу, что отвернуло от него всех бывших приятелей; по этой причине он, вынужденный общаться с москалями, усовершенствовался в языке и во всех российских «крючках» настолько, что получил должность секретаря, на которой мы с ним и познакомились.

То ли в результате его политики, недавно заявленной исправнику, то ли из-за Тыльзицкого трактата[56], в соответствии с которым Белосток, что граничил с Литвой, попал во власть Александра, то ли отступление нескольких посольских полков из Варшавского княжества куда-то в страны, которые не имели к Польше никакого отношения, то ли, наконец, чрезвычайно деликатное обхождение царя Александра с поляками и распространение слуха о формировании польского войска под командованием Князевича стало причиной того, что не слышно было более о дезертирстве. А губернатор Ланской, который в течение своего правления в Гродно никого из обывателей не отдал под суд, не конфисковал ни у кого имения, приехав как обычно на ревизию повета и просмотрев все юрисдикции и книги, зная про грех исправника по укрыванию беглецов или имея что-то иное в голове, обратился к нему и сурово сказал:

— Господин исправник! Пан не должен забывать, что я имею глаз на пана и что написать Государю про него посчитал нужным.

Эти слова губернатора, сурового к чиновникам, как стилет, пронзили сердце исправника: «Почему именно на меня обращено внимание? О чем про меня писать царю? Догадаться невозможно. Наверное, какое-то несчастье! Наверное, неаккуратность! Спросить младший у старшего не может».

Петр Петрович скорее бы босыми ногами на раскаленную бляху стал, чем проявил бы подобную нетактичность. Однажды после обеда покойный Суворов даже приказал его расстрелять, потому как на глаза ему попался расседланный конь. Петр Петрович готовился к смерти, даже словом не обмолвившись, что конь не из его плутона. И только кто-то другой обратил внимание главнокомандующего на ошибку. Так Петр Петрович был спасен от расстрела и совсем неожиданно сделался комендантом эскадрона.

Такой характер имел этот Петр Петрович, который не из лихачества или желания выслужиться, но из послушания готов был кинуться в пекло; теперь же он, как Тантал, мучился из-за слов, смысла которых не понимал. Проехавшись той дорогой, которой прибыл губернатор, осмотрев все мостки, расспросив почтальонов, не имело ли тут место какое-нибудь происшествие, ибо у нас и случайность считается криминалом, дознавшись, что все было в порядке, он припомнил грех, в который впутал его Мотович.

— Ага! Так это поляк, понимаю теперь! — воскликнул он. — Хотел меня уничтожить и уничтожил. Судьба моя уже решена!

И всякие контакты с Мотовичем он прекратил. Проходя мимо, даже не узнавал его. Когда тот приходил, как раньше, конфиденциально, спрашивал у него грозно: «Зачем?» Однажды, когда не нашел какую-то бумагу на столе, которая уже должна была быть приготовлена, даже угрожал, что привяжет его к столу за ногу, если к завтрашнему заседанию дело не будет сделано.

— Что с ним произошло? — удивлялся Мотович. — Обезумел шельмец! Изживет человека из должности! Дурак, это правда, но осторожный, как гадюка, даже писем мне распечатывать не позволяет. То ли он с чертом побратался, то ли слух какой?

Однажды, когда секретарь положил на стол управителя полученную по почте экспедицию и в нескольких шагах ожидал его приказов, Петр Петрович, который распечатывал по очереди письма, над одним из них просиял, дважды его перевернул, перечитал еще раз и отложил. Он открыл еще несколько экспедиций, вернулся вновь к отложенному письму, наконец, протягивая Мотовичу бумагу, громко спросил:

— Кузьма Гаврилыч, посмотри, это не ошибка?

— Это диплом на крест святой Анны, — посмотрев, ответил ему Мотович.

— Не понимаю, — говорит Петр Петрович, — чем это я заслужил? Тут, между прочим, написано: за усердную, верную и старательную службу на порученной мне должности. Я догадываюсь теперь, что это, видимо, по милости нашего губернатора Ланского, который такого страху нагнал на меня недавним своим заявлением, что он внимательно за мной наблюдает и собирается писать обо мне Его Превосходительству. Признаюсь теперь, что те его слова пронзили меня ужасом, потому как я почувствовал за собой больше вины, чем заслужил. И я начал тебя подозревать, не губишь ли ты меня своими советами. А теперь вижу, что я ошибался, так ничего мне более не остается, как просить, чтобы простил мне досадные обиды, каких я тебе без счета наносил, ибо имел ошибочное представление. Так пускай с этого времени объединяет нас дружба, в советах же мне своих не отказывай, так как убеждаюсь, что намерения правительства ты лучше понимаешь.

И снова восстановилось межу ними согласие. Оно укрепилось еще больше, когда секретарь Нижнего суда Мотович, который совершенно не хлопотал о повышении, получил номинацию на стряпчего[57] с поручением и приказом сразу же начать выполнение обязанностей слишком уж активного своего предшественника, на которого во время губернаторского визита жаловались чиновники и граждане.

О губернаторе Ланском до этого времени осталась добрая память у граждан Гродненской губернии, так как он, имея ум и сердце, не бередил раны; когда же после продолжительного нахождения на своей должности, он был призван в Петербург сенатором, то как и ранее выражал симпатию к литвинам как к своим кровным родственникам.

Не такой счастливой была Минская губерния. После второго раздела края стал здесь губернатором Корнеев. Что касается справедливости его правления, то история про это умалчивает, но своими манерами он смешил людей, что сделало его непопулярным, а доказательством будет следующий случай.

Когда по причине принесения присяги на верность царице Екатерине он приехал с большим шиком в Слуцк, то пригласил к себе на обед всех обывателей, которые участвовали в этой формальности; желал ли кто, или не желал, однако все обязаны были явиться по приглашению. Гости согласно приказу расселись за накрытым столом в соответствии со своими званиями, так что мелкой шляхте достался серый конец, где сел между ними и Зарембо — владелец небольшой деревеньки, славный гуляка и сатирик, который в то время был еще более ненавистным обывателем, так как не разделял всеобщего огорчения, а все травил свои шуточки. После лояльного тоста за здоровье Светлейшей императрицы, предложенного губернатором, шляхта встала, выпила и снова села, а Зарембо добавил, что с того времени, как он на верность Августейшей Девы присягнул, то все выразительнее чувствует желание воровать, которое у него все усиливается. Губернатор заговаривал то про то, то про это в надежде, что кто-то из обывателей предложит другой тост за такого высокого чиновника, каким он сам себя считал. Но когда никто на подобное не отважился, раздраженный губернатор принялся каждого по очереди спрашивать:

— Кто ты таков?

Каждый отвечал как требовалось, называя себя по должности, которую ранее занимал, или в соответствии с присвоенным ему почетным титулом, а губернатор, желая унизить шляхту, кричал каждый раз:

— Да я больше!

Как подошел черед Зарембы, он, поднявшись, писклявым голосом просил его уволить от обязанности отвечать. Когда это было переведено губернатору, тот, развалившись в кресле, повторил приказ:

— Говори!

Зарембо вновь покорно поклонившись, писклявым голосом промолвил:

— Я — дурак, Светлейший Пан.

А губернатор, не задумываясь над значением этого высказывания, повторил свое обычное:

— Да я больше!

Столкновение этих высказываний вызвало неожиданный смех всех присутствующих, а губернатор, догадываясь, что, видимо, случилось что-то неприличное, приказал своему секретарю, который понимал по-польски, объяснить значение сказанного. Удивленный эдаким лихачеством шляхтича, приказал сейчас же посадить его на гауптвахту.

Просидев там несколько часов, Зарембо, когда уже все успокоилось, извлек из кармана рубль и, держа его обеими руками с повернутым вперед портретом царицы, с торжественным видом промаршировал из кордегардии[58], крича охраннику:

— Не тронь, государыня идет!

Охранник от неожиданности отсалютовал и выпустил заключенного. Зарембо с тем самым торжественным выражением на лице прошел через охранника возле дома губернатора и появился в его покоях с рублем в руке, как был перед этим. Испугался сразу и удивился губернатор такому

зрелищу, но через минуту, немного успокоившись, догадался, что «дурак» по-польски означает «шут» по-российски. И как такового избавил его от дальнейших неприятностей.

## Раздел IX

## Образование Богуси

Время, которое заняло вышепредставленное описание, а также пока нашей героини Богуси не было на сцене, оно посвящалось ее воспитанию или образованию. Это дело было таким обычным, что подробное его описание мало бы заинтересовало читателей; по крайней мере, девочки, как правило, более послушные и менее шаловливые, чем мальчики, но они не выявляют такого разнообразия в детском развитии, не демонстрируют определенных отметок гениальности, которые позволяют судить о характере мужчины в будущем.

Дело образования Богуси не раз обсуждалось родителями, не раз казалось, что был уже точно определен и способ, и порядок, согласно которому Богуся должна была начать науку, но всегда как-то получалось, что исполнение этого постановления было более сложным, чем нам это видится. И Богуся воспитывалась без принуждения, не догадываясь даже, что все же ей нужно когда-то засесть за книжки. Правда, для приучения ее к науке не однажды привозили книжки с картинками, которые она, несомненно, любила, потому как картинки из этих книг выдирала для нарядов своих кукол, но привлечь ее букварем Кукевичова никак не могла, пан Войский тогда кричал, чтобы не трогали ребенка, а панна Войская желаниям мужа никогда не перечила.

Только когда ксендз Булгак, как обычно, заехал в очередной раз к Войским и оказал на них сильное влияние, а Войскую устрашил угрызениями совести, тогда они искренне задумались про обучение ребенка. А по причине того, что сама панна Войская была воспитана в монастыре бенедиктинок в Несвиже, это место, по ее убеждению, было наиболее подходящим и для дочки, тем более, что должность настоятельницы заняла там панна Костюшко, сестра Тадеуша, ее давняя подруга, знакомая четы Войских до того еще, как она стала законницей.

Слушал пан Войский эти планы и хоть мешать им не собирался, однако всем сердцем желал, чтобы ничего из этого не вышло, так как разлучиться с Богусей не имел он силы. Даже когда панна Войская с Богусей сели уже в коляску, отправляясь к монашкам, то и тогда пан Войский не мог поверить, что панна Войская оставляет их единственное дитя в монастыре.

Когда же через два дня панна Войская вернулась из Несвижа без дочки, пан Войский не мог спрятать своего разочарования. Он расспрашивал про каждую мелочь расставания и, хотя никой оплошности не нашел, заметил:

— Ах, сердце мое, не нужно было ее оставлять там сразу, нужно было сначала только показать ей место и тех монашек, так и ребенку потом легче было бы с нами разлучаться. А так насмерть заскучает девочка.

Панна Войская в свою очередь утверждала, что Богуся без колебаний и мужественно выдержала это прощание, что она, когда уже забирали ее монашки, казалось, была всем довольна, только бы родители скорее ее навестили. Но это заверение, несмотря на его дельность, не могло успокоить Войского, ибо без Богуси в доме стало тоскливо, не было слышно ее голоса и топота, которые делали такой людной глухую теперь деревню. Чтобы успокоиться, пан Войский пошел в поле и провел там больше, чем обычно, времени, потому как увидел много недоработок, ему все не нра-

вилось, но и по возвращении домой его настроение не улучшилось — не было там Богуси, которая с ним бы щебетала и отвлекала мысли от хлопот по хозяйству.

Единственная надежда обоих родителей возлагалась на то, что скоро приближался святой праздник в Несвиже, поехав на который, они и с дочкой свидятся, и сами успокоятся, а упование на Бога вдохновило их еще большим чувством, ибо известные слова: «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле» давали им надежду, что отречение от приятности для повинности может быть признано за заслугу, такую желанную для души настоящего христианина.

## Раздел X

## Порциункула в Несвиже. Альба

В воскресенье Войские поехали в Несвиж; было это второго августа, праздник Наисвятейшей Панны Ангельской, а также Порциункула, великий праздник у отцов бернардинцев. Войские имели намерение не только навестить дочку, но и исполнить свой религиозный долг: пойти на исповедь и причаститься святыми дарами для отпущения грехов и, кроме того, для обеспечения счастья своей Богуси в будущем.

С такой набожной целью Войские натощак выехали в тот день из дома и не прерывали разговорами своих раздумий, хоть и сидели вместе в коляске; группы крестьян и крестьянок вдоль дороги, которые там останавливались, чтобы переодеться в чистое, подсказывали им, что приближается конец набожного путешествия. Мужчины, надев сапоги и повытряхивав пыль из шапок и капотов, были уже готовы, а женщинам, особенно девушкам, было не так просто облачиться. Кроме того, что им нужно было надеть чулки и туфли, потому как всю дорогу они прошли босиком, девичий убор на голове требовал немало времени, особенно в ту пору, когда тяжело уже найти цветы. Рута, шалфей, мята и божье деревце[59] придают венку зеленый цвет, затеняя синеву редкого уже василька, яркий багрянец гвоздик и ноготков. Белый цветок дикого повоя еще можно сям-там увидеть, но другие цветы уже отцвели, они в состоянии дозревания или с семенами, а связанные в пучки, они создают что-то вроде аллеи, когда набожный люд начинает двигаться вперед. В этих пучках довольно часто можно заметить и червец[60] — великое сокровище нашего края; только из-за неосведомленности и нерадивости обывателей этот товар не попал в торговый список. Это растение, усыпанное, как шишка, темно-малиновыми червяками, похоже на цветок; деревенские женщины используют его (после вываривания в воде з добавлением голуна) в качестве красителя малинового цвета для полотен, кусков сукна на выпустки[61], а также для шерстяной пряжи, из которой девушки делают своим нареченным пояса в подарок, а в некоторых местностях даже коврики. Этот цветок, червячки которого (или червь) имеют в торговле название кошениль[62], или кармин, и цена, как говорят, на вес золота.

О! Наичудеснейшая Панна Ангельская, сделай милость, чтобы в отдалении и унынии, рассуждая сегодня про праздник, который устраивает Тебе верный твой польский[63] люд, мог оказать достаточное влияние, чтобы тот червец, известный до этого времени как растение, обратил на себя внимание просвещенных людей, чтобы они с помощью микроскопов могли исследовать жизнь и природу тех мельчайших живых организмов, которые образуют цветок, справедливо названный червец, чтобы они старательно занялись исследованием природы, развития и размножения таких полез-

ных, чудесных и ценных червячков, чтобы пример настойчивости нашего земляка Анатолия Бронского, который долго исследовал в Париже природу шелкопрядов и добыл шелк такого совершенства, на которое лучшие специалисты даже не надеялись, побудил и тех, кто живет в крае, заняться судьбой червеца и увеличением национального богатства.

Сложно рассказать о празднике Порциункулы в Несвиже читателю, неподготовленному к впечатлениям, которые обычно рождаются в душе и сердце, когда подобным на стон голосом колоколов издалека собранная с набожной целью в место отпуста[64] толпа сойдется в костеле, где горят тысячи восковых свечей; аромат луговых трав, внесенных пучками в костел, обострит ощущение запаха, и августовская жара, усиленная толчеей, создает у богомольцев какое-то дивное настроение; тут при звуке сигнатурки[65] возле захристии[66] склонятся все головы, и начнут в тишине двигаться парами к алтарю ассистенты церемониала со свечками в руках; наконец и священник, который управлял торжественным богослужением, пройдет свободным шагом среди толпы, что расступается перед ним до градусов и, упав там на колени со сложенными руками и склоненной головой, запоет степенным голосом:

Восславим же Имя Твое Святое.

И тут открываются занавески алтаря, а весь люд, к земле склоненный, заканчивает гимн хором:

Всем земным существам дорогое,
Чтоб мы Небо получили,
Век с Ним господствовали,
С Ним царили.

Если кто-то в вашем окружении не является набожным, отправьте его на праздник в Несвиж. Пронизанный страхом, он не отважится более насмехаться над обрядом, это смягчит его суровое сердце и тронет до глубины души языком не этого мира. Но что здесь спорить, мало ли у нас в Польше известных отпустами мест! Повсеместно собирается огромное количество людей, очевидно, кто-то приходит даже без набожных способностей, а между тем, несмотря на отсутствие полиции, несмотря на многочисленные — не возражаю — непорядки, несмотря на толчею на выходе из костела (прямо душатся и ломают ребра), не случается, однако, чтобы у кого-то в костеле что-то пропало, чтобы часы, сакевку[67] или табакерку там украли, а такие случаи весьма распространены в других странах. Только подними глаза и посмотри, как все возле алтаря одним заняты: воздавать славу Творцу; это песенный разговор священника с хором, это прерывистые вдохи набожного люда, это бесконечный по всему костелу дым от кадила — все, кажется, разом возносится к небесному своду.

Из костельного богатства, которое неизменно поражает, внимания заслуживают орнат[68] и альба[69], в которых ксендз провинциал отправляет святое богослужение; почти весь тот орнат сделан из литого золота и серебра и украшен драгоценными камнями (это щедрый дар князя Кароля Радзивила Пане Коханку); два ксендза в долматиках[70] ему под стать. Усевшись с одной и другой стороны алтаря в два хора[71], конвент и ксендзы с околиц заполнили место между алтарем и кратками, которое называется пресбитериум[72]. Остриженные головы и серые габиты отличают законников от парафиальных ксендзов, убранных в комжи[73].

Притих на мгновение орган, и самое первое «Gloria in Excelcic Deo»[74] уверило набожных слушателей в том, что ксендз провинциал хоть сам и стар уже, однако еще имеет сильный и красивый голос, который свидетельствует о его добром здравии и моральной чистоте. Голоса ксендзов,

которые поют святую мессу за приделом, по сравнению с этим голосом кажутся кошачьим мяуканьем или неблагозвучным передразниванием писклявого ребенка. Когда весь хор под орган запел соответствующий гимн, задрожали стены костела, а люди, будто пронизанные электричеством, еще более искренне принялись молиться.

Пустое дело восхищенно описывать впечатления от религиозного обряда в отдельных наших стародавних польских костелах, ибо те же самые впечатления будут по всей стране польской. И хоть латинский язык непонятен, известно, большинству народа, есть некоторые фрагменты, переведенные на польский язык (у нас, по крайней мере, в Литве), в которых весь люд чинно принимает участие и выражает этим, как ему было бы приятно и полезно, если бы все части святой службы были бы ему доступны. Ибо когда после Санктуса[75] все могут запеть: «Святой! Святой! Святой! Пан Бог заступник, полны Небеса и Земля хвалы Ему», то искренность и набожность людей в этом хоре позволяет судить о том, что ангелы возле Божьего трона должно быть радуются такой молитве.

Второй раз люди участвуют при поднятии вверх Святого Сакрамента[76]. Но мелодия хора «Agnus Dei» так красиво звучит под орган по-латински, что ни один органист с хорошим вкусом не позволит петь этот фрагмент по-польски. Когда же склоненный над хостией[77] священник бьет себя в грудь, а тем, кто его видит и кто не видит, звоночек трижды объявляет, что он приступает к исполнению памятки Тайной Вечери, весь люд в смиренной позе, как по команде, также бьет себя в грудь, торжественным и спокойным голосом повторяет: «Вот Агнец Божий, который исправляет грехи мира, Пане, я непотребный...» и т. д.

Эдакое бормотание и одновременные удары в грудь нескольких тысяч человек производят такое впечатление, которое нельзя ни с чем сравнить. Наконец супликация[78], процессия и благословение людей монстрацией[79] оказывает на верующего и верного поляка такое сильное влияние, что он про это даже за границей забыть не может. Тот, кто был на таком торжестве в Несвиже, не получит подобных впечатлений нигде на свете. Наоборот, глядя в других странах на босетли[80] и тромбоны при алтаре, на швейцарцев, которые шляются с алебардами по всему костелу, будто убийцы Ирода, смотря на ксендзов, которые сюда-туда маршируют как фигляры, когда происходит великая жертва, сразу видишь разницу между почтенностью нашего и зарубежного духовенства. Чего стоят одни только среди нашего самого искреннего (чтобы оно и случилось) душевного потрясения поднесенные на длинном шесте под нос того, кто молится, которые дребезжат и трепыхаются до той поры, пока туда не будет что-то опущено; они такое представляют противоречие богослужениям в Несвиже, что для того, кто там был, никакое оправдание чужеземной привычки не будет убедительным, ибо сами отцы бернардинцы не имеют и правилами закона вынуждены не иметь имущества. А то, что соберут по дворам, а не на мессе, они раздают убогим; множество людей, у которых не спрашивали никогда ни про их фамилию, ни про их состояние либо веру, питались у них в определенное время в рефекторе[81]; странник имел возможность переночевать и хороший прием, больной получал лекарство, поддержку и утешение, поэтому никто из разумных людей и не попрекал их тем, что они живут с милостыни, а каждый бернардин святоши из себя не строил и со всеми вел себя по-свойски.

Временами попадали в это общество и люди высокого происхождения; в светской жизни сломанные неурядицами, они надевали на себя грубый габит, только бы в покое и с молитвой завершить свою тяжелую жизнь. Таким был, к примеру, и квестор Булгак, который, как брат, не в хоре, где находились священники, а вблизи хора на твердом полу преклонял колени.

Вот пропета «Salvum fac Popuum tuum Domine»[82], ксендз отец провинциал, который ладил торжество, следом за теми самыми парами, которые вели его к алтарю, вернулся в захристию, и только теперь люди начали выходить из костела. В двери, хоть они и широкие, вся толпа не может протиснуться, тем более, что на бабинце и перед костелом толкаются нищие, которые собрались сюда со всех околиц, а милостыня, которую они получают от тех, кто выходит, имеет дополнение: «Молись за душу Яна, за душу Агнешки, за погибших на войне, за души, что в чистилище...» и так — целый реестр имен, перечисленных в календаре, что носили когда-то при жизни сейчас уже умершие родители, родственники или приятели. А когда в смерти кого-либо не было уверенности, прибавляли: «Молись за отсутствующих, людей угнетенных и несчастных; за тех, которые пристанища нигде не имеют; за тех, кто в дороге, на море либо в тюрьме». Словом, так много потребностей, так много разных просьб, что если бы ангел не записывал их в своей книге и не представлял Богу как жертвы чистого сердца, то мало было бы надежды на память тех, кто их слышал.

Постепенно эти фаланги расходятся, свежий воздух попадает в грудь, можно вздохнуть. Тут начинаются приветствия и взаимные поиски разлученных в толпе, или тех, кто был замечен в костеле, где не было возможности расспросить про здоровье, про хорошие новости и про все обстоятельства, что так сильно трогают чуткие сердца. Так перед костелом образуются группы людей, но выстрелы бича и звоночки краковских хомутов повелевают уступать дорогу; наблюдая за входом в костел и за колясками, можно видеть, как паны и пани, в соответствии со всеми правилами этикета здороваясь и прощаясь с людьми своего круга, садятся в коляски и медленно уезжают.

Не нравилось Войскому ждать в костеле пока разойдутся люди, потому что хотелось ему скорее увидеть свою Богусю. И хоть пани Войской также тяжело было терпеть, однако она, боязливая от природы, считала, что лучше пересидеть на лавках, когда же ей дали знать, что скопление людей и экипажей рассеялось, тогда только двинулись Войские в монастырь бенедиктинок.

Легко себе представить, какая это была радость, когда в монастырь явились гости; Богуся уже с самого утра проведав от привратницы, что лакей Войских принес ей угощение, и сами они уже находятся в костеле и будут в монастыре панночек обедать, дождаться не могла окончания этого богослужения и появления родителей, и что самое обидное, хоть она и рада была не отходить от окна и высматривать их издалека, но монастырские строения располагались так, что через окна, которые выходили на детинец, никого (кроме тех, кто там жил) увидеть было невозможно. Уже давно минул полдень, когда послышался издалека грохот коляски, а потом звонок при воротах оповестил, что приехали так нетерпеливо ожидаемые гости.

Напрасно уважаемая растроганная настоятельница хотела поздороваться с Войскими, потому как уважаемая пани Богуся, как муха, летая попеременно от материнских уст к отцовским, никак подступиться не давала. Только после того, как та — смеясь и плача — с ними уже наобнималась, почтительная настоятельница смогла ее, немного уже утомленную, кое-как успокоить и пригласить Войских в порлеториум[83], где ожидал их накрытый на четыре персоны стол с обедом.

После обеда по знаку настоятельницы пришли монашки, которые уже раньше познакомились с Войскими, чтобы приветствовать таких приятных гостей. Богуся хотела, чтобы все пошли к ней, в ее личную келью, и ласково целуя руки настоятельницы, просила, чтобы туда занесли кофе и сладости. Но каким же было ее удивление, когда она узнала, что исполнить это желание невозможно из-за Войского, так как ему, как мужчине,

входить даже для того, чтобы осмотреть комнату своей дочки, привилегии не предоставлялось.

Разозлил ее этот, в детском понимании, неоправданный запрет, поэтому она еще сильней прижалась к отцу; дамы пошли в ее комнату, но она не отступила от него даже на минуту, не поддаваясь ни на какие уговоры и приманки. Более того, будто бы в вознаграждение за оскорбление (на что Войский, который был по должности опекуном женщин, совсем не обиделся), она окончательно постановила вернуться с отцом домой и остаться при нем.

Отцу не было неприятным это заявление Богуси, которую никто не подучивал, он не только не стал бранить ее, а даже похвалил, хоть и пожалел скоро, потому как Богуся, когда мать вернулась в порлеториум, в присутствии настоятельницы свое безопиляционное заявление повторила. А когда родители, не придавая этому заявлению большого внимания, желали уже под вечер отправляться домой, она также была готова к отъезду и своими просьбами и слезами окончательно пошатнула слабую в ее отношении волю родителей. Хотели было ее обмануть, что Войские, будто бы едут только на нешпоры[84] к отцам бернардинцам и вернуться оттуда в монастырь, но Богуся, не догадываясь даже про этот обман, так твердо решила не разлучаться с ними, что время затянулось до самых нешпоров, на которые — хочешь, не хочешь — нужно было ехать вместе с ней в надежде, что время и вдохновение Святого Духа помогут преодолеть ее упрямство. Но дитя и после нешпоров осталось при своем решении, и озабоченный пан Войский решил обратиться за советом к ксендзу Булгаку; когда же он в захристии рассказал, что произошло, почтительный бернардинец немилосердно на него накричал за такое безграничное потакание ребенку, припомнив известный стих: «Розгою Дух Святой деток бить учит». Не переубедили ни Войского, ни Богусю эти аргументы, наоборот, сама суровость науки так сильно обеспокоила их, что Войский, поцеловав дитя, которое прямо таки тряслось от страха и прижималось к нему, громко объявил:

— Не плачь, мой ангел, не плачь, я тебя здесь не оставлю, потому как вижу, что тебя здесь ожидает.

Понял Булгак, что его совет вызвал противоположный эффект, и что придется или навсегда поругаться с Войским, или представить ему другой план, чтобы дитя, по крайней мере, получило пристойное воспитание. Подумал он тогда и сказал:

— Так сегодня не едьте, завтра, может быть, что-то придумаем.

— Однако же, ксендз Булгак, — ответил озабоченный Войский, — мы ехали сегодня только на богослужение, не взяли с собой никаких вещей, у жида в корчме чистой постели не найдется, дома панщина на завтра не распределена, а в хозяйстве пора ответственная — скоро нужно озимые сеять.

— Вот уже вместо одной, — отозвался Булгак, — две заботы! С этой твоей панщиной, отпусти, Господи, тяжкие грехи, я не справлюсь, а жену с дочерью отошли к паненкам бенедиктинкам, сам же у нас переночуешь, так как есть кельи для гостей, на одну из которых ты имеешь право, ибо щедро жертвуешь для нашего монастыря.

Услышав это, Богуся припала губами к отцовской руке и зашептала:

— Отче, не соглашайся на это предложение, я без тебя к монахиням не вернусь, а они тебя туда не примут. Поехали домой.

Услышал это Булгак и через минуту сказал:

— Ну-ну, что же тут поделаешь; ты, маленькая шалунья, останешься с отцом в монастыре, с этим не будет проблем, но мать должна вернуться к законницам, ведь у нас нет места для взрослых женщин.

На это Богуся запрыгала от радости и закричала:

— Ах, как хорошо, мой папа, что я с тобой останусь. Пусть мама едет к монахиням, они такие хорошие, завтра увидимся и мы с ними.

И случилось так, как этот маленький диктатор постановил. Удивилась настоятельница, увидев, что Войская возвращается одна, и даже немного обиделась, когда узнала, что Богусе, которая была здесь, как малый котик, любимым ребенком всех монахинь, таким ненавистным стал монастырь, раз она ни за что не хотела сюда возвращаться. Но что тут поделаешь? Не стоило размышлять про причины и следствия такого бунта, когда это случилось из-за родительского попустительства и нежности к единственному дитяти, а укорять этим мать было невежливо.

И деликатная настоятельница восприняла это, как детскую прихоть, со смехом, демонстрируя радость от того, что пани Войская получила разрешение дочери оказать монахиням честь, воспользовавшись их гостеприимством. Поэтому кони пошли в монастырскую конюшню, а лакей — в фольварк, ведь в нашей старинной Польше не было еще такой моды, чтобы — или в частном, или в монастырском доме — лошадей и лакеев отправлять в корчму.

Назавтра в монастыре бенедиктинок раньше всех появился ксендз Булгак, так как бывший юрист, а сейчас и кусташ этого монастыря, он имел сюда свободный вход.

После общего совещания постановили, что преподобная настоятельница, выбрав из шляхетных девушек, которые воспитывались в монастыре, способную к наукам и не связанную брачным законом барышню, отправить ее бонной к Войским, а потом, в соответствии с успехами и способностями Богуси, будет посылать ей других, лучше подготовленных.

Таким образом, Войские с дочкой и гувернанткой вернулись домой, где в течение нескольких лет Богуся получала образование у учительниц, которых присылала панна Костюшкова, и которые менялись в соответствии с учебными предметами, каковым законницы с большим желанием учили родовитых светских барышень. А в силу того, что приют бенедиктинок обычно складывался из девушек, которые принадлежали к первым фамилиям в крае, то обучение происходило легко, в особенности потому, что Богуся была добродушным, разумным и вежливым ребенком.

## Раздел XI

## Год 1811. Комета. Пожары

1811 год Богуся встретила уже как дева, в которой кроме умственных способностей развивались и внешние формы. Не желал пан Войский свою единственную дочку готовить в законницы и мысль о таком воспитании его не раз пугала, в особенности в силу того, что имение постепенно увеличивалось и было в состоянии обеспечить ей приличную партию. Но связанный деликатностью и незаинтересованностью законниц, он не мог избавиться от их влияния. На счастье, удивительные происшествия 1811 года, кто его помнит, сами собою дали такую возможность.

Вначале того лета появилась на небе комета, а на земле неслыханная засуха. Комета, величиною около половины месяца, появлялась каждый вечер с западной стороны, наклоняя свой хвост, который повсюду называли метлой, на север. Война и поветрие, возможно, были последствиями этого явления. Каждым вечером выходил Войский посмотреть на небо, на котором отражались отблески пылающих неподалеку лесов, болот, стодол и довольно часто деревень. В лесах дикие звери, окруженные пожаром, немилосердно ревели, но голоса их постепенно слабели, и клубы дыма

с усиливающимся пламенем свидетельствовали о том, что горели жирные звериные туши. Не раз приходило известие, что стада домашних животных и табуны лошадей, часто с пастухами, проваливались на выжженных изнутри торфяниках. Никто не был уверен, где безопасно поставить ногу. Все коммуникации и посещение гостей прекратились, неимоверный страх воцарился вокруг. Однажды вскочили на детинец Войского со стороны пылающего леса обугленные лошади без грив и хвостов, с остатками шор[85] на себе, которые свидетельствовали, что какой-то ухарь-ездок должен был с коляской сгореть, однако так никогда и не узнали, кто это был, хотя пан Войский прилагал все усилия, чтобы разузнать о несчастном и вернуть хотя бы лошадей умершего наследникам.

Однажды в воскресенье, когда Войские поехали в ближайший униатский костел, именно тогда, когда священник произносил торжественные слова: «Со страхом Божеским поклонимся», поднялся там такой великий шум, что отец прервал службу, пока не узнал истинной причины того волнения. Но в скором времени, вызвав удивление встревоженной толпы, промолвил: «Дети, не падайте духом, несчастье близко, мне сказали, что огонь приблизился к лугу Войского. Если этому несчастью силой не помешать, огонь может перекинуться на деревню. Всевышний не только не запретил нам, но приказал благотворить каждый день, даже и в шабат или в воскресенье. Так пусть мужчины во имя Господа идут в то опасное место и спасают соседа, как Бог их вдохновляет, а женщины и дети пускай останутся в костеле до окончания богослужения, ибо их помощь не очень там нужна, а молитву, когда та будет от сердца, Бог милосердный, может, и выслушает».

И, подождав по окончанию святой мессы, пока не установится снова порядок, продолжал петь и читать молитвы мягким и выразительным голосом, который мог заставить каждого поверить в Божью ласку; перекрестив поклонный люд и отчитав последнюю евангелию, стал на колени у градусов и затянул: «Святый Боже, Святый всесильный» и т. д. Строфу «От болезней, голода, огня и войны» он повторил три раза. Потом — «Приди, Ранняя звезда» из давнего «Золотого Алтарика», каждый фрагмент которого так подходит к нашей стороне, — проникновенно выводя: «Возьми нас под Свою святую опеку, Божий гнев отдали». Затем отчитал молитву к святому Флориану, верному защитнику против пожаров. Далее — «Под твою защиту отдаемся, Святая Матерь Божья». И окончил все это красивым гимном на русском[86] языке: «Пад Тваю Міласць паддаемся Божэ, Божэ, Божэ наш» и т. д.

Тянул учтивый священник как можно дольше богослужение, несмотря на то, что был уже первый час, а он сам был еще натощак. Но две цели имел он во внимании: во-первых, молитвой выпросить спасение, во-вторых, задержать женщин и детей в костеле, чтобы не были помехой тем, кто сражался с пожаром.

Но когда в костеле уже все закончилось, то угроза от опасного огня была еще велика. Луг был густо покрыт стогами сена. Земля, нагретая жарой, хватала каждую искорку и превращала в пламя, а воздух, раскаленный с обеих сторон — и с неба, и с земли — так разрядился, что образовалась в нем тяга, как в сирокко. Само движение людей прибавляло силы пламени, а тут еще нигде невозможно было найти хотя бы каплю воды. Все потоки, болота и даже речки пересохли, только в колодцах, причем в очень глубоких, оставалось немного воды, которой не хватало, даже при большой экономии, на домашние нужды и чтобы напоить скот.

Так для тушения огня на пылающем лугу использовались ветки березы или любого покрытого зеленой листвой дерева, которыми одни сбивали на земле пламя, а другие спешно отодвигали стога сена, таща их в сторону, не

занятую огнем. Впустую спасали! Невидимое пламя, которое можно было ощутить только из-за его жара, из-под рук занимало спасенное сено, поэтому нужно было его оставлять и спасать еще не охваченные огнем стога.

Вот так разгорался пожар, посланный прямо с неба; земля на несколько стай[87] пылала огнем и спасатели повсюду могли оказаться в опасности. На нескольких людях непонятно каким образом загорелась одежда, и только разорвав и поспешно скинув ее, спасли им жизнь, но со страданиями, которые обычно оставляют ожоги.

Ширится огонь ближе и ближе к полю с зерном, с золотистою уже пшеницей и рожью, так как в тот год все вызрело скоро. Шляхетный люд кричит, что нужно оставить луг и спасать зерно. Скорее, чем получилось бы при обычных обстоятельствах, появляются косы, грабли и вилы. Одни, чтоб скорее, косят зерно, другие его отгребают, чтобы спасти, что можно, и отодвинуть от огня материал, что хорошо горит. Но и этот способ плохой. Огонь опережает работу и угрожает самому двору новой опасностью, потому как сосновые заборы, которыми со стороны двора было ограждено от скота зерно, начинают гореть, как плошки. «Разбрасывайте заборы», — слышатся вокруг возгласы.

Костельный звон, по три раза в одну сторону ударяя, оповещает соседей об опасности, и в воздухе сухом, а потому тугом, звук можно услышать далеко. А тут почтенный священник со святой водой, исполненный Духа Божьего, приходит на место опасности, а за ним — процессия мужчин, созванная колоколом из окрестностей, с косами, вилами, граблями, а также плугами и боронами, сколько удалось на скорую руку захватить. Разбросали неохваченные еще огнем заборы близ двора, чтобы настоятель смог обойти с Сакраментом возле строений.

Здесь, на святой дороге, ксендз настоятель, униат, поставив за собою шеренгу людей, которые пришли с ним (одни — с косами, другие — с вилами, третьи — с плугами, четвертые — с боронами) запел: «Кто отдается в опеку Господу своему» и пустился вдоль по зерну, а за ним — целая процессия, которая пела и в такт косила и отгребала с дороги зерно. А плуги и бороны запахивали и ровняли пожню. А когда три раза прошли туда и обратно по нескошенному, но пожелтевшему зерну, сделалось чистое пространство, запаханное и забороненное, способное с Божьей помощью заслонить двор от пожара. После, оставив часть еще нескошенного зерна с левой, более далекой от двора стороны, он позвал всех людей, что там работали, чтобы эту часть, что была ближе ко двору, скосить и очистить. И, перекрестив оставленную часть Святой монстранцией, запел: «Твоя Слава и Хвала, наш вечный Пане, на вечные времена пускай не погибнет».

И хотя в этой процессии и работе женщины вовсе не участвовали, пани Кукевичова, видя почтительного настоятеля и Святую монстранцию, не позволила себе быть исключенной из сего дела, и, вспомнив о хлебе Святой Агаты, который между реликвиями нашла, бросила, когда оставшаяся часть зерна уже догорала, в огонь несколько кусочков и чрезвычайно обрадовалась, что действенно присоединилась к сохранению от полного уничтожения остатков собственности Войского.

Вот какое оно, не скажем — незначительное, но плохо описанное одно из несчастий 1811 года; страшнее того, что пришло после него под именем французской войны, ибо люди, видимо, из-за собственного лицемерия и распущенности уничтожали и убивали друг друга, а мороз пришел сдержать их злость, и рука Божия там была видна. А между тем, когда о делах людских 1812 года столько томов написано, столько сделано изображений, на которых показаны ужасающие сцены взаимного уничтожения, то несчастья 1811 года, как предостережение Божие, были забыты и остались записаны только астрономом, который вел наблюдения за кометой, и вино-

делом, который записал в книге, что вино 1811 года было наилучшим, поэтому когда-то его можно будет хорошо продать.

В то время, когда описанное происшествие встревожило всю окрестность, когда все чрезвычайно охотно, не ожидая никакой платы, кинулись на спасение имущества Войского, воспитанница монастыря и тогдашняя гувернантка Богуси, панна Корбутовна искала помощи и утешения в молитвах. А когда молитвы уже заканчивались, а опасность еще увеличилась, слабая человеческая натура взяла над ней верх. Боязливая и от рождения чувствительная, не имея силы противостоять страху, она обмерла. Пани Войская, больше обеспокоенная отсутствием мужа, который находился в самом пекле, чем потерей целого поместья, не могла хотя бы чем-то ей помочь. Кукевичовой, которая имела в таких делах наибольший опыт, поблизости не было, так как она присоединилась к процессии, поэтому забота вернуть в сознание свою учительницу и успокоить мать полностью свалилась на Богусю.

И хоть опасность, похоже, уже миновала, а дом Войских понемногу начал возвращаться к порядку, учтивая Корбутовна, которая чувствовала, что может освободиться от ужасных впечатлений только под опекой преподобной настоятельницы и поэтому хотела бы как можно быстрее вернуться в монастырь. Напрасно знатная дама прятала этот секрет от мужа, не желая беспокоить его новой заботой поисков если не учительницы, так хотя приятельницы для Богуси, напрасно сама она с беспокойством рассуждала о несвоевременности решения покинуть их дом в такую неблагоприятную пору, чтобы заводить новые знакомства. Панна Корбутовна так подурнела, что это было замечено паном Войским, когда же ему сообщили причину, так он сотню раз прося прощения, приказал отвезти ее в Несвиж и в особом письме, написанном к уважаемой настоятельнице, сообщил, что Богуся, благодаря пане Корбутовне, свое образование завершила, что ей остается только немного набраться светских манер, а потому он отправит девушку на какое-то время в Новогрудок.

Не могла уважаемая настоятельница оспорить это решение родителей, по крайней мере, потому, что и сама она в молодости успела освоиться в высшем обществе магнатских домов и находила там достаточно пользы и приятности, пока высший свет ей не приелся из-за напыщенности магнатов, оскорбленных тем, что ее любимый брат Тадеуш попросил руки магнатки, и это отправило ее саму в монастырь, а брата осудило на пожизненное безбрачие. Потому в написанном в ответ письме она высказала надежду, что дочка Войских, имея укорененную в своем сердце веру и достойный пример родителей перед глазами, сумеет противостоять соблазнам света; в отдельном письме к Богусе, прислав ей свое благословение, она добавила: «Теперь, моя дорогая, осмотрись хорошенько в свете, а когда он тебе наскучит, и ты получишь разрешение родителей, посвяти себя Богу, который один только есть правдивое счастье и жизнь».

## Раздел XII

## Панна президентова Пацынина

В то время в Новогрудке не было ни одного дамского пансиона, но была панна Пацынина, которая по просьбам и из-за уважения к родителям, принимала к себе на воспитание знатных дочек. Собирались у нее на забавы и вечеринки чиновники и палестра[88], но она глазом аргуса[89] способна была предвидеть все их намерения, а замеченная мельчайшая бесцеремонность либо неосмотрительно оброненное неоднозначное слово навсегда

закрывали перед таким шутником ее двери; и этот приговор на изгнание она без колебания и без сообщения кому-либо другому провозглашала грешнику при прощании.

К ней приезжали матери с дочерями, которые желали показаться на косыне либо на какой-нибудь другой публичной забаве; у нее завязывались знакомства, которые, бывало, завершались браками; она имела влияние и могла помочь молодому человеку занять более высокую должность в любом виде деятельности; хотя сама она никогда не входила в судебные интриги, однако рекомендовала адвокатов тем, кто приехал по делам, и давала этим моральную гарантию насчет того, кому можно доверять; а для молодежи ее рекомендации способствовали развитию талантов, которые не были замечены другими. Она знала повет как свои пять пальцев; заслужить ее расположение как для мужчины, так и для женщины было счастьем, и, наоборот, несчастьем было ее оскорбить. Никто по ее адресу не шутил, так как всем нужна была ее рекомендация, а кого у нее не принимали, на того (без всяких шансов оправдаться), как саван на покойника, падало подозрение.

Ее муж еще перед разделами края был в Новогрудке городничим[90], уважаемым всеми за кристальную честность. Когда изменилась политическая ситуация, он остался без средств к существованию и без должности. Жена его, в то время еще молодая и приличная, не унизила его никакими требованиями, чинила дыры как могла. К счастью, лучшая звезда им засветила, когда благословенный мученик Павел[91], взойдя на престол, вернул Литве давний Статут[92]. В соответствии с ним, хоть и исключительно для знати, были всеобщие выборы уездных и губернских чиновников. Так часть той шляхты, что некогда выбрала на престол Михаила Корибута Вишневецкого[93],который не надеялся на такую честь, на первых новых сеймиках выбрала экс-городничего Пацыну президентом гродским[94] Новогрудского уезда. Испугался этого выбора Пацына, не представляя себе, за какие средства можно достойно соответствовать этой должности, но жена успокоила его обещанием, что не нужно будет больших расходов, что не умножая расходов, она сумеет содержать дом из легальных коп, это значит, из определенных правом платы, которая надлежит за судовые дела, а главное, нужно согласиться на предложенную должность потому, что закончились уже все их запасы, и ожидает их голодная смерть, так как оба они не способны к частной службе.

Так учтивый Пацына, с тревогою принявший предложенную ему должность, на первой же сессии объяснил коллегам и палестре свое критическое положение, которое не позволяет ему ни принять кого-либо из них у себя, ни дать обед. Такое признание потрясло присутствующих, но, избавленный по общему согласию от необходимости давать обеды, он не смог бы отказаться принимать приглашения, если бы решительно не возразил, что на таких условиях не примет должности и сейчас же подаст в отставку. Однако он со временем, хотя и не полностью, это свое упрямство преодолел, а панна президентова смогла приглашать на чай сначала небольшое количество людей, а затем все больше и больше, убеждая мужа счетами, что удалось кое-что сэкономить из коп, чего невозможно было успешно совершить без помощи палестры, которая знала их положение и так скоро решая дела, имела их достаточно, потому собирала тысячи.

* * *

Но через несколько лет президент Пацына, вызвав этим всеобщую печаль, умер, оставив вдову без средств к существованию. Тогда адвокаты Франтишек Пилецкий и Тадеуш Гатиский, а также регент[95] Тадеуш

Чечот, более поздние президенты разных юрисдикций, не слагая никаких громких, похожих на тогдашние самохвальства октав, образовали комитет и за собственные вклады, а также за счет пожертвования друзей, что знали Пацыну, купили двор в Новогрудке на Базилианской улице с официнами[96] и конюшнями на имя вдовы, чтобы та, сдавая часть в аренду, могла обеспечить себе независимое существование.

Президентова согласилась принять этот дар, когда удостоверилась, что с ним не связаны никакие условия, но на то, чтобы сдавать в аренду комнаты, она не могла согласиться, не желая вести счета с нанимателями, так как ей казалось, что это оскорбляет ее достоинство. Потому обставленные официны и конюшни всегда были открыты для друзей покойного мужа. И это было еще лучше, ибо каждый, кто туда приезжал, оставлял воз продовольствия, которое ему якобы ничего не стоило, а также платил чистоганом даже больше, чем ему говорили, считая, что переночевать в доме президентовой приличнее, нежели в корчме.

Президентова приглашала к себе и необычные таланты, то есть признанные в Новогрудке. Белявский был музыкантом из прежнего славного оркестра Огинского в Слониме. О нем, о нашем маэстро, мы не скажем больше, чем он сам о себе сказал: будто он переписывал и поправлял известные на весь мир полонезы Огинского. Иногда он не видел ноты и играл с головы вовсе не то, что было написано, только чтобы удержать такт, а предупрежденный учеником об ошибке, сваливал всю вину на очки. И он, возможно, был прав, ибо в Новогрудке не было оптика, это значит того, кто делает очки. Если же кто-то и приедет бывало, например, из Вильно с товаром на контракты, так его очки были весьма дорогими для человека семейного.

Мы теперь сами вынуждены использовать очки, чтобы написать эту рамоту[97], и убеждаемся, что много интересных деталей может быть упущено из-за слабого зрения и памяти.

* * *

Мэтром танцев был Ян Пилецкий, также из Слонимского балета. Был он невысокого роста и стройный, а жизнь его состояла из череды приключений. Под Дубенкой[98] он был награжден крестом и в скором времени получил звание поручика. Вернувшись же в дальнейшем к профессии учителя танцев, он не пользовался никакими титулами, только уже после его смерти были найдены при нем доказательства, о которых мы говорили. Весь курс танца (от постановки ног и фигуры до кадрили, очередь которой наступала после англеза[99], вальса, мазурки и краковяка) парням студентам стоил два рубля, но из этих денег нужно было нанимать музыку и зал, ведь ксендзы доминиканцы, которые содержали школу, не могли позволить ни в какой час дня бесплатно пользоваться классами для таких непристойностей. Но не каждый из желающих мог заплатить. Девушки платили на один рубль дороже, потому что, во-первых, считалось, что им в большей мере было необходимо уметь танцевать, чем парням, а во-вторых, и программа для них была более обширная, в нее входили менуэт и гавот[100]. Из-за такого суждения случалось так, что на забавах не хватало танцоров для всех танцовщиц; когда в мазурке, например, начиналась фигура с выбором, когда ловкие и шаловливые барышни тянули кавалеров из уголков на середину зала, чтобы образовался круг, то многие, боясь этой чести, как крысы по норам, прятались в боковые комнаты, где играли в карты либо курили трубки, разговаривая о лошадях и охоте. Пилецкий тогда не без справедливости выговаривал родителям:

— Лучше было отдать пару рублей танцору, чем все — шулеру.

И всегда он завершал:

— Потому что пан сам видит: танец для дам, но как не умеешь — срам.

Профессии учителей музыки и танцев так объединили Пилецкого и Белявского между собой, что они едва не слились в одну, как кентавр, фигуру. А когда музыкант во время перерывов, нужных достаточно часто, чтобы поправить движения неуклюжей молодежи, от скуки начинал дремать, то Пилецкий будил его ото сна своими возгласами: «Музыка, такт! Первая пара, такт!» и т. д. вплоть до момента, пока ученики не уходили, несколько раз кланяясь перед этим из третьей позиции, как им приказывал делать мэтр танцев. И тогда свою чрезвычайно тяжелую работу завершали они стаканчиком хорошо подслащенного пунша и разговором о былых временах, которые ни забыть, ни перестать жалеть никак не могли.

В деревне Пилецкий был желанным, потому как полезным гостем. Куда только он ни приедет — родители сразу приказывали детям танцевать, а он не мог смотреть на их ошибки и всегда их поправлял. И хотя считалось, что это делается даром, однако визиты эти и ему были более полезными, чем уроки в городе, так как это в польской натуре — нам более нравится быть щедрыми, чем исполнителями своих обязанностей.

* * *

Третьим в этом ряду лицом был мастер по фортепиано Бенедикт Павлович. Брат его Ян, говорят, был хорошим часовым мастером, он с прибылью торговал часами Бреге[101], сделанными у себя дома еще с большим совершенством, чем оригинальные. Тогда старший Бенедикт (сначала также часовой мастер), чтобы не создавать конкуренцию младшему брату Яну, которого он искренно любил, избрал для себя игру на фортепиано; пострадав на родине из-за этого нового для себя ремесла, он отправился после Амьенского трактата[102] путешественником на Запад, а добравшись, наконец, до Лондона, работал какое-то время на лучших фабриках фортепиано. Когда же снова разгорелась война между Англией и Францией и всех без исключения работников в Англии забирали на морскую службу, ему повезло убежать на корабле, что плыл в Гданьск, и вернуться назад в Новогрудок, где он изготовлял, по слухам, фортепиано лучше венских. Он одолжал наилучшие, как сам уверял, фортепиано панне президентовой Пацыниной, та же умела их порекомендовать и продать, причем не брала никаких обычных для зарубежья комиссионных или процентов, удовлетворяясь только тем, что могла даром иметь у себя инструмент в распоряжении девушек, которые проводили у нее время.

Опытного мэтра рисования не было, разве что случайно какой-нибудь мастер миниатюры являлся в городке, но и тот долго тут не задерживался, так как изящное искусство принадлежало к профессии, а каждая профессия будто бы унижала.

## Раздел XIII

## Новогрудок. Хорунжий Михаил Мацкевич. Воевода Неселовский. Канцлер Хрептович

Если уже столько рассказано о панне президентовой Пацыниной и ее штабе, стоит, ради создания завершенного образа, рассказать коечто и о Новогрудке и об общем характере той эпохи, чтобы читатель хорошо ее понял.

Новогрудский повет в Литве, похожий на маленький островок в океане, едва различимый издали, но который манит к себе так, что когда корабль проплывает поблизости, слышны возгласы путешественников, что желают задержаться здесь. Капитан корабля, сначала глухой к этим просьбам, скоро также заинтересовывается, а трезво рассудив, что ничего здесь за пристанище платить не нужно, словно подчиняясь общему желанию, направляет корабль в затоку и выдумывает причину: якобы ради того, чтобы набрать свежей воды в пустую посуду, либо насобирать хвороста для отопления, ибо в своей книге он должен записать, что задержался тут из надобности. В это время путешественники благословляют ту минуту, когда они могут вдохнуть чудесного аромата, а те, кто знает эту местность, рассказывают о красоте, которая впечатлила их в молодости. Для тех, последних, встреченное здесь стройное или кривое дерево является братом; разговорчивая речушка — сестрою; поваленный дуб — покойным родственником или прежним приятелем-соседом; береза с приникшими к земле ветвями — идеал их юношества; кустарник, что тянется вверх, — еще неизвестное, но дорогое им молодое поколение; щебечущие птицы — впечатления и мысли молодости, которые тем самым, что и раньше, языком взывают к исстрадавшемуся сегодня сердцу. И не удивительно, что в этом увлекательном повествовании безразличный человек не найдет ничего интересного, так как в нем надо любопытство еще пробудить, но уже словно током пронзает мысль, что паруса судьбы скоро расправятся и понесут снова от излюбленных мечтаний в бурлящее море горя и забот.

Поветы Лидский, Ошмянский, Слуцкий и Слонимский, которые граничат с Новогрудским, более равнинные, и они не имеют для меня, прежде всего, такой привлекательности. Гостеприимство, правда, там большее, чем в Новогрудском, в особенности, в Лидском, в котором, когда близ двора сломается у тебя колесо, так и колесо тебе дадут и самого так угостят, что несколько дней будешь держаться за голову, каждый толчок брички о камень напомнит, что мозг твой опух, а череп сейчас треснет. В Новогрудском уезде прикажут твое колесо поправить, подадут тебе обед, но больше, чем на рюмку старой водки и пару рюмок меда под закуску можешь не надеяться, потому как вина не было в общем употреблении.

Однако, когда соберется иногда общее совещание, так новогрудчину, что скромно берет там голос, более крикливые обыватели из других поветов с готовностью слушали и придавали ей определенное значение. Сам французский королевич, comte de Provence[103], в последствии Людовик XVIII[104], который направлялся из Варшавы в Одессу (преобразованную из татарской деревни Хаджы-бей в европейский портовый город французским князем-эмигрантом Ришелье), принятый в Новогрудском повете на первой почтовой станции в Новинах хорунжим Михаилом Мацкевичем, на которого он и смотреть не желал с высоты своего происхождения и полагая, что чиновник почтил его согласно своей обязанности, но так как этот хорунжий Мацкевич понравился ему своим обхождением, Бурбон спросил у него:

— А кто вы таков?

— Я равный Вашей Королевской Милости и своим происхождением, и несчастьем, — ответил Мацкевич.

Услышав это, Людовик с интересом взглянул на него, желая познакомиться с коллегой.

— Да, — говорил далее Мацкевич, — как шляхтич, рожденный когда-то на свободной польской земле, я имел бесспорное право на польский трон, как и Ваша Королевская Милость на французский, но сегодняшняя политическая ситуация меня от этой надежды избавила,

так что я более сочувствую несчастью Вашей Королевской Милости, чем какой-то немец.

Князь вынужден был принять такой ответ и показывать, что доволен им, а далее, вплоть до конца своего путешествия, он должен был быть чрезвычайно вежливым к множеству подобного рода претендентов, так как на каждой станции его принимали делегированные обывателями шляхтичи.

* * *

Нельзя, однако, скрывать, что шулерство и волокитство были для обоих полов в эту эпоху более характерными приметами, чем когда-либо в дальнейшем. Можно было видеть и мужчин, и почтенных матрон, которые либо сыпали золото на шулерский столик, либо совещались между собою — как отыграться, либо обсуждали еще более секретные планы. Ухажеры конца XVIII столетия, поощренные примерами держателей престола, уже доживали свой век; молодежи было о чем подумать, однако тяжело противостоять невежеству, когда ловушки, собственно, и расставлялись для тех, кто оказывался более легковерным. Группа мужчин, что притворно соревнуются, домогаясь симпатии не весьма им и желанной, так как излишне легкой, группа дам высшего света, которые отбивают одна у другой мужчин разными интригами и окружают себя молодыми и красивыми барышнями только ради того, чтобы заманить кого-то в свою компанию... Таким был порядок того времени — очень удивительный и смеха достойный, который нарушила комета 1811 года.

А те, кто не мог уже надеяться на свою поблекшую привлекательность и начал тосковать от перенасыщения, превращались в святош; они не могли уже говорить ни о чем другом, а только об испорченности мира либо про отпусты, богослужения, проповеди и т. д. Нельзя, однако, не заметить, что это они, собственно, и присоединились, в первую очередь, к созданию Общества добродетели в Новогрудке, которое мы там еще застали.

Панна президентова не по этим, наверняка, причинам будучи одной из наиболее деятельных кvotесторок, хотя и не была в согласии со светскими дамами, все-таки не считала за хорошей политикой портить с ними отношения, а потому она и с одними, и с другими поддерживала вежливые, осторожные отношения.

* * *

Новогрудок — недавний воеводский город, а теперь только поветовый городок. Когда-то палестра, чиновники и многочисленные обыватели из повета — или по делам, или ради забавы — часть года проводили в городе и имели тут свои дома. Теперь те дома стоят пустые либо занятые военнослужащими на постое, который не приносил владельцу никакой пользы, а наоборот, одни заботы, ремонты, различные неудобства, и похожи они на оставленные гнезда, когда из них вылетают птенцы.

Заехать с любой стороны в Новогрудок можно было только под гору, а на самом верху была площадь, которая называлась Рынком. На ней стояли наискось два ряда еврейских магазинов, напоминавшие эпоху, когда сторонники Моисея перешли Красное море и поставили на берегу свои жилища, а морская вода подступала временами под самые ноги. Честно говоря, давно уже было рекомендовано положить брусчатку в городе и поставить каменные магазины, и ради этой цели на материал был предназначен иезуитский костел, громадный и когда-то чрезвычайно красивой

формы. Кроме того, каждая подвода, которая ехала с товаром на рынок, должна была привезти камень для мощения. Однако те камни или таяли, или проваливались сквозь землю, сложно сказать, но осыпи уменьшались в полном соответствии с тем, как строились дома, которые представляли интерес для городничего, бурмистра или какого-нибудь лавочника; жиды, зная, что эти чиновники обязаны охранять общественное добро, и самим им не разрешат взять ни одного мелкого камешка без того, чтобы начать целое следствие, не заботились о материале и заключали с ними контракты на строительство заезжих питейных заведений и конюшен. Между другими на рынке стояли две корчмы — Рай и Пекло, в стенах которых притаился освященный кирпич, якобы для уменьшения кары за злоупотребление и названиями, и материалом.

Несмотря на непроходимую грязь, и весною, и осенью, и после каждого ливня, воды не хватало; таскали ее для потребностей жителей из одних только колодцев, а потому в Новогрудке не могла работать ни одна фабрика. Но городок располагался так, что в ложбинах, которые его окружали, в конце всех улиц можно было довольно просто создать искусственные пруды, соответственно насыпая плотины и направляя к ним воду из потоков и источников, которые никогда не высыхали и струились, будто это Миндовг[105], приваленный около города горою, никогда не переставал плакать.

На так называемом Замке, за валом, еще стояли две башни, связанные с повестью о Гражине[106], которые демонстрировали давний способ строительства фортеции, а около них — костел, чтобы завершить который и начать в нем проводить богослужения, более чем полтора столетия тому назад какой-то Янович записал базилианам деревню на полтора десятка домов. Но хотя этот дар и был принят, а в монастырь шел доход, стены костела почему-то не поднимались. Когда же наследники того мецената, Яновичи из Гневошевщизны, начали с базилианами процесс о возвращении своей собственности, ксендз супериор[107] этого монастыря приказал оштукатурить другой базилианский костел, который был в городе, чтобы победить противоположную сторону в суде. Не вдаваясь далее в подробности этого фортеля, мы должны отметить, что тот базилианский костел готической архитектуры, когда был оштукатурен, так выглядел, как египетская мумия, переодетая в еврейскую посмертную сорочку. Был ли процесс законченный, нам неизвестно, так как его прервали другие, более важные происшествия в крае, относящиеся к судьбе противоположных сторон. Сегодня, наверное, те же самые стороны в споре про то же самое скорее бы пришли к согласию, но уже поздно.

Перед валами на замке стояли два судебных строения, один был занят Гродским судом[108], второй — Земским[109], неподалеку от них — фундамент того здания, в котором, как говорят, воевода Неселовский отбывал крепость[110] за насилие над знатью, жившей по соседству с его поместьем Воронча.

* * *

Воевода Неселовский происходил из Брестского воеводства, из бедной шляхетной семьи. Повезло ему попасть на глаза королю Станиславу[111], а принятый в королевскую канцелярию, он стал его фаворитом, благодаря своей рачительности и способностям. Находясь при дворе, он вызвал к себе симпатию немолодой уже, но богатой девы, княжны Масальской, и признался в этом королю. Королю Станиславу это признание понравилось, и он заявил, что готов быть ему сватом. Приглашенная королем княжна, хотя и не скрывала своей симпатии к Неселовскому,

решение оставила за братом-бискупом, а тот, хотя и был слугой Божьим, даже слышать не хотел о таком союзе, категорично заявив, что желал бы лучше повидать свою сестру на марах[112], чем на коберце с шляхтичем. Впустую король стремился сломить это упрямство, впустую осыпал он Неселовского авансами и орденами, упрямый епископ таковым до конца и остался.

Когда все возможные средства, казалось, были уже использованы, а епископ, чтобы разорвать этот немилый ему союз, строил планы отправления своей сестры за границу, из-за чего король, весьма этим разгневанный, заявил княжне, что раз она не имеет родителей, а брат-опекун так к ней недоброжелателен, так он сам вправе заменить ей отца и в качестве такового позволяет брак, что так долго откладывался. Так в назначенное время княжна Масальская сочеталась в придворной часовне с паном Неселовским и переехала в его дом.

Ксендз-епископ, возмущенный этим, подал королю жалобу на Неселовского, также он с досадой выговаривал и самому королю за коварство, но король воспринимал это со смехом. Затем он передал дело в консисторию в Варшаве, чтобы брак упразднить, а ксендза, который тот брак заключал, суспендировать[113]. Однако все соответствовало канонам, никаких зацепок не могли найти, так как княжна давно уже была совершеннолетней. Неселовский же, в свою очередь, напомнил о приданом, а когда ему в этом было отказано, начал процесс и выиграл его, в итоге доходы ксендза-епископа, которые тот имел от поместья сестры в собственном пользовании, уменьшились. Так ксендз-епископ стал с того времени ярым врагом и королю, и краю.

После смерти незабвенного Яблоновского[114] освободилась должность воеводы в Новогрудке, и король, желающий сбить спесь с Масальских тем, что поставит на сенаторскую должность незваного родственника, это место в 1773 году пожертвовал пану Неселовскому. Жители Новогрудка такой выбор только потому стерпели, что он принижал дьявольскую гордость Масальских, потому как сам Неселовский, кроме королевской ласки, не имел никаких личных заслуг, никаких заслуг предков, королевская же ласка в те времена не обеспечивала большой популярности выдвиженцу, что был принесен, как говорили, в подоле Масальской. Однако ее большое поместье при набожности и скромности этой дамы, а также рачительность и определенным достоинством обозначенные поступки ее мужа на высокой должности воеводы начали склонять шляхту к тому, чтобы позабыть его прошлое. В особенности к тому, что Адам Вожейский, который из-за ненависти к Масальским взялся вести процесс пана Неселовского против ксендза-епископа о приданом и выиграл его, будучи любимцем молодежи и благосклонно принятым при Несвижском дворе, став теперь другом и домашним советником прежнего своего клиента, а ныне воеводы, умиротворял своим влиянием противоречия между радзивилловской и королевской партиями и единодушно обеими этими сторонами был избран на должность писца гродского в Новогрудке. И хотя князь Пане Коханку никогда не соглашался наносить визит в ответ Светлейшему воеводе, а на сеймиках всегда поддерживал лицо противоположной ему стороны, воевода дипломатично не показывал своей обиды и никогда во всеуслышание не пенял на перевес князя Кароля Радзивилла, который пользовался неограниченным доверием у шляхты.

Однако с течением времени у воеводы открылась большая страсть к увеличению собственных поместий, чем к выполнению общественных функций на первой в воеводстве должности, а мелкая шляхта, которая жила по соседству с Ворончей, теперь уже поместьем воеводы, первая познала

последствия этой жадности. Сначала им было предложено продать свою собственность воеводе, но шляхта и слушать этого не хотела, потому как не представляла себе, что она может избавиться от земель, полученных предками от короля за рыцарские чины.

Тогда начались тяжбы за вред, якобы нанесенный скотом на выгоне. Потом лошадей и скот бедной шляхты — стоило только животному подойти к воеводской границе — отбирали либо стреляли. Позже встал вопрос о самих границах, о доступе к выгонам и лесам, на какие шляхта имела исконное право и без которых она не могла обойтись. Наконец те выгоны были насильственным образом запаханы и присоединены к Воронче.

Шляхта подала жалобу в Гродский суд и после осмотра возным[115], который засвидетельствовал насилие, начала обычным порядком процесс против воеводы. Воевода же подал повестку на шляхту в Земский суд, желая сделать из этого когнитивное дело[116], которое могло тянуться хороших полвека, и считал, что Вежейский, который был когда-то его уполномоченным, а теперь de facto[117] главным лицом в Гродском суде, будет с ним заодно. Но дело (среди юристов технически называемое de foro[118], это значит: в котором — Гродским или Земским — суде оно должно рассматриваться) трактовалось юрисдикцией Гродского суда как деятельное, то есть начататое шляхтой, было признано соответствующим. Возный объявил громко:

— Начинайте процесс, милостивые господа!

После того, как выслушали все выступления за и против, было рекомендовано reinductio[119], это значит вернуть владельцу собственность, которая является спорною, а чтобы определить, было ли насилие, назначили чиновников.

На первом или акцессорном[120] этапе процесса, воевода не присутствовал, но на втором, который назывался непосредственным, он лично появился в суде и сел как высокий чиновник (и для большего устрашения знати) рядом с президентом. С обеих сторон звучали пламенные выступления. Но было замечено, что хотя воевода и сидел в удобном месте, его то бросало в пот, то он бледнел, когда пан Мицкевич, адвокат шляхты, молодой, но всегда рассудительный и скромный, перечислял злоупотребления и насилие, которые допускал Светлейший воевода, а в конце проникновенным голосом он произнес:

— Горе нам, бедной шляхте, горе! Горе краю, ежели назначенные Светлейшим Королем высокие чиновники будут управлять нами как языческие проконсулы Рима! Горе вам, судьи, когда Светлейший воевода выйдет изпод вашей юрисдикции, а вы поступите согласно убеждению, что достаточно случайно сделаться богатым, чтобы действовать безнаказанно, что достаточно позабыть свое собственное убожество, чтобы угнетать более бедных, что достаточно занять высокую должность, чтобы приказывать вашей справедливости молчать.

Все это время в суде царила тишина. Писец Вежейский, как неживой, с закрытыми глазами, чтобы невольно не выдать своих чувств, слушал речь. Наконец звонок в руках президента дал голос возному, который протяжно объявил:

— На перерыв, милостивые господа!

Но Мицкевич не сдвинулся с места, он только смотрел прямо на воеводу, а тот поднялся со стула, как подсудимый, поклонился судьям, не отваживаясь им даже слово сказать, и вышел из судебного помещения. Во время перерыва, заметив, что он всем здесь чужой, поговорил немного с барином Марцинкевичем, своим адвокатом, сел в бричку и исчез. Только теперь палестра, которую смущало присутствие воеводы, окружила Миц-

кевича и поздравляла с полной победой. Раньше, чем надеялись, зазвенел звонок в судебной палате, и возный объявил снова:

— На декрет, милостивые господа!

И пан Вежейский прочитал свой, как обычно, лаконичный приговор:

— После того, как были выслушаны истцы и ответчик и просмотрены бумаги инквизиции[121], Его Королевской Милости Гродский Суд Новогрудского повета карает Светлейшего Воеводу Неселовского денежным штрафом и юридическими экспенсами[122], а также шестью неделями крепости в Замке новогрудском (начиная от сегодняшней даты за четыре недели) до окончания определенного срока без перерыва sub poena contraventionis[123].

Это был первый приговор, записанный в Литовской Хронике[124], которого добилась знать в суде с таким высоким чиновником. Но еще более удивило то, что адвокат Светлейшего воеводы, не теряя, как обычно, времени на то, чтобы обдумать и сложить апелляцию в Трибунале, заявил, что он имеет инструкции от своего принципала[125] остановиться на этом приговоре, не обращая внимания на его справедливость либо несправеливость, и целиком принять его.

Порадовалась шляхта этому благородному заявлению настоящего гражданина, потому как остерегалась того, что воевода, не обращая внимания на возмущение всего воеводства, которое он может этим вызвать, затаскает их по Трибуналам до полного уничтожения. Но воевода, желающий как можно меньше дать огласки этому делу, посчитал, что лучше он подчинится закону, чем будет выслушивать оскорбления, подобные тем, которые он уже услышал из уст Мицкевича. Это был еще счастливый край, в котором и первый чиновник в воеводстве, и бедный шляхтич имели над собою право, к которому они могли обращаться за справедливостью.

Шляхта, которая только хотела защитить свою собственность и не желала унижения воеводы, предложила заменить крепость денежным штрафом, если это было позволительно правом. Но воевода заявил, что он хочет лучше отсидеть в крепости, назначенной приговором, чем откупившись от нее деньгами, дать шляхте возможность, как он жаловался, пытать его процессами. И в итоге предложение было отклонено, а воевода Неселовский в назначенное время оставил запись в Гродских актах, что начинает крепость в замке, а через шесть недель — вторую запись, что судебное постановление он исполнил.

С того времени воевода изменил тактику своего поведения с шляхтой. Не было насилия, не было ссор. Шляхта старалась не дать даже самого мелкого повода, чтобы оскорбить богатого соседа, а воевода, когда уезжал на охоту или возвращался, встречая кого-либо из них, первым к нему обращался, расспрашивал о здоровье, о тех или иных делах. Сначала такая милость воеводы удивляла шляхту, потом так начала брать за душу, что уже вину за давние ссоры не воеводе, а друг другу они между собою начали приписывать, а тем более, когда для шляхты во всех воеводских шинках и даже в самом скарбе[126] был открыт кредит без каких-либо забот и напоминаний о ссудах, достаточно было раз в год поставить собственную подпись в реестры долженствования. Даже если кому-то нужны были наличные, то каждый мог обратиться к писцу превентового[127], взять у него бочку или кухлю[128] водки по цене корчмы и продать либо перепродать ее за сколько ему захочется. Когда же начисленные по счетам суммы выросли, требовалось, чтобы одни поручились за других, а тогда считалось, что по-соседски нельзя отказать братьям-шляхтичам в такой услуге.

После, когда уже все имена попали в список должников, ворончанская администрация подала на шляхту в суд, и началось затрадование[129] их собственности. Шляхта, изгнанная таким образом из своих поместий,

вынуждена была согласиться на предложенный ей проект, и, принимая по несколько сотен злотых доплаты, подписала обычную для местной шляхты в Литве арингу[130] права продажи, которая начиналась со слов:

«Я, NN, по привилею покойного светлой памяти Наияснейшего Короля Господина NN в ... году наследнику моему светлой памяти NN наделенным, дедич имения N, отделив от его часть моргов[131] ... (что обычно составляло все имение) под строениями, садами, пахотною землею, сенокосами, выгонами, речками, прудами, лесами, кустарником (хотя выгонов и лесов там чаще всего и не было), за добровольно условленную сумму и в мои руки в звонкой монете данную и принятую, на вечные времена и невозвратно Светлейшему NN и его потомкам и наследникам продаю и уступаю. Право имеет Светлейший покупатель, теперешний дедич, а также его наследники и владельцы этой собственности, до этого (снова перечисление описанных подробностей) пользоваться, отдавать, прощать, продавать, записывать и к наилучшему удобству согласно своей свободе употреблять без какой-либо моей и моих наследников в этом преграды. Под чем, поставив мою гербовую печать, при свидетелях подписываюсь тремя крестами».

Знать, равная по происхождению Светлейшему воеводе, подписав такие документы, должна была пойти либо на придворную службу, либо арендовать пустоши, это значит, опустошенные земли других обывателей, оставленные после того, как умерли либо сбежали подданные. А там, после введения в 1795 году невиданной в эту пору в Литве сказки[132] — это значит, списку подданных, смысла которой они четко не понимали, и их вписали в нее.

В скором времени к обывателям такого рода, как и к крестьянам и мещанам, также было применено принуждение платить налоги и давать рекрута. И когда шляхта, так несчастливо вписанная в сказки, хотела оставить арендованную землю и освободиться от дедича, выяснялось, что сделать это уже невозможно, так как некоторые землевладельцы, словно африканские вожди трибутов[133], ловили их с помощью полиции как беглых, возвращали обратно и сурово наказывали физически, а их взрослых сыновей, ежели те у них были, отдавали в рекруты на зачет, это значит, в счет будущего набора. Так сказка губила обедневшего шляхтича, который желал жить собственным трудом и в родном краю. Но в обществе не сформировалась мысль о поддержке потерпевшего, никто ни из светских, ни из духовных лиц не подал голоса против такой несправедливости. Наоборот, когда какой-либо адвокат брался доблестно защищать обиженного, его представляли правительству как бунтовщика, обыватели же считали его опасным человеком и избегали.

Вот какой стала неволя обедневшей польской шляхты в собственной отчизне, более тяжелая, чем неволя еврейская в Египте, без угрызений совести и без возмущения общества. Когда же автор, который не понимал, конечно, в то время этой проблемы так ясно, как он теперь ее понимает, только согласно собственным предположениям на одном из сеймиков решил публично потребовать, чтобы имя определенного кандидата на должность президента пограничного суда было вычеркнуто из списка по причине подобного рода процессов, где его обвиняли в криминале те, кто хотел стать независимым, так он изведал заботы, как когда-то Мохнацкий[134], который дельно, но несвоевременно откликнулся словом.

Этот пример жестокости, которую тяжело было понять, но которая с каннибальским упорством терзала людей, искавших себе вольности, крепко привязывал крестьян к земле, так как лишал их всяческой надежды на независимость. Севруки, шляхта такая же горестная, вечно судилась с дедичем земли Богдановичем, но не добилась справедливости;

шляхта в Пружанском повете по фамилии Селецкие — с радзивилловской прокураторией[135]; Матвей Тороевич за то, что взялся за подобное дело противо Друтьковских и Мацкевичей (защищая своих кровных Булгаков, явно переделанных в дальнейшем в инвентариях и сказках на Булатов), как государственный преступник после проведенного следствия был осужден на достаточно длительное тюремное заключение, а его собственность была продана для обеспечения правовых расходов. В дальнейшем он докучал наследникам Мацкевичей, прося их на словах, потому как не осмеливался уже писать, чтобы те заплатили ему за ограбленное поместье, но кроме обычной милостыни он всегда получал один ответ, что они не были к этому причастны, а все забрал Нижний суд, и это также была правда.

* * *

Честно говоря, воевода Неселовский такой жестокостью себя не запятнал, ни одной похожей жалобы ни на него самого, ни на его наследников не было. Крестьяне и слуги воеводы не были угнетены и постепенно делались состоятельными, считая его одним из наилучших в околице панов. Доходы от поместий сильно выросли от того, что хозяйство велось усердно, быт крестьян улучшался. Однако для тех, в особенности бедных, с кем он граничил, соседство его было опасным, так как он ужасно любил выпрямлять границы. А с кем только он не граничил, имея в разных уездах много поместий и все покупая и покупая новые!

В особенности поместья, которые граничили со староствами, были для него наиболее привлекательными, ибо как высокий королевский чиновник он не имел никакой преграды, чтобы воплотить в жизнь план, начертанный ранее на бумаге; и кто бы у него решился спросить, согласно какому праву он владеет землей? Иохим Хрептович, сначала секретарь Княжества Литовского, а после подканцлер и канцлер, человек активный и личный друг воеводы, имея под своим контролем в этой местности поместья государственные или королевские, он подобный вопрос никогда не поднимал. И сам он, кажется, был не глуп в присвоении общественного добра.

Случилось так, что иезуитское поместье Лычицы возле Щорсов, резиденции Хрептовичей, оказалось в его владении без всяких повинностей, а имения такого рода с одобрения 1776 года были возложены на алтарь национального образования и должны через аукцион пойти под вечный процент, чтобы соответствовать этой цели. Правда, сами Хрептовичи, а скорее их приятели, утверждали, что это поместье перешло к Хрептовичам вместе с Негневицким ключом от Радзивиллов по значительно более старому праву. Однако и то правда, что канцлер Хрептович еще перед упразднением иезуитов уже отдавал в залог Негневичи, которые граничили с Лычицами. De facto он тогда уже ими владел, а Радзивиллы номинально считались дедичами. Так сам Хрептович, а не Радзивиллы, был в состоянии упразднить прежние границы между Негневичами и Лычицами, а способствовал этому его титул канцлера и дружба в комиссии, имевшая название: «Разграничительная комиссия поместий упраздненного ордена отцов иезуитов», которую еще в то время назвали «Воровская комиссия», как свидетельствует воевода Островский. Так канцлер, обязанный беречь государственную собственность, не заметил Лычиц, находившихся у него под носом, и коллегам своим он не напомнил записать в инвентарь, который был составлен в его канцелярии. Пренебрежение этим, уже само по себе ущербное, должно считаться

смертельным грехом, когда то, что было таким образом не замечено, нашлось в его собственности. Мы еще добавим: ничего удивительного, что такой человек подговорил своего безвольного пана присоединиться к Торговицкой конфедерации[136].

* * *

Часто ли случались подобные случаи или нет? Этого мы не знаем. Только то верно, что иезуиты сами были не прочь прихватить чужую собственность. Процессов они не боялись, много их к упразднению осталось незаконченных.

С иезуицкой собственностью в Лычицах, про которую мы сейчас упомянули, связана очень комичная история, занесенная в Лавришевское дело. Она достойна, чтобы ее сюда присоединить. Какой-то Бужинский, рыцарь своего времени, был дедичем имения, с одной стороны, он граничил с иезуитами, а с другой — с отцами базилианами лавришевскими. В силу того, что сам он был бездетный и ни одного из своих преподобных соседей не хотел против себя настраивать, так в завещании он записал свое имущество тому из двух конвентов, который похоронит его грешное тело.

Оба конвента знали про эту запись, оба следили, чтобы не упустить своего интереса. Но базилиане, что случалось редко, опередили иезуитов и останки покойного с большим удовольствием и очень скоро у себя на кладбище лично похоронили. Только тогда узнали иезуиты, что шанс ускользнул из их рук. Не теряя, однако, времени и отваги, иезуиты приглашают соседей и ксендзов базилиан в свой костел на траурную мессу за душу при жизни добродетеля, незабываемого и учтивого покойного Бужинского.

Базилиан вовсе не возмутило такое, казалось бы, наглое приглашение, ибо про похороны там не было никакого упоминания, а поминальную службу каждый и повсюду может справлять. Около гроба, выставленного на катафалке для проформы, богослужение произошло наилучшим образом. И вот в самом конце иезуит перечислил с амвона заслуги покойного, припомнил запись в завещании и призывал всех присутствующих отнести останки святой памяти Бужинского в катакомбу под костелом, что давно уже была для того приготовлена.

Тогда отцы базилиане, которые только что в честь иезуитов (что было сродни надругательству) отпели vilie[137], переглянулись и обвинили иезуитов в обмане и коварстве, утверждая, что они сами тело покойного похоронили, а потому запись в завещании только их касается. Но какое же всеобщее и, в особенности, отцов базилиан было удивление, когда в прилюдно открытом гробу они повидали тело хорошо всем известного Бужинского. Обывателям, которые пришли на богослужение и стали свидетелями этого чуда, иезуиты дали на подпись акт, который свидетельствовал о захоронении, на основании него начался вечный процесс, оконченный только упразднением иезуитов и переходом иезуицких Лычиц из собственности покойника Бужинского в собственность дома Хрептовичей. А в документах, которые подали в граничный суд лавришевские базилиане, остались их жалобы на иезуитов, что те труп покойного якобы выкопали с базилианского кладбища.

Завершая наши рассуждения о воеводе и канцлере, о которых шел разговор раньше, убеждаемся, что жадность к увеличению поместья без внимания на средства не идет на пользу. Ибо канцлер среди своих потомков не оставил поляков, а его сын Адам, прежний друг Образовательной комиссии в Вильно (охарактеризованный весьма одобрительно учеными, что наве-

щали его в Щорсах, но у которых не было возможности познакомиться с ним ближе), не имел никаких должностей в повете, где необходимо было согласие обывателей. Единственное, что осталось о нем в памяти, так это то, что Ожеховскому, который происходил из его деревни, талантливому парню, лучшему ученику в школе и университете, после того, как тот сдал экзамен на доктора медицины, он помешал получить патент, обвиняя его в незнатном происхождении, и даже его семью начал сильно ущемлять, желая усилить моральные страдания. А его сестре он не позволял выйти замуж за своего официалиста, шляхтича, пока не взял у ее отца откупного — двести рублей серебром.

Но ни те, кто с лучшей стороны знали магната, ни даже мы сами, не назовем причиной таких позорных поступков привычную жадность, так как поместья Хрептовича были, возможно, единственными в Литве, в которых панщина не практиковалась, а быт крестьян, прежде всего, пока фантазия больших хозяйственных перемен его не захватила, был весьма недурственным. Неман, который бежал через те поместья, давал крестьянам возможность заработать на сплаве деньги, чтобы заплатить оброк и налоги, а изготовленные там телеги и брички славились на несколько десятков миль вокруг; разведение и продажа скота и лошадей, а также плотничество, которым они занимались по найму, делали их зажиточными. Пока пан канцлер был молод, а в поместьях не так много было переведенных на чинш крестьян, так он стремился улучшить и сделать более приятным быт своих подданных. Где это было только возможно, он строил отдельные фольварки в окружении садов, чтобы переводить туда крестьян, которым раньше, когда они жили вместе в больших деревнях, было далеко добираться пахать свою землю. Для всех он основывал и на собственные средства содержал ланкастерские школы[138], чтобы молодежь могла учиться читать и писать.

Но со временем эта слаженная система испортилась и пошла на спад. Огромный простор болота (фундация сына литовскога короля Миндовга князя Войшелка, какой первым ввел христианство в этой околице во времена благословенного аббата Елисея, сына князя Тройняты), примерно в 1260 году, был передан Лавришевскому монастырю и с той поры оставался пустошью; на это обратил внимание Адам Хрептович, который посоветовавшись с учеными людьми, что убеждали в возможности осушения, и не спрашивая, кто был владельцем, принялся осушать его и использовать для собственных надобностей. Таким образом, скоро увеличилась территория, возросла и надобность в работниках. Увеличилась, без сомнения, крестенция[139] на новых землях, но также увеличилась и панщина для сельчан, которым давали свидетельства-билетики за отработанные дни, расчет по которым, наверняка из-за скверной администрации, всегда откладывали на более поздний срок, когда же взимали осенью оброк, так ничего не отнимали из счетов по тем билетикам-квиткам. Так терялось доверие, а тем самым и желание работать, и уменьшалось население. Ведь когда, с одной стороны, споры о расчете вызывали несубординацию и угрозы, обычно караемые физически, то, с другой стороны, парни, обученные в ланкастерской школе читать и писать, начали задумываться о собственной безопасности, о вольности, и с помощью зажиточных родителей они перебирались дальше от дома, где их никто не знал, и там могли свободно учиться и развивать свои способности, что было спасением от унижения физическим наказанием и судьбы рекрута, самой страшной для человека пытки.

Смена фамилии — даже добавлением -ский или -вич к своей собственной — давала не одному возможность стать шляхтичем посредством поддельных документов. Но такой шляхтич ради собственной безопасности

уже не причислялся к своей семье и должен был издали от нее держаться, что было причиною неудовольствия тех, кто еще не освободился, и неудобством для дедича, ведь и налог, и рекрута за такого человека он вынужден был отдать Скарбу[140].

И это было основною причиною, почему Хрептович упразднил у себя ланкастерские школы и так непочтительно обошелся с Ожеховским. Однако он мог бы более прилично проблему решить и люд свой к земле привязать (ведь кому же это нравится скитаться по миру!), стоило бы только запретить своей администрации наказывать физически и отдавать в рекруты тех, кто писать и читать умел, а раньше не был замечен в аморальных поступках. Правда, через каких-то лет десять не было бы кого из Щорсов отдавать в рекруты, но из этой ситуации деревня нашла бы выход: либо желающего наняла, либо улатила бы тысячу рублей ассигнациями Скарбу, так как в то время это было возможно. Тот налог, разделенный на всех, составлял бы только половину рубля на душу, поэтому такая сумма была бы с готовностью уплачена, и она окупала безопасность юноши значительно меньшей ценой, чем подделка документов, которая всю жизнь заставляла бояться, что секрет раскроется.

Совесть не позволяет сказать, что пан Адам был безразличным к патриотическим делам. В 1831 году он чудесный свой табун пожертвовал армии, что шла на Польшу, а когда восстание напало на Щорсы, то бежал быстрее, чем его комиссар Дембский, который покончил жизнь неожиданным образом.

О втором сыне канцлера нечего сказать, ведь он не только своим происхождением, но и польским языком брезговал.

* * *

Воевода Неселовский оставил после себя имение, что давало около двух десятков миллионов злотых, оставил сына Ксаверия, генерала Польской армии, который своими добродетелями мог бы прощение выпросить Содому и Гоморре, ведь он даже собственному отцу не позволил использовать себя на обиду людям. Как единственный наследник богатого пана, он имел повсюду неограниченный кредит, за которым часто вынужден был обращаться, потому как отец чрезвычайно мало давал на приличное содержание.

Как командира полка со времен Костюшко, дела 1812 года позвали его из дома. А в следующем году воевода, умирая, все свое имение записал внучкам, дочкам генерала, рожденным княжной Викторией Радзивилл, дочкой клецкого ордината.

По возвращении на родину, в 1815 году, генерал Неселовский поехал в Петербург и оспорил то завещание, которое без юридических оснований обходило степень родства, и все имение отдал, чтобы заплатить долги. А когда кто-то даже и несправедливо на выделенные им схеды[141] жаловался, он с барской щедростью доплачивал из остатков имения. Дочкам же он не оставил ничего, кроме своей доброй славы и приданого их матери, что при благословении Божьем может сделать их более счастливыми, чем большая фортуна, собранная ценой обиды ближнего, чего каждый житель Новогрудка из уважения к добродетелям их отца всем сердцем им желает.

*Продолжение следует.*

## Комментарии

[1] «Смеясь, говорить правду» (лат.). Цитата из «Сатир» Горация.

[2] Неточная цитата из шестой песни поэмы «Монахомахии» И. Красицкого.

[3] Предки со стороны от отца либо матери (лат.).

[4] Кошель.

[5] Представитель старейшей шляхты. От *кунтуш* (верхняя мужская одежда знатных жителей Великого княжества Литовского и Королевства Польского).

[6] Человек, выставляющий напоказ свои мнимые достоинства или пороки, хвастун, бахвал (исп.).

[7] Нарезное дульнозарядное ружье, использовавшееся в XVI—XIX вв.

[8] Легкая кривая сабля.

[9] Ежегодные съезды шляхты в Новогрудке с целью заключения торговых договоров.

[10] Имение рода Раецких. Ныне д. Райца, Кореличский р-н., Гродненская обл.

[11] «Богуслав Р... отошел в 1794 г., на 75 году жизни» (лат.).

[12] Цератония, вечнозеленое дерево, растущее в средиземноморских странах. Плоды цератонии ранее служили основным источником пищи жителей полупустынь, либо тем, кто подобно Святому Иоанну Крестителю удалялся, уединяясь в пустыне. Это и дало растению обиходное название — «хлеб святоянский» (польск.).

[13] О, горе мне! (евр.).

[14] Молодой еврей (от др.-евр. bāchūr). Здесь — пренебрежительно о детях.

[15] «Иди, иди!» (евр.).

[16] Католический праздник Богоявления (Эпитафии).

[17] Металлический кружок на плите или в печи (нем.).

[18] Молитва, а также четки, перебираемые в руках при чтении молитвы.

[19] Плата за год работы.

[20] Битва 1771 г. Эпизод войны Российской империи с барскими конфедератами.

[21] Многолетнее огородное растение.

[22] Дудник лекарственный.

[23] Дубравка, завязный корень.

[24] Посуда для воды и вина во время богослужения.

[25] От культа Матери Божьей из Лоретто в Италии.

[26] Молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Литании могут адресоваться Христу, Деве Марии или святым.

[27] Традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд.

[28] Благословление народа священником, произносимое им по окончании богослужения. Отпуст содержит краткое прошение о милости Божией. Также — прощение костелом грехов.

[29] Пожертвование в знак определенных намерений. Также — торжественно данное слово об исполнении чего-либо.

[30] Организация, существовавшая в Новогрудке.

[31] Хлопковая ткань (от арабск. kutun — хлопок).

[32] Род полыни, с которой добывают цитварное семя, снадобье против глистов.

[33] Монах, который собирал пожертвования на костел.

[34] Франциск Букатый (1747—1797) — дипломат, посол Речи Посполитой в Лондоне.

[35] Высший апелляционный суд в Речи Посполитой.

[36] Не входя в прочие партии (лат).

[37] Командир небольшого военного подразделения.

[38] «К вящей славе Божией». Выражение использовалось как геральдический девиз Общества Иисуса.

[39] Место нахождения военного подразделения.

[40] Опекун.

[41] Поверенный в делах, защитник обвиняемого в суде.

[42] Узлы, которыми подвязываются монахи определенных орденов.

[43] «Слава Иисусу Христу!» Традиционное приветствие у католиков.

[44] В классической поэзии небольшое по объему лирическое стихотворение-комплимент. Здесь — истории прошлых лет.

[45] Одежда законника.

[46] Член Sodalicji Marianskiej (религиозная организация).

[47] Сборник молитв на отдельные дни года (лат).

[48] Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа.

[49] Реестр светских имущественных дел.

[50] Предлог, отговорка, извинение, ложная причина (лат).

[51] «И не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. Аминь» (лат).

[52] Луи-Николя Даву (10 мая 1770—1 июня 1823) — полководец наполеоновских войн, герцог Ауэрштадтский, князь Экмюльский, маршал Франции.

[53] Полицейский орган во главе с земским исправником.

[54] Небольшая кадушка для хранения пищевых продуктов.

[55] Присланное распоряжение.

[56] Мирный договор, заключенный в период с 25 июня по 9 июля 1807 года в Тильзите (ныне город Советск в Калининградской области) между Александром I и Наполеоном после Войны четвертой коалиции 1806—1807 годов, в которой Россия помогала Пруссии.

[57] В Российской империи XVIII — первой половины XIX вв. чиновник по судебным делам.

[58] Помещение для караула, охраняющего крепостные ворота. Кордегардией также обозначалась гауптвахта или любое караульное помещение, помещение для стражи.

[59] Полукустарник полыни лечебной.

[60] Растение, на котором поселяется мучнистый червец.

[61] Узкие куски ткани, пришитые для украшения.

[62] Вид насекомых из отряда полужесткокрылых, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя — кармина.

[63] Название населения бывшей Речи Посполитой.

[64] Краткое, завершающее богослужение молитвенное благословение священника, произносимое на выходе, после которого верующие «отпускаются» из храма.

[65] Малый костельный колокол.

[66] Помещение возле алтарной части христианского храма, предназначенное для хранения предметов культа.

[67] Мешочек для денег.

[68] Облачение епископов и священников, представляющее собой накидку с прорезью для головы.

[69] Длинное белое облачение священника, которую надевают под орнат.

[70] Короткое литургическое облачение диакона.

[71] Часть костела возле главного алтаря.

[72] Место нахождения алтаря, предназначенное только для духовенства.

[73] Белое короткое облачение священнослужителей и светских особ, которые помогают духовенству во время литургии.

[74] «Слава в вышних Богу»! (лат). Древний христианский богослужебный гимн, доксология, входящая в состав католической мессы латинского обряда.

[75] Молитва «Spiritus Sanctus» («Святой Дух»).

[76] Часть богослужения, когда священник поднимает хостию и чашу.

[77] Ритуальный предмет, использующийся в качестве жертвы во время богослужения.

[78] Песня-просьба к Богу.

[79] Литургические предметы для ношения хостии.

[80] Четырехструнный музыкальный инструмент.

[81] Место приема пищи в костеле или духовной семинарии.

[82] «Сохрани народ твой, Господи!» (лат.).

[83] Помещение в костеле для разговоров со светскими людьми.

[84] Вечернее богослужение в воскресенье и святые дни.

[85] Специальные пластины, надеваемые на морду лошади, закрывающие ей обзор по бокам.

[86] Название белорусского языка.

[87] Мера длины 1067 м.

[88] Общество адвокатов, нотариусов и т. д. От названия частной школы в Древней Греции.

[89] Прозванный Паноптес, то есть всевидящий — в древнегреческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле — неусыпный страж.

[90] Земский глава в ВКЛ.

[91] Павел I (1754—1801) — Император Всероссийский (1796—1801).

[92] Статут Великого княжества Литовского — это верховный закон Великого княжества Литовского, составлявший его правовую основу.

[93] Михаил Корибут Вишневецкий (1640—1673) — король Польши и глава Речи Посполитой с 1669 года.

[94] Первая судебная инстанция.

[95] Управляющий канцелярией либо архивами суда.

[96] Боковое крыло либо отдельное здание.

[97] Слабое, лишенное художественной ценности, литературное произведение.

[98] Битва под Дубенкой, произошедшая 18 июля 1792 года между поляками под предводительством Тадеуша Костюшко и русскими войсками под предводительством Михаила Каховского во время Русско-польской войны 1792 года.

[99] Бальный танец, восходящий к английским народным танцам и распространенный в Европе XVII—XIX вв.

[100] Старинный французский танец. Происходит от традиционного танца гавотов, жителей области Овернь во Франции.

[101] Абрам Луи Бреге (1747—1823) — французский механик-часовщик. Создал самозаводящиеся часы и часы-репетир, противоударное устройство и балансовый механизм регулировки точности хода. Академик Парижской АН (с 1816 года). В настоящее время «Бреге» — марка часов класса люкс.

[102] Амьенский мир — мирный договор, заключенный 25 марта 1802 года в Амьене между Францией, Испанией и Батавской республикой с одной стороны и Англией — с другой. Завершил войну между Францией и Англией 1800—1802 годов и распад второй антифранцузской коалиции.

[103] Граф Прованский (фр.).

[104] Король французский, брат Л. XVI, носивший во время его царствования титул графа Прованского, а потом, во время эмиграции, принявший титул графа де Лилль. Род. в Версале в 1755 году; вел при дворе своего брата сравнительно скромную жизнь. В 1791 ггоду он бежал за границу.

[105] Миндовг (ок. 1195—1263) — первый великий князь литовский. Король Литвы с 1253 года. Основатель столицы ВКЛ в Новогрудке.

[106] Вероятнее всего, речь идет о поэме «Гражина» Адама Мицкевича.

[107] Старший в монастыре.

[108] Гродский или замковый суд — судебный орган в Речи Посполитой, представлявший собой поветовый суд для шляхты, мещан и крестьян.

[109] Суд по имущественным делам.

[110] Тюрьма, находящаяся в крепости. Имеется в виду заключение.

[111] Станислав II Август Понятовский (1732—1798) — последний король польский и великий князь литовский в 1764—1795 годах.

[112] Возвышение, на которое ставился гроб.

[113] Отстранить от должности.

[114] Юзеф Александр Яблоновский (1711—1777) — государственный деятель Речи Посполитой, историк, библиограф, меценат искусства. Стольник великий литовский (1744—1755), воевода новогрудский (1755—1772), член многих европейских академий и научных обществ.

[115] Судебный исправник, который объявлял судебные решения.

[116] Следствие.

[117] Фактически (лат.).

[118] В соответствии, относительно суда.

[119] Повторное введение чего-либо во владение (лат.).

[120] От лат. accesorius — дополнительный, добавочный.

[121] Имеется в виду следствие.

[122] Издержки (лат.).

[123] Под страхом наказания (лат.).

[124] Имеется в виду Литовская метрика (Метрика Великого княжества Литовского; от лат. matricula — канцелярская книга) — собрание специфических материалов (тетрадей, книг) канцелярии Великого княжества Литовского XV—XVIII веков с копиями документов, издаваемых от имени великого князя, рады, сеймов и подлежащих неограниченному по времени хранению.

[125] Патрон, руководитель (лат.).

[126] Администрация, распоряжающаяся имением.

[127] Лицо, которое отвечало за учет прибытка (превента) хозяйства.

[128] Сосуд для переноса напитков на короткое расстояние и подачи их на стол, представляет собой небольшой бочонок бондарной работы из дубовых клепок с двумя донышками.

[129] Отчуждение в соответствии с законом имущества должника в пользу кредитора (лат.).

[130] Образец написания документа.

[131] Мера площади, около 5600 м$^2$.

[132] Документы, отражающие результаты проведения ревизий податного населения Российской империи в XVIII — первой половине XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения.

[133] Трибут (от лат. tributum) — натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. А также дань, которую выплачивал удельный князь великому в признание подданства.

[134] Маврикий Мохнацкий (1804—1834) — польский литератор, публицист, историк и политический деятель, один из крупнейших представителей романтической критики.

[135] Администрация имений.

[136] Торговицкая конфедерация — союз польских магнатов, направленный против реформ, принятых Четырехлетним сеймом 1788—1792 годов, в том числе принятия конституции Речи Посполитой в 1791 году.

[137] От лат. vigila — ночное богослужение.

[138] Ланкастерские школы — училища, в которых преподавание велось по системе взаимного обучения, разработанной английским педагогом Джосефом Ланкастером (1778—1838).

[139] Урожай одного года (лат.).

[140] Государство.

[141] Фольварк, земля.

***Перевод с польского и комментарии Юлии АЛЕЙЧЕНКО.***



# *Чтобы каждый чувствовал себя лучше?*

## Интервью с американской писательницей Эрикой Джонг

*Эрика Джонг (1942 г. р.) — автор шести поэтических сборников, восьми романов, трех публицистических книг, автобиографии, мемуаров, статей по проблемам литературного творчества, общественной и культурной жизни Америки — является одной из наиболее авторитетных и влиятельных писательниц США конца XX — начала XXI века. Ее творчество отличается тематическим богатством, сосредоточенностью на противоречиях современной жизни, глубиной исследуемых проблем и многовекторностью в поисках решений. Э. Джонг широко известна своими литературными экспериментами, оригинальными повествовательными стратегиями, а также переосмыслением мифов и шедевров классической литературы.*

*Данное интервью представляет особый интерес, поскольку в нем американская писательница не только делится своими соображениями о литературе и искусстве, но также излагает историю своей семьи, которая корнями связана с Польшей, Россией и Беларусью, тем самым подчеркивая значимость историко-культурной памяти.*

*Публикация осуществляется с любезного разрешения Эрики Джонг.*

**— Эрика, я благодарна Вам за возможность провести это интервью. Позвольте задать Вам несколько вопросов?**

— Конечно!

**— Каждый человек находится под влиянием социокультурных факторов и событий, происходящих в обществе. Под воздействием каких сил Вы начали свою писательскую карьеру?**

— Непросто отвечать на этот вопрос... Я, пожалуй, всегда знала: буду писательницей. Знала это, когда была еще ребенком. И это странно в известной степени. Не могу объяснить, как и откуда я это знала. Но знала, что в этом моя судьба. И я всегда писала. Не помню времени, когда бы не была включена в процесс литературного творчества. Да, я думала также, что буду художницей; думала, что буду врачом, но при этом всегда оставалась писательницей.

**— На жизнь людей влияют определенные исторические события, мы все живем в определенном историческом контексте. Не могли бы Вы рассказать о своих восточноевропейских корнях и связях Вашей семьи с Польшей, Россией и Беларусью?**

— Мне очень повезло, так как росла в большой семье европейского типа с моими бабушкой и дедушкой по линии моей матери. В то время я думала, что все люди имеют такой же опыт и живут большими семьями, но сейчас осознаю, что я была необычайно счастлива жить с матерью и отцом моей матери. А семья



моей бабушки по линии матери была родом из Вильно, Вильнюса.

**— Это этническая территория Беларуси.**

— Да. Но потом семья бабушки переехала в Одессу. Ее отец торговал древесиной. Евреям в тех условиях не позволялось быть землевладельцами. Но они могли заниматься торговлей. Вот мой прадедушка и продавал древесину. Так вот, бабушка родилась в Вильнюсе, жила в Одессе, а затем, вместе с тремя сестрами, переехала в Англию. И там она познакомилась с мужчиной, который родился в Гродно и еще ребенком был перевезен в Одессу. Это был мой дедушка. Кстати, мои дедушка и бабушка были дальними родственниками, как это нередко случалось у евреев. У них не принято было создавать семьи с представителями других национальностей — и вот они заключали браки с дальними родственниками. Таким образом, семья моего дедушки была из Гродно, точнее — Дятлово, затем жила в Одессе; а семья бабушки была из Вильно. Затем одни и другие оказались в Одессе. Встретились же в Англии, где их познакомили русские друзья. Там они и поженились. Впоследствии мой дед уехал из Лондона, чтобы не участвовать в военных действиях Первой мировой войны. Он обосновался в Нью-Йорке, стал известным художником и через семь лет перевез туда всю свою семью.

**— Спасибо. Эрика, а как этот широкий исторический контекст повлиял на Ваше творческое письмо, на Вашу личную историю?**

— Знаете, все американцы — иммигранты. И в Америке всегда любят истории иммигрантов, будь то евреев, будь то китайцев либо итальянцев — как, скажем, история «крестного отца» и т. д. Да, мы любим истории, повествующие о том, как люди приезжают из разных частей света и становятся американцами. Это касается и моей личной истории.

Я родилась в семье художника, в европейской семье, а самое главное — в русской семье. Моя семья во многом повлияла на становление моей собственной жизни. Семья моего отца происходит из Польши. И весь их семейный «клан» был уничтожен во время Холокоста. Русская же часть семьи была доминирующей в нашей жизни. Мои дедушка и бабушка говорили на прекрасном русском языке. Они говорили не как евреи, они говорили как белорусы! И очень гордились этим. Мой дед также прекрасно знал французский язык. Я росла в атмосфере, где люди говорили на великолепном русском и прекрасном французском языках. Когда я стала достаточно взрослой, чтобы говорить об искусстве, мой дед повторял мне: «Так плохо, что ты не можешь читать самого великого поэта в мире — Пушкина, потому что по сравнению с ним Шекспир — ничто». Итак, всю мою жизнь я слышала: Пушкин, Пушкин, Пушкин... Но мой дед так и не научил меня русскому языку! Когда несколько лет назад я была в Санкт-Петербурге, то посетила Пушкинский Дом. И в этом — заслуга моего деда! В моей жизни много соприкосновений с великой русской куль-

турой. Когда я была подростком, а потом в юношеском возрасте читала Достоевского, Толстого. И ничего не могла понять. Действительно, я не могла понять Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова, пока не стала читать их в более зрелом возрасте. До этого я не могла осмыслить их повествования. Но сейчас начинаю понимать величие этой литературы. Иногда, читая Толстого, думаю, что стоит сжечь свой компьютер и поломать все ручки — ведь никогда не достигну такого мастерства. Полагаю, Лев Толстой — непревзойденный автор, который исключительно тонко понимал психологию человека. Моими любимыми книгами являются «Смерь Ивана Ильича» и «Анна Каренина». «Анну Каренину» я читала шесть раз в разные периоды жизни. Если меня спросят, о чем я чаще всего говорю моим студентам, которые изучают проблемы творческого письма, то это сцена, когда Анна находится в своем доме в Москве, а Вронский наносит ей визит. Сын Анны, мальчик 13—14 лет, еще не достигший зрелости, видит Вронского и что-то понимает. Он еще не достиг уровня полного понимания, но знает, что этот мужчина представляет угрозу всей его жизни. Я рекомендую своим студентам изучать эту сцену. Мальчик, встречая возлюбленного своей матери, не знает об их связи, но его «шестое чувство» говорит ему: что-то не так, что-то несет в себе разрушение. Если бы я смогла выразить подобное в романе, я бы считала себя великим писателем-романистом! (*Смеется*).

**— Эрика, а как Ваша генетическая память проявляется в Вашей творческой работе? Вы мысленно возвращаетесь к событиям прошлого и пересматриваете их, или же это эмоциональный отклик на особые моменты прошлого, который стимулирует Ваше творческое письмо?**

— Знаете, творчество — это удивительная тайна. По-моему, процесс творчества начинается в нашем подсознании. Сложность творческого письма объясняется сложностью особой зоны, в которую мы обязательно должны проникнуть. Многие авторы любят писать ранним утром, как только проснутся — до того, как услышат радио или включат телевизор, до контакта с миром. И я понимаю, почему это происходит: писатель должен находиться в контакте с миром грез и мечтаний. Процесс письма берет свое начало в бессознательном, и когда начинается творческий порыв, ты уже не осознаешь, как возникают определенные образы. Но если не войти в этот творческий поток, ничего не получится. Творчество тесно связано с бессознательным.

**— А как Вы чувствуете себя, находясь между прошлым и настоящим, между Старым Светом и Новым Светом? В своих романах Вы часто возвращаетесь в Старый Свет, в Европу, Англию, Польшу, Россию и Беларусь. Почему?**

— Каждый писатель существует между прошлым и настоящим. Это естественно. Это основа творческого процесса, потому что письмо тесно связано с памятью. Будущее также возникает из памяти, и память во многом определяет наше существование и понимание нашей сущности. Я не могу осмыслить свою жизнь до тех пор, пока не вернусь в Россию, пока не вернусь в Европу, откуда родом мои прародители. Я должна понять это. В этом контексте моя семья не прибыла в Америку на корабле Мэйфлауэр в XVII веке. Моя семья прибыла в Новый Свет в XX веке из стран, в которых евреи стали нежелательны. И старшие члены моей семьи стали американцами. Они не стали британцами, хотя некоторое время жили в Великобритании; не стали французами, хотя пребывали и во Франции. Они стали американцами, и это наша особая история. Чтобы понять свою идентичность, я должна поехать в Бабий Яр и другие места. Я еще не была в Польше, но я была много раз в России и Беларуси, поскольку родители

моей матери представляют доминирующую составляющую моей семьи. Когда я думаю о своем детстве, я вспоминаю людей, читающих Пушкина и других великих писателей, одинаково хорошо говорящих по-русски, по-французски и на идиш. Корни моей семьи уходят в другой, Старый Свет. И это замечательно. Это мне дало так много! Это дало мне понимание литературы, музыки, живописи.

**— Насколько сильно Вы чувствуете свою связь с местом рождения Ваших прародителей? Я имею в виду местечко Дятлово в Беларуси? Вы бы хотели посетить это место?**

— Конечно, я бы хотела основательно узнать место рождения предков. И планирую осуществить такую поездку. До сих пор поездки, предпринятые в эту часть света, не были связаны с осмыслением мною жизни моих прародителей, но в следующий раз я это сделаю.

**— Эрика, некоторые герои Ваших книг рассматривают процесс создания художественного произведения как источник вдохновения, как средство ухода от жестокой действительности, как безопасное место, чтобы создавать новую жизнь. Что значит творческий процесс для Вас?**

— Знаете, процесс творческого письма дает возможность пережить и преодолеть сумасшествие жизни и таким образом делает ее более сносной. Запечатленные жизненные события — уже пережитые, и в то же время они возвращают ушедших в небытие к жизни. Пока я пишу о своих прародителях, они не потеряны для меня во времени; и пока пишу о родителях, чувствую их присутствие в своей жизни. Поэтому, думаю, память — это основа жизни. Вот почему мы так огорчаемся, когда наши родители с годами теряют рассудок. Это они теряют свое особое «я». Возможно, они присоединяются к великому бессознательному, однако нам это не приносит облегчения. Творчество же сохраняет память, а память, я считаю, является основой гуманного отношения между людьми.

**— Эрика, как Вы определяетесь — писать прозу или поэзию? Влияет ли это на выбор предмета внимания, на Ваши идеи, эмоции?**

— Поэзия — «продукт» очень рафинированный. И она не всегда появляется, даже если ты этого очень хочешь. Нельзя заставить себя написать поэтическое произведение. Но есть периоды в жизни, когда поэзия приходит сама. Обычно это связано с рождением ребенка, со смертью близких, с большими обретениями или потерями. Когда приходит поэзия, ты сразу же понимаешь это и можешь бросить все ради творчества, потому что не так часто подобное случается. Что же касается прозы, то если сидеть за столом каждый день, можно написать строчку-другую, а можно и ничего не написать. В отличие от поэзии, проза появляется в результате творческих мук, после длительного сидения за столом с целью продвинуть вперед свою историю. Проза — совершенно иная область. Когда ты работаешь каждый день, твое бессознательное тебя удивляет. Появляются образы и детали, о которых ты даже и не догадывалась. И в этом ее чудо. Большинство же дней ты сидишь, и ничего не происходит. Ругаешь себя, говоришь: «Все ужасно, все плохо, эта книга никогда не появится!» А затем ты переживаешь особое состояние — эпифанию, и это восхитительно.

Проза и поэзия очень различаются. Для меня самая легкая работа — журналистика. Я могу ее выполнять с закрытыми глазами и без особых усилий. Разумеется, в том случае, когда предмет изучен и у тебя есть материал, который можно использовать. Мне не следовало бы говорить этого, но я почти не считаю журналистику творческим письмом. (Смеется).

**— В Вашей книге «Парашюты и поцелуи» Вы создали образ Российского профессора, г-на Глотарчука, который во многом напоминает мне моего научного руководителя.**

— Я надеюсь, нет!

**— Вы помните Вашу встречу с профессором А. С. Мулярчиком? Во многом благодаря ему я пишу о Вашем творчестве.**

— Я встретила много замечательных людей во время своей первой поездки в Советский Союз в 1982 году. Это было восхитительно! Мы побывали на встречах писателей в Москве, в Киеве, в Одессе и везде встречали прекрасных людей. Я помню, что эта поездка принесла мне особое вдохновение.

**— Эти воспоминания до сих пор с Вами?**

— Да, безусловно!

**— Эрика, Вам удалось отразить наиболее важные изменения, которые произошли в американском обществе. В книгах «Страх полета», «Как спасти свою жизнь», «Парашюты и поцелуи» и «Блюз любой женщины» Вы используете один и тот же образ, говорите о героине Айседоре Уинг. Почему? Какие идеи Вы хотели передать с помощью этого образа?**

— Я хотела показать все фазы жизни женщины. Большинство романов английской литературной традиции представляет жизнь женщин до их замужества. Если взять романы Джейн Остин или сестер Бронте, то они о молодых женщинах и заканчиваются замужеством героинь. Роман «Джейн Эйр», который я очень люблю, — я даже написала предисловие к «Джейн Эйр» для одного издания — повествует о простой девушке, прямой и бескомпромиссной в своих суждениях, не слишком красивой. Но именно она остается с человеком, которого хотят заполучить все, потому что она честна и правдива, не лжет, не плетет интриг и всегда говорит правду. И когда, наконец, этот человек достигает зрелости, то понимает ценность ее как личности. Ну и все заканчивается свадьбой. Мы даже не видим свадьбы, а лишь узнаем, что она имела место. А романы Джейн Остин все о молодых женщинах... Я же хотела расширить повествование, чтобы можно было представить женщин среднего возраста, а также старше. Кстати, какой была бы Анна Каренина в шестьдесят лет? В семьдесят, в восемьдесят?.. О чем бы она думала? Анна умирает в молодом возрасте, когда еще красива и здорова. Она не проходит стадий взросления и старения. Она не имеет взрослого сына и проблем, с ним связанных. Неизвестно, как бы она переживала смерть Вронского. Мы не знаем всего того, что бы случилось, если бы увидели ее в шестьдесят или в семьдесят лет. Я и решила, что моя задача как писательницы — говорить о женщинах разных возрастных категорий. Вот как.

**— В романе «Блюз каждой женщины» Айседора, главная героиня, исчезает. Появится ли она снова? Будет ли жить в Ваших будущих романах?**

— Если когда-нибудь закончу эту книгу!

**— Вы говорите о книге, которую пишете сейчас?**

— Да. Работа над книгой, которую сейчас пишу — самая сложная за всю мою писательскую жизнь! В ней изображается Айседора, которой шестьдесят лет, но она пытается представить, что ей всего пятьдесят. (Смеется).

**— Это что-то новое!**

— Да. Но в конце романа она откровенно говорит о своем возрасте, так как это не имеет никакого значения.

**— Значит, она еще все-таки появится на страницах Ваших книг?**

— Да.

**— А какова Айседора в будущем?**

— Это личность, которой предстоит вынести многие утраты, разные потери. Какие испытания нам готовятся, когда мы стареем? Прежде всего, испытания, связанные со смертью. Они, как правило, не беспокоят, когда нам пятьдесят или шестьдесят лет. А потом вдруг приходят.

**— Эрика, большое спасибо! И последний вопрос: какой совет Вы можете дать молодым писателям Беларуси, которые хотели бы развить свои творческие способности?**

— Существует только один способ научиться писать. Нужно читать, читать, читать: читать авторов, которых любите, читать авторов, которых ненавидите. И понимать, отчего вы любите одних и ненавидите других. Что бы вы хотели перенять у предшественников? И что могли бы сделать лучше других писателей? А затем вам надо писать, писать и писать... Рекомендации всегда одни и те же.

При этом вы должны всегда говорить правду, потому что цель писателя — говорить правду. Хотя современный мир не любит правду. Современный мир хочет сладкой лжи, чтобы каждый чувствовал себя лучше. Больше востребованы писатели, которые говорят: «Наше общество замечательно! В нем все хорошо и правильно!» Если вы хотите делать это, можете стать политиками. Но если вы хотите стать писателями, вы должны говорить правду.

**— Эрика, спасибо огромное за эту замечательную возможность провести интервью с Вами!**

— Спасибо, Люба.

**— И, пожалуйста, знайте, что Вам всегда, всегда будут рады в Беларуси.**

— Я буду счастлива приехать в Беларусь. А ты будешь моим гидом. Мы постараемся это осуществить!

**— Спасибо, Эрика!**

***Беседовала Любовь Первушина.***



ЭМАНУИЛ ИОФФЕ

# *Он руководил белорусизацией БССР*

## Александр Криницкий: известный и неизвестный

Если сегодня в Минске мы встретим случайных прохожих и зададим им вопрос: «Кто такой Александр Иванович Криницкий?», то вряд ли кто ответит на него.

Дело дошло до того, что даже солидные энциклопедии и энциклопедические словари допускали и допускают фактические ошибки в биографических данных об этом видном партийном и государственном деятеле СССР и БССР.

Так, тринадцатый том третьего издания «Большой Советской Энциклопедии» утверждал, что А. И. Криницкий в 1925 году был секретарем ЦК КП(б) Белоруссии, а в 1926—1929 годах являлся заведующим агитпропом ЦК ВКП(б) [1, с. 428].

Эту же ошибку через 27 лет повторяет автор биографического энциклопедического словаря «Империя Сталина» К. А. Залесский [2, с. 246].

В действительности, с 29 сентября 1924-го по 4 мая 1927 года Коммунистическую партию Белоруссии возглавлял Александр Иванович Криницкий. Когда он стал первым секретарем ЦК КП(б)Б, ему исполнилось 30 лет.

Советский партийный и государственный деятель А. И. Криницкий родился 9 сентября 1894 года в городе Тверь в семье мелкого чиновника. В 1913—1915 годах он учился в Московском университете. Александр участвовал в студенческом революционном движении. Член РСДРП с 1915 года. В сентябре этого года 19-летним юношей Александр Криницкий был осужден на вечное поселение в Восточную Сибирь.

Он вышел на свободу после Февральской революции и в 23 года возглавил Тверской губком РСДРП(б). В 1918 году Криницкий был политработником в Красной Армии. Он занимал должность заведующего агитационно-просветительным отделом Южного фронта.

С 1919 года Александр Иванович — секретарь Владимирского, а затем Саратовского губкома РКП(б). В 1921—1922 годах был заведующим организационным отделом Московского комитета РКП(б), секретарем Рогожско-Симоновского райкома партии (Москва). В 1922—1924 годах Криницкий — секретарь Омского и Донецкого губкомов партии.

Объединенный пленум ЦК КП(б)Б совместно с секретарями окружных комитетов КП(б)Б, состоявшийся 27—29 сентября 1924 года, принял к сведению решение Оргбюро ЦК РКП(б) об отзыве А. Н. Асаткина-Владимирского для работы в ЦК РКП(б). Секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии был избран Александр Иванович Криницкий.

В школьных и вузовских учебниках по истории Беларуси до сих пор замалчивается тот факт, что впервые пост «первого секретаря ЦК Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии» официально занял А. И. Криницкий. Это произошло 12 декабря 1925 года, когда пленум ЦК КП(б)Б, избранного IX съездом КП(б)Б, утвердил Бюро ЦК КП(б)Б и Александра Ивановича в качестве 1-го секретаря ЦК КП(б)Б.

С именем Криницкого связан вопрос о нерушимости границ Беларуси в 1924—1925 годах, об укрупнении БССР в ноябре 1926 года, успехи в проведе-

нии белорусизации в 1924—1927 годах, в развитии экономики, науки и культуры нашей республики в этот период.



Дело в том, что еще до приезда Александра Ивановича в Беларусь, 12 августа 1924 года организационное бюро Западной области в Смоленске совместно с руководством Гомельской области обратилось в ЦИК РСФСР с предложением о включении в состав области Горе-Горецкого сельхозинститута вместе с частью прилегающей к нему территории БССР. Докладная записка в ЦИК РСФСР рисовала ближайшее будущее научного центра в самых мрачных тонах. В обращении подчеркивалось, что ему «угрожает гибель и полная ликвидация в кратчайший срок» [3, л. 82].

Поэтому, чтобы избежать потери крайне важного для области института, по проекту оргбюро Западной области, назад к Смоленской губернии должны были отойти шесть белорусских волостей площадью 906,9 км с населением 45 600 человек [4, л. 137].

Руководство БССР во главе с А. И. Криницким, узнав о действиях властей Смоленской и Гомельской губерний, заняло по этому вопросу твердую позицию: правительство республики отказалось вести с оргбюро Западной области любые переговоры. В противовес действиям организационного бюро Западной области и властей Смоленской и Гомельской губерний по инициативе Александра Ивановича правительство БССР решило обратиться в центральные союзные органы с контрпредложением: еще раз рассмотреть вопрос о границах Белорусской ССР с целью более точного их определения.

Авторитетный белорусский исследователь С. Н. Хомич отмечает:

«26 февраля 1926 г. президиум Госплана БССР заслушал доклад председателя Госплана С. Карпа по проекту создания Западной области и переговорах по данному вопросу с председателем Госплана СССР. Члены президиума постановили: «признать... создание Западной области несоответствующим установленным принципам районирования и нецелесообразным как с точки зрения общесоюзного хозяйства, так и с точки зрения экономического и культурного развития БССР. Учитывая общность экономических и культурно-национальных задач, которые стоят перед БССР и Гомельской губернией, а также тесную зависимость развития отдельных отраслей хозяйств БССР и Гомельской губернии... считать необходимым возбудить перед Госпланом СССР вопрос о включении Гомельской губернии в состав БССР» [5, с. 264].

4 марта 1926 года ЦК КП(б)Б одобрил решение Госплана БССР и санкционировал постановку вопроса о границах БССР в союзных органах. Этот вопрос был рассмотрен повторно 17 марта 1926 года. Именно тогда бюро Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии приняло следующее решение:

«...категорически протестовать против создания Западной области, настаивать на присоединении Гомеля и Велижа, воздержаться от обсуждения вопроса о Смоленске» [6, л. 127—129].

Инициатива партийного руководства республики с целью придания ей большего веса была вынесена на рассмотрение апрельского (1926 года) пленума ЦК Компартии Беларуси и получила полную поддержку его участников. Для проведения постановления этого пленума в жизнь и координации всей работы была

выделена авторитетная тройка в составе первого секретаря ЦК КП(б)Б А. Криницкого, председателя СНК БССР И. Адамовича и председателя Госплана БССР С. Карпа [6, л. 130].

5 августа 1926 года вопрос о границах Белорусской ССР был рассмотрен на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). После доклада председателя СНК СССР А. Рыкова, выступление которого вызвало положительное отношение к расширению БССР, было заслушано мнение Л. Каменева, Л. Троцкого, И. Сталина, которые поддержали предложения правительства БССР. Одновременно с категорическим протестом против передачи Гомельской губернии Белорусской ССР выступил М. Калинин. Свою позицию он мотивировал тем, что при пересмотре границ БССР не учитываются настроения трудящихся, что большую часть населения Гомельщины составляют русские и частые изменения границ мешают нормальной работе людей.

В связи с тем, что члены Политбюро ЦК ВКП(б) разошлись во взглядах на границы БССР и против расширения республики выступила сильная оппозиция в Гомельской губернии, Политбюро по предложению А. Рыкова решило для дополнительного изучения этого вопроса создать специальную комиссию в составе В. Молотова, А. Енукидзе, С. Косиора и М. Киселева [7, л. 58]. Кроме них в ее работе также должны были принимать участие представители от Беларуси: А. Криницкий и И. Адамович [8, л. 137].

Заслуга Криницкого прежде всего в том, что в мае 1926 года ЦК КП(б)Б поставил перед ЦК ВКП(б), ЦИК, СНК и Госпланом СССР вопрос о присоединении к БССР Гомельской губернии и части смежной с нашей республикой Псковской губернии РСФСР. Необходимость его скорейшего разрешения аргументировалась историческими, экономическими, культурными и политическими причинами.

При обсуждении этого вопроса возникли разногласия во взглядах на проблему с Гомельским губкомом партии и секретариатом ЦК ВКП(б).

Только председатель комиссии С. Косиор поддержал необходимость присоединения Гомельского и Речицкого уездов к БССР. Остальные члены комиссии считали позицию правительства БССР недостаточно аргументированной или ссылались на недостаток информации.

Вопрос был передан на рассмотрение Оргбюро ЦК ВКП(б).

Тогда Александр Иванович от имени ЦК КП(б)Б обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой обсуждать его не в Оргбюро, а на заседании Политбюро ЦК, создав для подготовки необходимых материалов специальную комиссию. Эту комиссию возглавил член ЦКК ВКП(б), ЦИК СССР и ЦИК РСФСР Я. Х. Петерс.

Главным направлением в деятельности комиссии стала работа на местах. В связи с этим белорусский историк С. Н. Хомич замечает:

«Во время обследования Гомельской губернии комиссия политбюро ЦК ВКП(б) констатировала полное отсутствие национальной сознательности среди белорусского населения. В докладе отмечалось, что определение национального состава оказалось чрезвычайно сложным делом. Население весьма неохотно говорило о своей национальной принадлежности. И хотя члены комиссии начинали беседу осторожно, к вопросу о национальности подходили постепенно, все же первый ответ на него был следующий: «Мы русские, местные». И только после долгих расспросов люди признавали: «Да, мы по происхождению белорусы» [5, с. 269—270].

Выводы комиссии Я. Петерса были не очень благоприятны для руководства БССР. Поэтому, чтобы как-то сгладить их отрицательный эффект, первый секретарь ЦК КП(б)Б А. И. Криницкий направил в Политбюро ЦК ВКП(б) свои суждения по докладу. В своем письме в Политбюро Александр Иванович подчеркнул, что в докладе Я. Петерса есть «ряд ошибочных пунктов по существу и неточных по формулировкам». Криницкий выразил удивление, почему после единогласно подписанных актов комиссия заменила термин «белорусский язык» на «смешанный язык». Отсутствие национального самосознания у белорусского населения

Гомельщины он объяснял неправильным представлением крестьянства о том, что такое белорусизация и какие последствия будет иметь присоединение к БССР, а также тем состоянием, в котором находились белорусский язык и культура в дореволюционной России.

В то же время Александр Иванович, доказывая необходимость срочного присоединения Гомельщины к БССР, акцентировал внимание на том, что и в Белорусской ССР, и в Западной Белоруссии незавершенность процесса возвращения восточнобелорусских территорий в 1924 году считалась бесспорной.

По его мнению, новое решение руководства ВКП(б) относительно территории БССР, в зависимости от его характера, могло стать или значительной победой большевиков в борьбе за влияние на народные массы, или же, наоборот, доказательством непоследовательности руководства СССР в области национальной политики, что, несомненно, в полной мере было бы использовано противниками Советской власти [9, л. 12—16].

Процесс принятия окончательного решения о присоединении белорусского населения Гомельщины к БССР затягивался, что весьма волновало руководство республики во главе с Криницким, по мнению которого вопрос надо было решать срочно. 12 ноября 1926 года бюро ЦК Компартии Белоруссии постановило:

«Просить ЦК КП(б)Б поставить в Политбюро 18 ноября вопрос о границе БССР. Дальше откладывать... невозможно. Просить тов. Сталина принять делегацию ЦК КП(б)Б в составе товарищей Криницкого, Голодеда, Червякова, Адамовича, Бейлина и Карпа в Политбюро, желательно 17 ноября» [10, л. 76].

В Национальном архиве Республики Беларусь под грифом «Совершенно секретно» хранится записка первого секретаря ЦК КП(б)Б А. И. Криницкого в ЦК ВКП(б) «К вопросу о присоединении Гомельской губернии к БССР» от 15 ноября 1926 года. Приведем некоторые фрагменты из этого важного документа:

«Образование БССР в 1919 году, также укрупнение БССР в 1924 году вполне оправдали себя как важные акты национальной политики ВКП(б). В настоящее время партия должна завершить свою линию в отношении Белоруссии в виде присоединения к ней Гомельщины и части Псковщины.

Это присоединение: а) является категорически необходимым условием дальнейшего экономического роста и укрепления БССР и присоединяемых экономически однородных районов, дает необходимое укрепление политической пролетарской базы БССР, способствует ее дальнейшему культурному развитию; б) расширение границ БССР доводит их на востоке до этнографических и лингвистических пределов белорусского населения...

С коммунистическим приветом

По поручению ЦК КПБ

Секретарь ЦК КПБ Криницкий» [9, л. 12—16]

Нельзя не согласиться с мыслью белорусского историка С. Н. Хомича, что настойчивость руководства БССР, усиленная внутри- и внешнеэкономическими аргументами дали определенные результаты.

18 ноября 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б), рассмотрев выводы комиссии, работавшей в Гомельской губернии, и доводы ЦК КП(б)Б, постановило «считать доказанным белорусский характер населения Гомельского и Речицкого уездов и признать необходимым присоединение отмеченных уездов к БССР»,

6 декабря 1926 года президиум ВЦИК издал официальное постановление «О присоединении к БССР Гомельского и Речицкого уездов».

Включение Гомельского и Речицкого уездов в состав БССР, в результате которого территория нашей республики увеличилась еще на 15 727 кв. км, а население — на 649 тысяч человек, стало значительным событием в политической, экономической и культурной жизни Белорусской ССР. Поднимая вопрос о возврате восточнобелорусских земель, руководство БССР во главе с руководителем Компартии Белоруссии А. И. Криницким смогло найти сторонников расширения территории республики в партийных, советских и хозяйственных органах Советского Союза и РСФСР.

С именем Криницкого связаны успехи БССР в экономическом и культурном развитии. При нем была восстановлена обувная фабрика в Минске, основан Березинский государственный заповедник, открыта электростанция в городе Шклове, выпущены первые в Белоруссии станки на минском заводе «Энергия».

Александр Иванович проводил индустриализацию с существенными отличиями от установок XIV съезда ВКП(б), поощрял развитие промышленности по переработке местного сельскохозяйственного сырья, содействовал обеспечению деревни необходимыми сельскохозяйственными машинами и оборудованием, развитию производительных сил деревни и местечка, кустарной промышленности и т. д.

Именно в 1924—1927 годах — в период руководства Александром Ивановичем партийной организацией республики произошло награждение орденом Трудового Красного Знамени БССР — высшей наградой БССР, был основан музыкальный техникум в Минске, ветеринарный институт в Витебске, вышли в свет первые номера журналов «Беларуская работніца і сялянка», «Беларускі піянер», «Советское строительство Белорусской Советской Социалистической Республики», «Белорусский православный вестник»», «Прафесіянальны рух Беларусі», «Наш край», «Сацыялістычнае будаўніцтва», «Чырвоны сейбіт» (литературно-художественное приложение к газете «Беларуская вёска»), «Узвышша», «Бальшавік Беларусі», «Паляўнічы Беларусі», газета «Орка» на польском языке, газета «Красный пахарь» на литовском языке, основано издательство «Наука и техника», вышел на экраны первый белорусский художественный кинофильм «Лесная быль» (1926), открыто белорусское отделение акционерного товарищества «Книга — деревне», были созваны 1-й съезд инженерно-технических, экономических работников и агрономов БССР, 1-й Всебелорусский съезд крестьянок-активисток, 1-й Всебелорусский съезд учителей, Всебелорусский съезд работников сельского хозяйства, 1-й Всебелорусский съезд селькоров, 1-й Всебелорусский съезд работников связи, 1-й Всебелорусский съезд работников исследовательских сельскохозяйственных учреждений, Всебелорусский съезд работников искусств, 1-й съезд исследователей белорусской археологии и археографии, 1-й Всебелорусский краеведческий съезд, прошла 1-я Всебелорусская художественная выставка, основан Государственный симфонический оркестр Белоруссии.

В 1925 году Белорусский государственный институт сельского и лесного хозяйства имени Октябрьской революции был объединен с Горецким государственным сельскохозяйственным институтом. В результате была создана Белорусская государственная сельскохозяйственная академия имени Октябрьской революции в Горках.

14 октября 1925 года в Минске был открыт новый вуз — Коммунистический университет Белоруссии.

Ко всем этим важным событиям в культурной жизни республики был причастен А. И. Криницкий.

Он уделял особое внимание развитию Белорусского государственного университета, оказывал всестороннюю помощь его руководству во многих делах, высоко оценивал деятельность первого ректора БГУ В. И. Пичеты.

В постановлении бюро ЦК КП(б)Б «О юбилее ректора Белгосуниверситета профессора В. И. Пичеты» от 15 октября 1926 года говорилось:

«1. Наркомпросу поручается провести юбилей 25-летней научной деятельности профессра Пичеты и 5-летия его ректорства в БГУ.

2. Поручить Наркомпросу подготовить и вручить грамоту, в которой особенно отметить пятилетнюю ректорскую работу в Белорусском государственном университете.

Текст грамоты согласовать с тов. Абрамчуком АПО ЦК КП(б)Б.

3. От имени правительства БССР присвоить Пичете звание заслуженного профессора.

Секретарь ЦК КП(б)Б А. Криницкий» [10, л. 94].

В тот же день бюро ЦК КП(б)Б приняло постановление «О научной работе члена Президиума Инбелкульта С. М. Некрашевича», который был первым председателем Института белорусской культуры, а позже стал вице-президентом Белорусской Академии наук. Вот его текст:

«Поручить Наркомпросу создать для Некрашевича наиболее благоприятные условия для выдвижения его в научной работе.

Секретарь ЦК КП(б)Б А. Криницкий». [10, л. 94]

В период его «секретарства» успешно проводилась белорусизация и коренизация.

В современной литературе белорусизация рассматривается в широком и узком понимании. В широком смысле ее отождествляют с национальной политикой в целом, приспособленной к специфическим условиям республики, в узком — о ней пишут, как о национально-культурном строительстве в стране, иначе — национально-культурном возрождении. При этом отмечается, что такая дифференциация проводилась и в 1920-е годы.

Большинство белорусских исследователей отмечают, что «мотором» белорусизации был председатель ЦИК БССР (а в 1920—1924 годах одновременно и председатель СНК БССР) Александр Григорьевич Червяков, а «отцами» белорусизации — нарком просвещения БССР в 1921—1926 годах, а затем председатель Института белорусской культуры Всеволод Макарович Игнатовский и нарком просвещения БССР с 1926 года Антон Васильевич Балицкий.

Ну, а кто же руководил белорусизацией на самом решающем ее этапе в 1924—1927 годах?

Конечно, руководитель Компартии Беларуси того времени, фактический «хозяин» республики Александр Иванович Криницкий.

Он воздействовал на ответственных работников Центрального Комитета Компартии Беларуси личным примером. Уже через несколько месяцев Криницкий так овладел белорусским языком, что читал на нем свои доклады.

Через четыре месяца после его пребывания на посту секретаря ЦК Компартии Беларуси пленум ЦК КП(б)Б, который состоялся 25—29 января 1925 года, принял исключительно и принципиально важную резолюцию по докладу «Очередные задачи КП(б)Б в национальной политике».

Приведем несколько фрагментов из этого документа:

«Первое, что определяет сущность национального вопроса в БССР, — это хозяйственная отсталость и дезорганизация, которые созданы всей дореволюционной историей края и периодом, когда через край несколько раз переходила полоса фронта империалистической и гражданской войн, и которые в значительной мере усилены природными условиями БССР (болота, тощая почва при малоземелье).

Второе — культурная отсталость, которая, с одной стороны, сопутствует низкому уровню и благосостояния, и быта населения, с другой — обусловлена всей политикой царского правительства подавления белорусской культуры, гонения на язык, литературу, то же самое относится и к польскому и еврейскому населению края.

Третье — национальные противоречия в БССР, заключающиеся в том, что национальные и социальные признаки в силу исторических условий тесно переплелись, отложив толстый слой националистических предрассудков, обособленности и вражды, и, что особенно важно, отделив город от деревни гораздо резче, чем в других районах страны.

При осуществлении национальной политики по всем трем линиям КПБ неизбежно встретится с рядом трудностей и опасностей искажения ленинской линии в национальной политике. Основная опасность — это незначительность слоя пролетариата в БССР, через представителей которого национальная политика проводилась наиболее выдержанно, наиболее устойчиво, преодолевая мелкобуржуазные влияния...

Таким образом, лозунг, который КПБ должна принять в культурной работе, — это лозунг «белорусизации». При равноправии всех национальностей, при

обязательности со стороны правительства и партии обеспечения развития культуры каждой из них, при признании государственными языками — четырех, при всем этом, однако, дело развития языка, литературы, школы, всей культуры на белорусском языке признается первым и основным делом.

Основным вопросом белорусизации является вопрос о белорусском языке...

Таким образом:

1. ЦК должен через наркомпрос и Инбелкульт срочно организовать работу по выработке популярного белорусского языка наиболее близкого к деревне.

2. Обратить исключительное внимание на издание литературы, газет на белорусском языке.

3. Организовать выработку политической, марксистской, научной и юридической терминологии...» [11, с. 3—9].

По инициативе А. И. Криницкого и его соратников И. А. Адамовича, А. Г. Червякова и Д. С. Чернушевича 13 октября 1925 года пленум ЦК КП(б)Б принял важную резолюцию «О национальной политике». В ней говорилось:

«5. За период, истекший после январского пленума, часть учреждений и организаций — партийных, советских, профессиональных и т. д. как в центре, так и на местах, перевели свою работу на белорусский язык. Однако в целом белорусизация учреждений является наиболее слабым местом в системе национальной работы как в силу запаздывания ее во многих случаях против намеченных сроков, так и в силу того, что она зачастую носит поверхностный и формальный характер. Кроме объективных причин это явление объясняется сопротивлением русифицированного и далеко еще не освободившегося от великодержавных предрассудков государственного аппарата и часто недостаточно решительным воздействием руководящих работников.

6. Наряду с этим в ряде отраслей работы в отношении белорусизации достигнуты известные успехи, важнейшими из которых являются: значительный прогресс в белорусизации начальной и средней школы, давший возможность приступить в доукрупненной Белоруссии к переводу на белорусский язык второго концентра обучения, а в присоединенной — второго и третьего года; приступ к белорусизации вузов, выразившийся в переходе в этом году на белорусский язык первых курсов рабфаков и некоторых кафедр по основным факультетам; полная белорусизация педтехникумов; усиление белорусизации совпартшкол; увеличение процентов белорусов и в частности (что очень важно) белорусов-рабочих при приеме в вузы; значительное пополнение книжной базы на белорусском языке; заметное увеличение белорусов в составе выборных органов по всем важнейшим линиям и во всех звеньях; успешная работа по белорусизации 2-й территориальной дивизии и Объединенной белорусской школы комсостава и пр. и т. д. Вместе с тем важным завоеванием является заметное ослабление предрассудков против белорусизации в широких массах населения и создание ядра учителей и передовиков-крестьян, активно проводящих белорусизацию» [12, с. 12—24].

9 октября 1926 года пленум ЦК Компартии Беларуси принял принципиальное решение:

«18) Всю работу партийного и комсомольского аппаратов перевести с 1 января 1927 года на белорусский язык» [13, с. 12—13].

Именно Александр Криницкий 11 декабря 1926 года в докладе «Аб новых задачах Гомельскай арганізацыі КП(б)Б» на собрании актива Гомельской городской, Залинейной и Новобелицкой партийных организаций четко раскрыл существенное отличие белорусизации от национальной политики:

«Нельзя путать белорусизацию с национальной политикой во всем ее объеме. А эта путаница есть, эта путаница вызывает много недоразумений и предубеждений со стороны даже коммунистов. Когда мы говорим о белорусизации, это не значит, что мы покрываем всю нашу работу в области национальной политики. Это значит только, что мы выдвигаем на одно из первых мест, как важнейшую задачу, задачу белорусизации, ибо эта задача касается большинства населения

нашей республики, крестьянского, наиболее культурно и экономически отсталого большинства» [14].

Положение о том, что белорусизация является «самой значительной частью национальной политики», но не может ставиться вместо «всей этой политики в целом», повторялось и в других официальных речах А. И. Криницкого.

Александр Иванович способствовал овладению белорусским языком и использованию его всеми членами Коммунистической партии Белоруссии, считая, что «овладение партией белорусским языком есть ключ к руководящей роли партии в культурном строительстве БССР».

Руководство КП(б)Б во главе с Криницким потребовало, чтобы изучать язык и разговаривать по-белорусски в первую очередь начали сотрудники государственных, профессиональных и других учреждений, а также и функционеры самой партии, а затем и вся партия. Причем подчеркивалось, что овладение Коммунистической партией республики белорусским языком не является самоцелью, а важнейшим условием ее руководящей роли во всех сферах жизни, особенно в культурной. В Политическом докладе ЦК X съезду КП(б)Б Криницкий отметил:

«КП(б)б должна пройти через изучение белорусского языка и основных предметов белорусоведения, чтобы начать принимать активное участие в работе по культурному строительству — в вопросах белорусской печати, литературы, школы, вести руководство белорусской интеллигенцией» [15, с. 29]

В то же время Криницкий как типичный представитель партийной элиты проводил в Белоруссии в жизнь идеи укрепления СССР как единого сверхцентрализованного союзного государства, командно-административного управления экономикой, полной монополии на власть Компартии. Одновременно он испытал влияние мощного в 1920-е годы местного национально ориентированного крыла КП(б)Б.

С именем А. И. Криницкого связаны успехи в деятельности Института белорусской культуры в 1924—1927 годах.

По инициативе Криницкого, Червякова, Адамовича и Балицкого 2-я сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР VI созыва 4 ноября 1924 года приняла следующее постановление:

«ІІ. Прызнаць патрэбным рэарганізаваць Інстытут беларускай культуры ў пастаянную дзяржаўную вышэйшую навукова-даследчую па тыпу Акадэміі навук установу, якая павінна заняцца сістэматычнай і планавай апрацоўкай пытанняў навукі і культуры, датычных БССР.

IV. Звярнуць увагу ўсіх савецкіх органаў на неабходнасць максімальнага падтрымання Інстытута і яго працы па выпрацоўцы беларускай тэрміналогіі ў розных галінах ведаў, што павінна палегчыць пераход нашых ВНУ на беларускую мову выкладання» [16 , л. 90—93].

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится ценный документ — протокол № 45 заседания секретариата ЦК КП(б)Б о составе Института белорусской культуры от 30 декабря 1924 года:

В нем есть такие строки:

«Присутствуют: тт. Криницкий, Игнатовский, Дьяков, зав. Упраспредом т. Гарбуз, зам. зав. АПО Розеншайн...

[...]Слушали: о составе Инбелкульта (т. Игнатовский).

Постановили: 1) Утвердить Президиум Инбелкульта в составе 6 человек: тт. Игнатовского, Жилуновича, Смолича, Опанского, Дыло, Гельтмана. 2) Предложить фракции Правления (Так в тексте. Дописано А. И. Криницким. — **Э. И.**) наметить председателя, заместителя председателя и секретаря Инбелкульта и подготовить окончательный список членов Инбелкульта к заседанию Бюро ЦК (дописано А. И. Криницким. —**Э. И.**)...

Секретарь ЦК КП(б)Б А. Криницкий» [17, л. 456—458]

В фондах Национального архива Республики Беларусь хранится интересный документ. Это постановление Бюро ЦК КП(б) «О присвоении Янку Купалу звания народного поэта БССР». Оно заканчивается следующими словами:

«28 мая 1925 г.

Согласиться с присвоением Янку Купалу звания народного поэта [БССР]

Секретарь ЦК КП(б)Б А. Криницкий» [18, л. 284].

15 октября 1926 года Бюро ЦК КП(б)Б приняло постановление «О двадцатилетнем юбилее литературной деятельности Якуба Коласа». Приведем его текст:

«1. Провести юбилей Якуба Коласа как литературный, культурнический юбилей, не придавая ему общеполитического характера.

2. Объявить Якуба Коласа народным поэтом [БССР]. При этом в наших выступлениях подчеркнуть, что последние политические заявления (осуждениие листопадовщины, признание диктатуры пролетариата), возлагающие на него определенные политические обязательства.

3. Дать пожизненную пенсию-ставку — 17 разр [яда].

4. Комиссию по юбилею создать при Наркомпросе [БССР].

Секретарь ЦК КП(б)Б А. Криницкий» [10, л. 94].

Вспомним, что еще 28 декабря 1924 года заместитель Полномочного представителя ОГПУ по Западному краю И. К. Опанский направил Александру Ивановичу «Докладную записку», в которой литературное творчество Купалы, Коласа, Лесика, Бядули подавалось как «опасное» для Советской власти.

Мы видим, что Криницкий не пошел на поводу у Опанского. В январе 1927 года в Политическом отчете ЦК X съезду КП(б)Б относительно творчества ведущих белорусских писателей он высказал следующую мысль:

«Эти два поэта [Купала и Колас] дали много высокохудожественных образцов литературы, белорусского слова; как крестьянские поэты они занимают очень крупное место и в мировой литературе. Теперь в творчестве Янки Купалы и Якуба Коласа мы отмечаем отражение начавшейся передвижки крестьянина — мелкого хозяина на путь социалистической перестройки своего хозяйства, на путь хозяйственного роста, развития политической жизни крестьянства под руководством пролетариата. Эти поэты теперь отражают в некоторых произведениях этот укрепляющийся союз рабочего класса и крестьянства в социалистической перестройке деревни» [15, с. 23].

Все это свидетельствует о том, что подходы Криницкого и Опанского к творчеству Янки Купалы и Якуба Коласа расходились.

В республике было проведено широкое обсуждение проблем интеллигенции и ее роли в социалистическом строительстве, начатое докладом Александра Ивановича «Особенности внутрипартийного положения КП(б)Б» на собрании минского партийного актива 18 сентября 1925 года. В докладе ставилась задача дифференцировать интеллигенцию на группы в зависимости от сочувствия или враждебности ее к коммунистической партии и советской власти. Таких групп было выделено три: «низовая, близкая к партии рабочего класса», «пассивно-неопределенная», за которую ведется борьба и «вражеские верхи» с националистическими настроениями. Влияние третьей группы интеллигенции, большинство которой работало в Институте белорусской культуры, в учреждениях Народного комиссариата просвещения БССР, признавалось «наиболее опасным», с которым нужно было развернуть борьбу.

Сделанный анализ был подтвержден на октябрьском (1925 г.) пленуме ЦК КП(б)Б и IX съезде Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. В феврале 1926 года бюро ЦК КП(б)Б создало специальную Комиссию по интеллигенции. По предложению этой комиссии прошла чистка ряда учреждений науки, образования, редакций газет от тех представителей интеллигенции, на которых пало подозрение во враждебности к проводимой в республике политике. Попытки редакции газеты «Савецкая Беларусь» высказать свою позицию в понимании предназначения интеллигенции, аргументировать ее право на особенную роль в национальном возрождении края была осуждена, а ее редактор И. И. Шипилло снят со своего поста.

А. И. Криницкий сыграл негативную роль в вопросе об издании книги известного российского, белорусского и украинского историка М. В. Довнар-Запольского «История Беларуси» и высылке его из БССР.

При обсуждении этого вопроса на закрытом заседании бюро ЦК Компартии Беларуси 28 января 1926 года в докладе заместителя заведующего отделом печати ЦК КП(б)Б, политического редактора Белгосиздата В. А. Сербенты был сделан вывод, который затем получил развернутое обоснование в рецензии, подписанной им 6 февраля 1926 года:

«Прадстаўленая да друку праца праф. Доўнар-Запольскага з'яўляецца больш ці менш паслядоўна аформленым і абгрунтаваным эканамічным фактарам пункта гледжання нацыянал-дэмакратызму, па-першае, і, па-другое, мяркуючы па цытатах, прыводзімых ніжэй, памылковым асвятленнем гістарычных фактаў і свайго роду здзекам над практычным правядзеннем дыктатуры пралетарыяту і савецкай уладай». Поэтому, по заключению докладчика и рецензента, «нельга даць магчымасць беларускаму нацыянал-дэмакратызму атрымаць ідэалагічнае афармленне. Кнігу нельга дазволіць да друку» [19, л. 586, 596].

Бюро ЦК КП(б)Б приняло по этой книге следующее постановление:

«1. Признать, что книгу Довнар-Запольского издавать нельзя, как выражающую позицию белорусского национального демократизма и в корне искажающую историю Белоруссии...» [20, л. 46].

Кроме того, ЦК Компартии Беларуси принял решение выслать профессора М. В. Довнар-Запольского из БССР.

Весной 1927 года, выступая в дискуссии на собрании актива Минской городской партийной организации о проблемах строительства пролетарской культуры, Д. Ф. Жилунович, говоря о формировании кадров национальной культуры, назвал акцию с высылкой Довнар-Запольского ошибкой и назвал ряд других культурных работников, которые попали под преследования.

Отвечая Жилуновичу, первый секретарь ЦК КП(б)Б А. И. Криницкий, который также участвовал в дискуссии, задал вопрос:

«А вы поддерживаете или не поддерживаете отправку из Белоруссии Довнар-Запольского, тоже белорусского деятеля, крупнейшего научного работника, который начал писать теоретическое обоснование национал-демократизму, и у нас не было сомнения, что этот человек не может здесь работать? Да, может быть он не имел раньше фабрик, но скажите, пожалуйста, является ли этот деятель выразителем буржуазного национализма или нет? Нельзя на свои глаза, тов. Жилунович, надевать такие очки, через которые ничего не видно. Это националистические очки».

В заключение речи Александр Иванович назвал линию той части ответственных работников Белоруссии, которые считают нужным удалять из республики носителей националистической идеологии, правильной, соответствующей задачам строительства новой культуры [21, л. 7—8].

К сожалению, во второй половине 1920-х годов участились факты прямого вмешательства в развитие творческих процессов в литературе и искусстве со стороны партийного и советского руководства БССР.

Одним из проявлений этого процесса было снятие с репертуара вскоре после постановки в Первом Белорусском драматическом театре в 1926 году пьесы Я. Купалы «Тутэйшыя». Она была снята Главлитом внезапно, без предшествующих согласований с Наркоматом просвещения, чьей структурой Главлит являлся.

Событие для того времени было чрезвычайным. Пьеса принадлежала перу классика белорусской литературы, который год назад получил звание народного поэта БССР, написанная в 1922 году, она уже печаталась в журнале «Полымя» и возражений не вызвала.

Чрезвычайность придавало и то обстоятельство, что запрет произошел во время работы Академической конференции по реформе правописания и азбуки (конференция открылась в Минске 14 ноября 1926 года, а цензура сняла пьесу

16 ноября. — **Э. И.**). На конференцию были приглашены представители зарубежных научных учреждений, белорусских национальных и культурно-просветительных центров. И руководству республики было совсем небезразлично, какое впечатление останется у них от Советской Беларуси. «Культурная программа», составленная для гостей, предусматривала посещение научных, учебных, просветительских и других учреждений столицы БССР, в том числе государственных театров в Минске и Витебске. Тем не менее, пьеса со сцены Минского театра была внезапно снята.

Дело в том, что уже в первый день работы конференции политические контролеры увидели в ней много недопустимых, с точки зрения официальной идеологии того времени, фактов, которые в печати были квалифицированы как «нацыянальныя захапленні і нацыянал-дэмакратычныя імкненні».

На закрытом заседании бюро ЦК КП(б)Б 26 ноября 1926 года обсуждение этих «проколов» приобрело настолько острый характер, что председатель Инбелкульта и партийной пятерки по организации конференции В. М. Игнатовский вынужден был отказаться от дальнейшей работы по материалам конференции и только под давлением членов бюро ЦК КП(б)Б согласился продолжать ее.

В таких условиях и возник вопрос о пьесе Я. Купалы «Тутэйшыя», в которой были замечены «мастацка афармленыя элементы нацыянал-дэмакратызму». Те самые «элементы», об опасности которых первый секретарь ЦК А. И. Криницкий говорил еще в сентябре 1925 года на собрании членов бюро ячеек Минской городской партийной организации. Тот самый национал-демократизм, о котором в постановлении ЦК КП(б)Б «О работе среди интеллигенции» (март 1926 г.) было сказано, что он в Советской Беларуси «находит свой социальный базис в настроениях буржуазной верхушки деревни».

Предварительное обсуждение пьесы Я. Купалы произошло на расширенном заседании коллегии отдела печати ЦК КП(б)Б в последний день работы Академической конференции 19 ноября 1926 года. Участники заседания постановили:

«1. Признать, что Наркомпрос, Главполитпросвет, Главлит и театр допустили крупную ошибку, приняв к постановке пьесу Я. Купалы «Тутэйшыя» в том ее виде, в каком она написана и поставлена на сцене.

2. Признать, что еще более крупной политической ошибкой было механическое запрещение пьесы коллегией Главлита после того, как один спектакль уже состоялся. Главлиту надлежало этот исключительный случай предварительно поставить на обсуждение в соответствующих органах.

3. Считать пьесу снятой со сцены временно, впредь до ее радикальной переработки. Предложить коллегии Главлита сделать соответствующее постановление.

4. Считать необходимым, чтобы пьеса была переработана автором; добиваться, чтобы соответствующее письмо Я. Купалы появилось на страницах нашей печати...» [22, л. 18—19].

На заседании бюро ЦК Компартии Беларуси 3 декабря 1926 года отмечалось, что пьеса Я. Купалы «Тутэйшыя» снята с репертуара потому, что произведение содержало элементы национал-демократизма.

Острой критике было подвергнуто литературное приложение к крестьянской газете ЦК Компартии Беларуси «Беларуская веска» — «Чырвоны сейбіт». Оно обвинялось в «затушоўванні і запутванні партыйнай лініі ў пытаннях літаратуры».

В фондах Национального архива Республики Беларусь хранится протокол № 83 закрытого заседания бюро ЦК КП(б)Б от 17 декабря 1926 года. В нем отмечается:

«Слушали: Окончательная редакция резолюции по вопросу о пьесе «Тутэйшыя».

Постановили: 1. Признать, что постановкой пьесы «Тутэйшыя», которая заключает в себе элемены национал-демократизма, Наркомпрос, ГПП, Главлит и театр допустили политическую ошибку.

2. Снятие пьесы коллегией Главлита считать политически правильным, одновременно отметить, что при организационном проведении в жизнь была сделана ошибка в смысле несогласованности вопроса о снятии пьесы с соответствующими органами (Наркомпрос и проч.).

3. Считать возможным постановку пьесы на сцене после ее радикальной переработки автором и после того, как переработанная пьеса будет принята к постановке соответствующими органами...» [10, л. 186].

В результате Александр Криницкий должен был объясняться с ЦК ВКП(б) и Иосифом Сталиным. В большом письме в Центральный Комитет ВКП(б) Александр Иванович 20 декабря 1926 года писал, что ЦК КП(б)Б видит опасность белорусского шовинизма и национал-демократизма и ведет с ними борьбу. В качестве доказательства он привел факт запрета пьесы Янки Купалы «Тутэйшыя»:

«д) Бюро ЦК КПБ 3 декабря 1926 г. также основательно обсуждает вопросы, связанные со снятием из репертуара Белорусского государственного театра пьесы, написанной Янкой Купалой в 1921—1922 гг. «Тутэйшыя», содержащей элементы национал-демократизма.

В связи с обсуждением вопроса о пьесе «Тутэйшыя» подымается и общий вопрос о литературе в БССР. В частности, подвергается резкой критике литературное приложение к крестьянской газете «Беларуская веска» — «Красный сеятель», в котором затушевана и запутана партийная линия в вопросах литературы. В «Звязде» от 5 декабря помещается просмотренная несколькими членами бюро ЦК статья, критикующая ошибки «Красного сеятеля» и отражающая линию ЦК КПБ в общих вопросах белорусской литературы.

е) Это же бюро ЦК 3 декабря «дает нагоняй» литературной комиссии ЦК КПБ за просрочку и подготовку вопроса «О политике КПБ в отношении художественной литературы» и назначает (вместо 15 октября) срок заслушивания всего доклада о белорусской литературе на бюро ЦК 24 декабря 1926 года» [10, л. 203].

Между Александром Криницким и председателем СНК БССР Иосифом Адамовичем разгорелась борьба за власть и влияние в Белоруссии. Имея большие революционные и боевые заслуги, Иосиф Александрович, будучи еще членом Бюро ЦК КП(б)Б и членом Президиума ЦИК БССР, не хотел слепо повиноваться любому приказанию Александра Ивановича. Таким образом, между Александром Криницким и Иосифом Адамовичем сложились ненормальные отношения, которые привели к острому конфликту.

Сталин решил их обоих отозвать из Белоруссии. Криницкий был назначен заведующим агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б), а Адамович — членом Президиума ВСНХ СССР и председателем правления Сахаротреста СССР.

В 1929—1930 годах Александр Иванович работал секретарем Закавказского крайкома партии, а в 1930—1932 годах — заместителем наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР и одновременно членом редколлегии журнала «Большевик».

В 1933—1934 годах Криницкий — заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), начальник Политуправления и заместитель наркома земледелия СССР.

Александр Иванович являлся членом ВЦИК и ЦИК СССР.

С 1934 года он работал первым секретарем Саратовского обкома и горкома партии, а 10 февраля 1934 года на пленуме ЦК ВКП(б), избранного XVII съездом партии был избран кандидатом в члены Оргбюро ЦК ВКП(б).

20 июля 1937 года Криницкий был арестован и обвинен в контрреволюционной террористической деятельности, в принадлежности к организации правых и шпионаже в пользу Польши.

На октябрьском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) Александра Ивановича вывели из состава ЦК. Решением коллегии Верховного суда СССР 29 октября 1937 года он был приговорен к смертной казни и расстрелян 30 октября 1937 году — на 44-м году жизни.

17 марта 1956 года Александр Иванович был реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР, а через пять дней — 22 марта 1956 года КПК при ЦК КПСС посмертно восстановлен в партии.

ПЕТРО ВАСЮЧЕНКО

# *Власть текста*

## Заметки о литературе

*Есть Эрос текста и Власть текста. Власть текста — это «Молот ведьм» и «Капитал», «Статут Великого княжества Литовского» и «Наша нива». Это стихи-агитки, гражданская лирика, гимны и марши, детектив и триллер. И вся дидактика.*

*Эрос текста — это холодная красота поэзии В. Брюсова, прозы И. Бунина, сборника «Венок» М. Богдановича... Это постмодернистские игры, запах свежей типографской краски и благородная желтизна древних фолиантов...*

## ТЕОРИЯ

### Сущность драмы

Она — не действие, не зрелищность, не театральность. Драма — самый вербальный из всех родов литературы. Движения, мизансцены, жесты — тоже ее «слова». Иначе говоря, драма — это когда ее автору есть что сказать. Вот почему так поздно (под сорок) взрослеют драматурги. То, что творят драматурги помоложе — театр в песочнице.

### Секрет трагедии и мелодрамы

Секрет трагедии отгадал Аристотель. Он открыл, что зритель радуется страданиям трагического героя потому, что эти злоключения происходят не с ним самим. Отсюда и катарсис.

По аналогии раскрывается и секрет мелодрамы. Зритель проливает слезы потому, что представляет, как это несчастье или счастье приходят к нему.

### Театр как храм

В театре нет и не может быть плохих драматургов, режиссеров, актеров и рабочих сцены. Равными их делают театральное пространство и служение великому, древнему Искусству. Вот за пределами театра критики разбираются, кто хорош и кто плох.

В церкви не бывает плохих и хороших батюшек; потому что это храм, потому что обряды, обязанности, таинства, творимые их руками — от Бога; все остальное — на совести священников (они ведь такие же люди, как и все, только им больше дано) и взвешивается за пределами церкви.

В плане земного и греховного театр лидирует, но в нем, как и в храме, творятся мистерии, поэтому я и осмелился их сравнивать.

Некогда, в эпоху школьной драмы, театр и храм были вместе.

## Театр как кафедра

Гоголь про театр: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» (Собр. соч., т. 4, с.176).

Но ему самому не удалось использовать театр как кафедру, ибо в его «Ревизоре» и других пьесах нет положительных героев, нет проповедников добра.

## Театр литературы

Критика, эссеистика, литературоведение — они являются сценой для литературных творений. В них продолжается жизнь литературы, так же, как в спектакле — жизнь пьесы.

## Рифмы

Рифма — это брачный союз слов, одиноких в языковой Вселенной. Гений поэта находит эти созданные друг для друга половинки и соединяет их. Рифма в этом случае всегда уникальна, даже если это «кровь — любовь».

## Возраст детской литературы

Возраст человека, который максимально адекватно воспринимает так называемую детскую литературу, — 11 лет. Этому читателю Стивен Кинг адресовал свой роман «Оно». Почему именно одиннадцать? Это интеллектуальный и чувственный экстремум детства. Звонкие голоса и физическая чистота. После начинаются мутации, гендерные проблемы. Смерть детства.

## Философ и журналист

Что общего между философом и журналистом?

Журналисты, как и философы, знают все обо всем понемногу.

Только философы об этом больше думают, а журналисты больше пишут.

## Типажи критиков

Один критик радуется появлению в литературе того, о чем он мечтал. Таких критиков любят.

Второй критик никогда не найдет в литературе того, о чем он мечтал. Таких критиков не любят. Но они и есть настоящие. Вот только беда, что они часто перебегают в прозу, поэзию, драматургию, чтобы доделать в литературе то, чего в ней нет.

## Финалы

Счастливые финалы произведений более приличествуют канону творчества. Литература — для радости, созидания.

Древняя трагедия имела счастливый финал — Дионис воскресал.

Несчастливые, дисгармоничные финалы — примета творческого беспокойства, поиска, метаний. Авангардизма.

Несчастливые финалы взорвали канон.

Литературный процесс раздвоился при переходе культуры в цивилизацию. Цивилизация с ее правильностью довлеет к канону, культура — к авангарду.

## Структурализм

Отличие системы и структуры в том, что система жива и динамична, структура неподвижна и мертва. Конечно, исследователям проще экспериментировать с мертвым, чем с живым объектом, вот почему и родился структурализм. Если

живое сопротивляется анализу, его убивают. Структурологи, таким образом, умерщвляли произведение, чтобы потом нарезать его на структуры. Мне более по душе старый добрый системный метод.

**Язык языкознания**

Современные языковеды на основе речи создали новую речь, арго, которое объединяет посвященных и отталкивает профанов. Но этот метаязык не имеет ничего общего со словом — живым организмом. Связь между жаргоном лингвистов и живой речью условна. Она исчезнет, когда метаязык окончательно формализуется и станет объектом самостоятельного изучения.

**Категории**

Категории опускаются на язык, как этакий терминологический туман, а *«За туманам нічога не відна»*.

А должно быть по-другому.

Категории должны выходить из языка, как восстала из морской пены новорожденная Венера.

Языковая стихия омывает их, оглаживает, и они начинают блестеть, как морские камешки. Вне языка категории тускнеют.

**Три закона компаративистики**

1. Сравнивать можно все.
2. Сравнивать можно все, но не все можно делать равным.
3. Великих литератур не бывает, бывают великие писатели.

**Три закона перевода**

1. Переводить можно все.
2. Ничего нельзя перевести.
3. Переводить надо так, как учил Максим Богданович.

**Три признака классика**

1. Классик — тот, кто преодолевает свою эпоху.
3. Классик — тот, кто создает альтернативный мир.
4. «По плодам их узнаешь их». (Евангелие от Матфея, гл. 7, с. 16).

**Четыре «не» литературной критики**

1. Не путать героя и автора.
2. Не переходить на личности.
3. Не решать за автора.
4. Не претендовать на всеведение.

**Сопротивление методу**

Метод — система догм, канонов, норм.

А индивидуальный, авторский стиль этой системе сопротивляется.

Тогда возникает творческая самоизоляция. На первый план выходит не абстракция, не заимствование, а нечто имманентное, внутри себя выстраданное. Автор не зависит ни от чего существующего в литературе. Его произведение уникально.

Пример: известное стихотворение Павлюка Багрима *«Зайграй, зайграй, хлопча малы...»*. Простенькое, но такое трудное для литературоведческой идентификации. Оно не принадлежит ни одному из описанных стилей. Его можно

характеризовать только при помощи сложной зеркальной системы литературных сопоставлений.

### Литература и спорт

Казалось бы, далекие это сферы. Но в литературе, как и в спорте, происходит борьба за лидерство. Случается, что литературные Сальери соревнуются с усопшими. Сергей Есенин всю свою творческую жизнь сражался с Александром Пушкиным за право считаться первым поэтом России. Бросив вызов бронзовому классику, Есенин уподобился Евгению из «Медного всадника» Пушкина. И бронзовый призрак его догнал... Есенин начал уничтожать себя; дотошные биографы подсчитали, что в его стихах 400 раз повторяется слово «смерть». Есенина незадолго до его смерти посетил Черный человек, как это случилось и с Моцартом. Пушкин такую встречу описал в «Маленьких трагедиях». Такое вот получилось хитросплетение жизненного и литературного материала.

Сражаться с умершими опасно. Их надо любить, как делает большинство людей.

### «И я так сумел бы...»

Гений мечтает о головокружительной литературной карьере.

Он действительно гений, но вместе со своей гениальностью брошен на дно человеческого бытия.

Из истории человеческой цивилизации он знает, что эта заброшенность — обычная участь гениев. Сначала они мучались в болоте непризнания, а потом всплывали на поверхность жизни. О них все узнавали, ими восхищались. Чаще — после их смерти. (Такова судьба Франца Кафки).

Вдруг нашего гения осеняет: ничего не будет. История признанных гениев — история счастливчиков, одного из тысячи. Кто вспомнит о тех, кто не был замечен? Ты можешь утешаться одной только мыслью: «И я так смог бы...»

### Преимущество писателя над философом

Иногда кажется, что писатель и философ мыслят в одном направлении. Ищут смысл существования. Но это не так. Писатели вовсе не обязаны мыслить. В силу данных им возможностей пробивают дыры в материи, которой ограждена мудрость Вселенной.

А философы действительно мыслят, опираясь на логику и опыт предварительных исследований, и потому часто попадают в сеть собственных силлогизмов и мозговых усилий.

### Много мифологии

Столько написано о мифологизме в литературе, столько диссертаций защищено на эту тему, что рождается ностальгия о простых вещах. В жизни и в литературе. Если это дом, так пусть будет просто дом, а не храм, печь пусть остается печью, а не столпом Вселенной, а дым из трубы пусть будет просто дымом, а не чем-нибудь еще. Если это дерево, так пусть будет просто дуб или клен, а не Древо жизни. Нам не убежать от простых вещей просто потому, что они есть.

### Преодоление

Преодоление — видимая сущность литературы. Вся история белорусской литературы — в некотором смысле преодоление дистанции между автором и читателем, поиски доказательств некоей истины. Так велось еще от эпохи Кирилла Туровского.

Ян Чечот, Франтишек Богушевич, Винцент Дунин-Марцинкевич — все они преодолевали препятствия, мешающие развитию нации.

На эту сверхзадачу ушла вся творческая жизнь Максима Горецкого.

Только в середине XX века это литературное подвижничество частично преодолело самое себя.

Хотя Василь Быков и Владимир Короткевич остались не только мастерами, но и подвижниками.

Но уже сегодня очевидны попытки построить Башню из слоновой кости, черного дерева или иного, близкого белорусам по духу материала.

Если они построят Башню все вместе, миссионеры и отшельники-эстеты, тогда Литература и Народ станут рука об руку.

### Культура осколков

Горсть черепков, осколков обожженной глины, по мнению археологов, могут удостоиться имени «культура». То же самое происходит и с литературными осколками нашего времени. Они — продукт литературной игры, деструкции, травестации, объект пристального внимания литературоведов и культурологов.

### Реализм

За горизонтом постмодернизма забрезжил реализм. Об этом все чаще говорят теоретики, предвещая ренессанс реализма. Но есть узкое понимание реализма как адекватного, в формах самой жизни способа художественного постижения. В широком значении, которое приписывается ему, реализм видится как пафос познания и художественного перевоссоздания жизни, чем литература занималась и будет заниматься долгие века. Просто в эпоху постмодернизма эта функция как бы стала второстепенной.

### Бессмертие литературы

Литературные произведения наиболее долговечны среди артефактов. Можно разрушить египетские пирамиды, и никто не признает полноценными их копии, даже если они будут выполнены с компьютерной точностью. А вот «Тексты пирамид» даже в переписанном виде будут вызывать священный трепет.

### Скрытая функция литературы

В XXI веке все видимые функции литературы как будто исчерпали себя. Осталась одна — компенсаторная.

Искусство как будто бы деградировало.

Но еще одна из функций сохранилась. Странно, что на нее так мало обращали внимание, хотя она была всегда.

Это — вербальное перевоссоздание Вселенной, перевоплощение мертвой, аморфной материи. Литература перевоссоздает реальность по образу и подобию Текста. Я назвал бы эту миссию «олитературиванием».

Воздействие слова, текста, литературы на жизнь осуществляется через систему универсальных взаимосвязей, которую неуверенно, на ощупь, исследуют разве что философы да астрологи. В этой системе соединяются слово, текст, язык, душа, тело, космос, растения, животные, минералы, наука, вера, цвет, свет, музыка, и из суммы их значений воссоздается Вселенная. Затронь одно звено — и Вселенная откликнется. До сих пор гармония этой системы познавалась лишь через веру, а наука, более совершенная, чем философия, еще не появилась.

Возможности искусства в этой сфере неизмеримы. Весь человеческий, живой и неживой мир остаются большей частью не преобразованными. Мир по-прежнему остается почти не тронутой искусством целиной. Цивилизо-

ванный мир сегодня — мертвая техногенная пустыня. Хотя были уже Микеланджело и Шекспир.

Создание эстетической, а не техногенной сферы существования, искупление первородного греха цивилизации — задача искусства в XXI веке.

## МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОТРАЖЕННОЕ ПЕРВОСЛОВО

### О расширении Вселенной

Может быть, для того и разбросал так далеко Господь звезды и планеты, чтобы человек не добрался до иных миров и не превратил их в техногенную пустыню, как это он сделал со своим миром.

### Сначала было Слово

Сначала было Слово. Слово высказанное или записанное. И это была уже литература. Изначальный Текст, первая Книга, в которой прописана дальнейшая судьба человека и человечества, сценарий всемирной драмы. Некто в сером из «Жизни человека» Л. Андреева считывает парадигму человеческого существования из Книги Судеб. Конец мира считывается ангелами из распечатанных свитков в «Откровении Иоанна Богослова». Калам — священное перо, почитаемое мусульманами, — записал все, что было на Земле, что есть и что будет. Рукопись, книга, манускрипт, свиток — древнейшие из архетипов. Свет Первого Слова прошел через черный колодец мифологии, отразился в многочисленных зеркалах литературного времени. Все, что создается в литературе и жизни по сей день — отражения Первослова.

### Истоки добра

Бог творил свет, землю и все живое на ней, и видел, что это хорошо.

Уже тогда произошло размежевание добра и зла, света и тьмы, живого и мертвого.

Создавался синонимический ряд: добро, свет, жизнь. И Слово, Текст, Литература. Потому что сначала было Слово.

### Раскопки в долине Зэт-Иордан

10000 лет назад тут поворачивалось колесо цивилизации. Охотники и собиратели превращались в земледельцев, кочевники в автохтонов. Это происходило болезненно. Противоречие между двумя способами выживания повлекло за собой кровавые последствия.

Убийство Авеля (охотника, скотовода) Каином (земледельцем) произошло здесь. Жизнь по-своему разыграла (или предопределила) библейский сюжет.

### Дикий и цивилизованный герои

Мотив «Эпоса о Гильгамеше», первого в мире литературного произведения, — история очеловечивания дикаря Энкиду.

Мотивы ряда романов XX века — расчеловечивание цивилизованного человека, его одичание.

### Десять заповедей

Моисей записал на скрижалях десять заповедей, десять предписаний на то или иное действие. Не более. Люди были как дети, больше и не запомнили бы.

Впоследствии были Второзаконие, кодексы, статуты, конституции, где эти правила размножились и стали подробными инструкциями хождения по жизни.

### Иов

Иов все-таки не выиграл в споре с друзьями, не принес окончательной победы и своему Богу, который спорил с сатаной, но Иов был оправдан Господом и вознагражден.

А что, если бы Иов не стал проклинать день своего рождения и проявил бы твердость духа и верность Богу?

В этом случае, возможно, он бы и был наказан. Потому что его стоицизм стал бы самоценным. А его твердость противоречила бы хрупкой человеческой природе. Человек ведь был сотворен из праха земного, а не из гранита, стали, алмаза.

### Три линии судьбы

Они просматриваются в античной трагедии.

По Эсхилу, судьба представляет собой закон, Зевсову правду. Человек как трагический герой карается за свои проступки или преступления предков.

По Софоклу, судьба — божественная тайна. Судьба — улыбка Сфинкса. Загадка Сфинкса разгадана, чудовище рассыпалось в прах, а улыбка осталась. Мертвое чудовище продолжает насмехаться над Эдипом, своим убийцей. Удел человека — терпеть, стиснув зубы.

Судьба, согласно Эврипиду, — случай, игра. Игра, затеянная олимпийскими богами или кем-нибудь еще, неведомым. Удел человека — принимать не прописанные до конца, туманные правила игры. Не противостоять судьбе, а играть с ней. Тут возможен и выигрыш.

### Литературные войны

Первый сюжет литературы, согласно Борхесу, — история города в осаде («Илиада»). Война.

В войне, как правило, проигрывают все: и победители, и побежденные. Действительно выиграть можно только на литературном поле битвы. Когда в войну втягиваются авторы произведений о войне.

Как правило, авторы становятся на сторону нации, которую они представляют.

Гомер проследил победу греков над троянцами, Эсхил — греков над персами, автор «Слова о полку Игореве» — русских над половцами, автор «Хроники Быховца» — литвинов над крестоносцами, Лев Толстой — русских над французами и т. д.

Но впечатляют и случаи «непатриотической» установки авторов, которые пытались отмежеваться от войны и сохранить нейтралитет (Максим Горецкий, Эрих Мария Ремарк, Ярослав Гашек).

### Птицы Аристофана и Хичкока

У Аристофана есть комедия, в которой власть над миром он передал птицам как существам более гармоничным, чем человек. Прошли тысячелетия — и вот в фильме Альфреда Хичкока птицы снова завладевают миром, неся на своих крыльях ужас, разрушение и хаос.

В жизни литературные пророчества, как всегда, сбываются парадоксальным образом: над человечеством нависает угроза птичьего гриппа.

### Молотом по ведьмам

Книга двух монахов, Я. Шпренгера и Г. Инститориса, написана с самыми благими намерениями, но мы знаем, куда ведут благие намерения.

На Западе они привели к уничтожению самых красивых женщин. После чего красивые женщины уцелели только в Восточной Европе.

Книга написана искренними женоненавистниками. Свои чувства они высказывают в афористической и язвительной форме: «Черта женщин — это плакать, ткать и обманывать». Однако вспомним, как это точно соотносится с образцовой героиней дохристианской поэмы — Пенелопы.

### Литература как черная магия

Данте нашел безопасный способ расправы со своими недругами. Он поместил их в свой «Ад».

В белорусской литературе нечто подобное со своими идейными противниками совершил Константин Вереницын, автор пародийно-сатирической поэмы «Тарас на Парнасе». Своим нелюбимым писателям из лагеря славянофилов (Ф. Булгарин, Н. Греч, В. Соллогуб) он закрыл дорогу в литературный рай.

### Творение англосаксонской цивилизации

Англичане овладели половиной мира не благодаря своему оружию, а благодаря своему языку и литературе. Не было бы Шекспира и Байрона — не было бы и Британской империи, не сложилась бы и цивилизация англосаксонского типа. Империя рухнула, а язык остался.

### Шекспир и Эсхил

Над миром Шекспира спокойно проплывают облака, и небо равнодушно смотрит на пролитую кровь и жертвы.

В мире Эсхила за поступками людей внимательно следят Зевс и боги-олимпийцы.

### Мнимый больной

Герой «Мнимого больного» Мольера загоняет сам себя в могилу мыслями о своей болезни. Его надоумили прикинуться покойником и таким образом узнать, кто из домочадцев действительно его любит. А он спрашивает: «А это не опасно?»

Еще как опасно!

Игры с болезнью и смертью стали роковыми и для самого Мольера, когда он, исполняя эту роль в спектакле, прикидывался и больным, и мертвым. И, говорят, скончался на сцене.

Литературные забавы с недугом и смертью действительно таят в себе опасность.

### Клетка Канта

Кант попался в ловушку собственной логики и боится высунуться из нее, не допуская того, чтобы его клетка перестала быть вещью в себе.

### Мир водоворотов и колодцев Эдгара По

Сын своего времени, Эдгар По считал, что все знает о Земле. И тогда он придумал новые ее тайны и наделал в Земле водовороты и колодцы.

### «Что гудок, что гусли»

Пушкин лучше понимал слово «Литва», чем современные верхогляды. Свидетельство тому — замечание Варлаама из пушкинской трагедии «Борис Годунов»: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино... да вот и оно!..»

### «Записки сумасшедшего»

Николай Гоголь представил собственные мучения перед смертью: мучители-лекари, клизмы, пиявки, шпанские мушки, обливание водой и прочие мерзкие атрибуты умирания.

### Мифологемы Диккенса

Все его романы опираются на две мифологемы.

Первая: легко добытое счастье. Фортуна благосклонна к тем персонажам, которых выделяет как достойных ее улыбки.

Диккенс пересказал историю Виттингтона, трижды лорд-мэра Лондона, поместив ее в викторианскую эпоху.

Вторая мифологема: неизбежное и безотлагательное наказание за преступление, порочность, коварство, лицемерие.

Это по-новому рассказанная история Гая Фокса, чучело которого Диккенс собственноручно бросает в камин времен королевы Виктории.

Диккенс одновременно щедр и беспощаден.

### Вина Скруджа

За что так жестоко осудил Диккенс сухаря Скруджа из «Рождественских повестей», который не одобрял сочельник?

Такие, как Скрудж, посягают на годовой цикл, извечный круговорот всего сущего.

### Андерсен и его сказочное королевство

Говорят, что в сказках всегда побеждает добро.

Королем сказочников считается Ханс Кристиан Андерсен. Но я вот подсчитал количество счастливых и несчастливых финалов в сказках великого утешителя и подбил процент. Так вот, счастливых финалов у него процентов сорок, а несчастливых шестьдесят. То есть добро чаще терпит поражение.

Скрип, скрип,
Скрипепец.
Вот и песенке конец!

*(Из сказки «Лен»)*

Не все в порядке в датском сказочном королевстве.

### Джером К. Джером и его открытие

Он открыл новый тип фатума — испытание дискомфортом. Это открытие мог сделать только англичанин. Англичане испокон веков высоко ценили уют, домашний очаг. Героев Джерома К. Джерома преследует демон домашней энтропии.

### Тайна Достоевского

На американской военной базе врач-психиатр, некто Хассан, устроил бойню: стреляя с обеих рук, убил двенадцать военных, а тридцать ранил. Говорят, перед тем его собирались отправить в Ирак.

Федор Достоевский извлекал сюжеты своих произведений («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы») не из головы и не из чернильницы, а из криминальной хроники.

Сегодняшняя уголовная хроника дала бы ему не один и не два, а десятки и сотни сюжетов. Один из таких — упомянутая история Хассана.

Только вот современный Достоевский не появляется. Пишутся детективы, триллеры, криминальные драмы. Но Достоевского в числе их авторов нет.

Он ведь не просто брал сюжеты, а наполнял их собственным «я». Вычитанному в газетах убийце он приписывал такие мысли и идеи, которые никогда бы никому не пришли в голову. Никому, кроме самого Достоевского.

Свое «я» он смешивал с чужим преступлением и сам в мыслях делался «убивцем».

Он перебывал ими всеми: Раскольниковым, Ставрогиным, Смердяковым.

Это не было энергией заблуждения, которую находил в нем Виктор Шкловский, и это не было данью полифонизму, открытому Михаилом Бахтиным. Это не было и обычным для писателя мастерством вживания в чужой образ.

Это можно назвать энергией погружения в собственное «я», в его сокровенные недра. Секрет этой техники на сегодня утрачен, потому и нет нового Достоевского.

### Чем спасемся?

«Красота спасет мир», — утверждал когда-то Бекон, и следом за ним Достоевский. «А кто спасет красоту?» — спрашиваем мы в XXI веке.

### Эти горячие скандинавские парни

Они со своим темпераментом принесли в литературу любовь к аналитике. Скандинавы стараются все, в том числе судьбы героев и человечества, разложить по полочкам и докопаться до первопричины. Генрик Ибсен восстановил в правах аналитическую композицию («Привидения», «Дикая утка»). Август Стриндберг в результате своих изысков обнаружил врага всего сущего, имя которому Лилит, иначе говоря, злая баба. Ингмар Бергман, анализируя историю одного развода, развернул в «Сценах семейной жизни» кровавую гендерную войну.

Все это делается весьма основательно, но иногда приводит к скуке.

### Ибсен и его «Дикая утка»

Во время поездки по Беловежской пуще я услышал от проводника историю про черную ауру охотников. Убивая, охотник разрушает ауру животных, и они пятнами кладутся на судьбу убийцы. И на судьбы его потомков. Грех убийства братьев наших меньших падает на правнуков неизвестно в каком колене.

Вспомним реплику старого охотника Экдала в «Дикой утке» Ибсена, которая вырвалась по поводу смерти внучки: «Лес мстит».

Тренев из чеховской «Чайки» стреляется, бессознательно карая себя за бездумно убитую птицу.

### Завещание Герхарта Гауптмана

Он был погребен в соответствии с его завещанием, в Восточной Германии, на морском побережье, перед восходом солнца.

### Реймонт и его «Мужики»

Реймонт любит всех своих персонажей, даже распутников, лицемеров, скряг. Потому что они все — его детища, он их всех вытащил из себя.

### Филологический бунт Льва Толстого

Он восстал против засилья французского языка и под старость стал изучать менее романтический и более практический английский.

А сам в то же время признавался, что видит сны по-французски.

## Искания князя Андрея Болконского

Поколения школьников пишут сочинения о том, как князь Болконский искал истину, а ведь это не просто поиск, это драма измельчания жизни, распыления творческих сил, недостаточной самореализации. Это трагедия бездарно потраченных лет, которую Чехов разыграл в «Платонове» и «Дяде Ване». По-моему, сам Толстой осудил метания своего героя.

Автор заставил своего героя умереть из боязни, как бы тот не превратился во второго Курагина.

## «Дядя Ваня» и русское одиночество

Доктор Астров в разговоре с дядей Ваней проронил следующую реплику: во всей губернии, мол, есть только два порядочных интеллигента — ты да я.

В этой фразе кричит страшное противостояние человеческой мыслящей единицы и дремучей массы.

## Проект Леонида Андреева

Он свою судьбу спроектировал в драме «Жизнь Человека», которой так восхищался Янка Купала. Описал долю художника, который испытал тяжелое детство, полную надежд юность, триумф и славу молодости, преждевременную старость и прозябание. Его собственная слава также была яркой и скоротечной, но ей был положен предел. Умер Леонид Андреев вскоре после революции в глухой финской деревушке, забытый всеми, и о его уходе пожалел один только сердобольный Горький.

Возможно, в последние минуты перед смертью вокруг писателя также шушукались старухи, подобно злым духам у ложа умирающего китайского императора (Ханс Христиан Андерсен, «Соловей»), подобно демоническим существам из «Жизни Человека», перебирали по косточкам его собственную, нескладно прожитую жизнь. А потом угасла свеча, и Некто в сером проговорил: «Тише! Писатель Леонид Андреев умер!»

## Маяковский

Поэт был одержим ненавистью ко всему обыкновенному. Простого обывателя называл «дрянью».

Прежде в русской литературе, с легкой руки представителей «натуральной школы», простого человека жалели, оправдывали и хвалили. Достоевский нашел в душе «маленького человека» трещину, открыл его душевное подполье и изобразил демоном. А Маяковский сплеча: дрянь, да и все тут.

## «Хождение по мукам» Алексея Толстого

Это не история революции и гражданской войны, а повествование о двух мужчинах и двух женщинах, двух семейных парах, которые в войну и лихолетье потеряли друг друга. Сюжет известен со времен античности. Название апокрифическое. В финале герои выходят из крови и грязи существования прежними, с чистыми, устремленными в даль душами. Их создатель, «красный граф», выпустил своих героев из 1920-х, но не оставил и намека о том, что с ними произойдет в 1930-е.

## Как белорусы миром управляют

«Царь, как зачарованный, сидел в Могилеве» (А. Толстой, «Хождения по мукам»).

Исход первой мировой войны определялся в Барановичах, судьба Российской империи и всей цивилизации XX века — в Могилеве, который стал добровольной тюрьмой для самодержца.

Что зачаровало царя?

Он попал в зону zero, самое око тайфуна, где, казалось бы, царил мертвый штиль, хотя кругом все бурлило.

Царь не успел даже вдуматься в смысл названия города, который похоронил его будущее. Зачарованный, он только смотрел, как подкрадывается к нему гибель.

### Удивительный Томас Манн

Меня слегка удивляет Томас Манн с его однозначно положительной трактовкой библейского персонажа Иосифа Прекрасного в романе «Иосиф и его братья». Он возносит Иосифа как спасителя евреев во время голодомора, но ведь вместо голода физического Иосиф подарил свои братьям голод духовный, вкус рабства. Они пробыли в неволе египетской несколько столетий, утратили облик свободного народа, а потом еще сорок лет блуждали по пустыне, чтобы вернуть себе чувство свободы. Вот и спасай после этого кого-нибудь от голода.

### Самоубийца Эрдман

Драматург в недобрый час написал пьесу «Самоубийца» и этим предопределил собственную судьбу. Повезло ему или не повезло — сказать проблематично; был выслан, вернулся, писал киносценарии, однако «Самоубийца» был последним его драматургическим произведением. Он убил себя как драматурга.

### Михаил Зощенко и его грустно улыбающаяся муза

Рассказы Михаила Зощенко скорее ироничные, чем юмористические. Повествователь представляется как ироничный полуинтеллигент, который с грустной улыбкой созерцает дефекты нэпмановской и советской эпохи. Автора жестко преследовали за «мещанство», за то, что пытался хихикать на военную тему. Что касается его стиля, то его повествователь погрузился в арго своего времени и так из него и не выбрался. Как говорил Лев Толстой: «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Открывай на любой странице, и прочтешь: «А башка ноет, гудит...», «Что ты, дьявол, двери трясешь?», «Не нравятся мне эти аристократы», «Гляджу, стоит этакая фря». Я понимаю, что по ту сторону стиля есть другой Зощенко — интеллигентный, тонкий, ироничный, но его постоянно заслоняют тяжкие типажи советского обывателя, неважно, кто он: маляр, банщик, соцслужащий, нэпман.

### «Мастер» и Мастер

Маргарита назвала его Мастером — для влюбленной женщины это позволительно. На самом деле это сумасшедший, не наделенный большим талантом, и лучше бы ему было вовсе оставаться историком. «Роман в романе» дидактичен, мелок и малоинтересен; он не стоит и одной строки Евангелия, которое «мастер» попробовал переписать. А настоящий Мастер — это сам Булгаков, который создал не только пародию на Евангелие, а нарисовал блестящие картины московского быта двадцатых годов, пустил разгуливать по столичным улицам литературного Воланда вместе с его свитой и придумал запоминающиеся инфернальные сцены. «Мастера» он создал как бледную тень самого себя, на фоне которой проще выглядеть великим.

### Проект бессмертия Шоу

В драме «Назад к Мафусаилу» Бернард Шоу мечтал о долгожительстве будущих обитателей Земли. Он и сам всеми силами стремился осуществить этот проект: не пил, не курил, был вегетарианцем и почти достиг мафусаилова возраста, прожив... 94 года.

### Любовь по Лоуренсу

Героиня шпионского романа Кена Фоллетта «Игольное ушко» Люси училась искусству любви по книгам Лоуренса, постигала, так сказать, теорию, и ее собственная любовь с Дэвидом оказалась вычитанной, книжной, а сцена первой брачной ночи — бледной, малоинтересной.

Все получилось не так, как в книге, и не так, как в жизни.

### Лезвие бритвы Ефремова

Иван Ефремов, геолог по образованию, в рассказе «Алмазная труба» доказывал схожесть африканской и сибирской платформ. В результате он предсказал алмазные месторождения в Сибири, которые действительно открыли через пятнадцать лет.

В рассказе «Секрет эллинов» утверждал, что есть генетическая память.

Роман «Туманность Андромеды» был первым в мировой литературе произведением о диалоге космических цивилизаций.

Сам он всю жизнь ходил по лезвию бритвы. В 1930-е годы на одном из партийных собраний его пробирали за то, что своими фантазиями наносит урон геологии.

Вот так геология стала для него опасной наукой. Как и для белоруса Гаврилы Горецкого, которого едва не расстреляли. Как и для персонажей пьесы Кондрата Крапивы «Кто смеется последним». Опасна близость к земле, ее извечным тайнам.

### Охота Хемингуэя

Формула творческой экзистенции Эрнеста Хемингуэя слагается из охоты и рыбалки.

Он начинал свою биографию как воин, но это состояние не было для него естественным. Человекоубийство не стало для него истинной профессией. Страсть к охоте досталась ему в наследство от отца.

По представлениям индейцев, мужчина либо воин, либо охотник.

Хемингуэй не нашел себя в войне и проговорил: «Прощай, оружие».

Он охотился на франкистов, на акул. Его трофеем стала Нобелевская премия, которую получил за то, что его Старик упустил рыбину. Он установил мировой рекорд по ловле акул. Когда он поймал все, что можно поймать, он начал охоту на самого себя. Охота завершилась выстрелом из охотничьего ружья 2 июля 1961 года в Кетчуме (штат Айдахо).

### Пятый сюжет Хорхе Луиса Борхеса

Борхес всемирную литературу свел к четырем сюжетам и заключил: все уже написано. Но есть еще и пятый сюжет: это то, что написано Борхесом. Таким образом, четыре сюжета уничтожаются, остается пятый.

Это ловушка постмодернизма.

### Агата Кристи

Непредсказуемость финалов ее произведений основана на эффекте неожиданности.

Ее внучка уже к середине романа знала, кто убийца, и ей помогало в этом не логическое мышление, а умение разбираться в литературных приемах. Убийца — тот, кого наименее подозревают.

Мастерство Кристи — это умение маскировать убийцу. Для этого у нее есть целая обойма приемов: двойные и тройные кульбиты, введение подставного убийцы и так далее. Это все филологические фокусы.

### Тайна комиссара Мегрэ

Каждое расследование комиссара Мегрэ включает в себя элементы психоанализа и даже сексопатологии, ведет в область интимного.

В одну лишь сферу не пускает Сименон читателя — это интимная жизнь центрального персонажа. Мадам Мегрэ фигурирует почти в каждом романе, Сименон с умилением пересказывает малейшие детали семейного быта комиссара, со вкусом описывает кушанья, которые готовит для него мадам Мегрэ. Не пускает лишь в спальню. Не объясняет причины бездетности четы, стареющей в одиночестве. Комиссар абсолютно равнодушен ко всем женщинам, кроме своей жены. Так создается одна из великих тайн многотомного детективного сериала.

Убийства расследуются, убийцы разоблачаются, а интимная жизнь следователя остается тайной за семью печатями.

### Чейз

Парень, девица, любовь, деньги, пистолет, мордобой и ничего больше. По этим приметам безошибочно узнается Чейз.

### Антиглобалист Карлсон

Герой трех повестей Астрид Линдгрен предстает в облике Дон Кихота с пропеллером, который защищает добрый старый мир, где уютно и комфортно, где есть место сказке, куда еще не ворвались демоны технократии. Он сражается с пылесосом, этим Серым Волком, который проглотил Красную Шапочку, взрывает паровую машину, а с телевизором мирится только потому, что считает его обыкновенным ящиком, в который залезла девица видом прелестная. Карлсон пытается повернуть человечество назад, в мир сказок, привидений, какао и плюшек, но за это получает лишь шлепки от взрослых. Только Малыш его понимает, но и это лишь до тех пор, пока он не вырастет.

### Звери и люди Даррелла

Фрейд, исследуй он прозу Даррелла, заподозрил бы в ней сублимированные инстинкты зоофилии.

Последователь мифологической школы искал бы в ней тотемы.

Даррелл изучает людей как экзотический вид животных, а животных показывает как обыкновенных, хотя и не лишенных индивидуальности, людей.

### Кундабуфер виноват

Георгий Гурджиев писал, что во всех болячках человеческой цивилизации виноват некий мифический орган кундабуфер, который некто в человеческую сущность внедрил, а назад вытащить позабыл. Отсюда — уничтожение человеком себе подобных, принесение в жертву животных и людей, зависть, ревность и т. д. Если бы и вправду все беды были бы от этого зловредного кундабуфера!.. А виноваты-то люди.

Поиск кундабуфера внутри человеческой природы подобен поиску метафизического зла, которое прячется где-то в недрах Вселенной. А может, его и нет вовсе, как нет кошки в темной комнате. Растаял, как заячье сало.

### Неоправданная сенсация

Грек Н. Казандзакис всю жизнь искал Бога, и результатом поиска стали несколько романов, в том числе и «Христа распинают снова», «Последнее искушение Христа». По мотивам второго из них американский режиссер Мартин Скорсезе снял одноименный фильм.

Автор прикидывал на себя одеяния ислама, буддизма, коммунизма, пока не вернулся к христианству.

Странно, что фильм запретили на телевидении. В нем, как и в романе, нет кощунства. Есть страдания и мучительный опыт богоискательства. Последнее испытание Христа состоит в соблазне тихой семейной жизни, земной любви. Это искушение Богочеловек преодолевает и возвращается на свой крест.

Страдания грека — это его личные страдания. Роман сам по себе не имеет универсального значения. Но он интересен как инцидент.

### Карлос Кастанеда — пророк реванша

Он пытался восстановить бессмертный опыт угасшей индейской цивилизации. Человечество отказалось следовать путем европейской средневековой мистики и отвергло магию доколумбовой Америки. Древние цивилизации проиграли в неравной войне против техногенного и рационального общества, против пушек и пороха.

Но дремлющая цивилизация должна проснуться и выиграть. Кастанеда — один из первых пророков будущего реванша.

Летаргия индейской цивилизации напоминает тот извечный сон, который приписывал своему народу великий Купала в поэмах «На Кутью», «Сон на кургане».

### Стивен Кинг и его «Оно»

Он действительно великий писатель. Он никогда не получит Нобелевской премии, хотя и получает супергонорары. Он ведь «несерьезный» писатель. А где граница между серьезным и несерьезным в литературе?

Стивен Кинг — король страха. Иногда, как и все короли, он устает, и тогда с ним можно спорить словами Льва Толстого о Леониде Андрееве: «Он меня пугает, а мне не страшно».

При анализе его прозы обнажаются приемы: описание детских страхов, сублимация садомазохистских комплексов взрослых.

А Кинг, наверное, и не думает ни про какие приемы. Он хотел бы творить серьезную литературу. И мог бы. В его философии, теософии разбросано мыслей не меньше, чем у Умберто Эко.

Так что же мешает? Мешает «оно». Вернее, уже неизлечимая привычка гнать текст, как это произошло с романом «Оно». Умышленно затягивает, недоговаривает, и читатель поддается, ожидает все большего. А развязка поспешная, невнятная. Не все сюжетные узлы развязаны. Даже хочется помочь автору.

### Синдром Коэльо

Его уже превозносят как автора бестселлеров XXI века. Это закономерный результат любого культурного взрыва. Он сменяется упадком. Античная культура деградировала в эпигонство.

Латиноамериканское чудо, магический реализм (Борхес, Маркес, Астуриас, Амаду) растворились в масскульте (Коэльо и «мыльные оперы»). Индийская классическая драма (Калидаса) выродилась в мелодраме.

### Синдром Дэнна Брауна

«Код да Винчи» — это не интеллектуальный детектив, а, скорее, роман-лекция, прочитанная журналистом, который знает все понемногу, а в сумме очень мало. Успех романа — чистый пиар, которому вольно или невольно помогали его оппоненты.

Роман успешно продолжает дело, начатое Коэльо, и ведет литературу, в том числе и массовую, к вырождению.

Философ Валентин Акудович с тоской пишет о том, что в современную эпоху литератор-интеллектуал, чтобы иметь успех, вынужден прикидываться, что он глупее, чем на самом деле, как, например, Умберто Эко. Оказывается, не обязательно даже прикидываться.

## Леклезио: апология романа

Это не Леклезио получил Нобелевскую премию по литературе. Ее присудили возрожденному роману. Роман, каким он был во времена Флобера, продолжает жить в XXI веке.

Роман — это даже не жанр, а форма мышления, способ осмысления действительности.

## Цивилизация пончиков

Пончик — один из героев сказочного эпоса о коротышках, созданного Николаем Носовым. В романе «Незнайка на Луне» Пончик устанавливает рекорд по обжорству. Оставшись в одиночестве в космическом корабле на лунной поверхности, он за четверо с половиной суток уничтожает более чем годовой запас провизии. Причина — в «чрезвычайной едовой недисциплинированности», то есть «способности кушать все, что угодно, где угодно, когда угодно и в каком угодно количестве».

Аналогичным образом поступила и наша цивилизация, которая за столетие с лишним поглотила почти весь запас угля, нефти, газа, который великая Природа откладывала для человека многие миллионы лет.

Совершив свой подвиг, Пончик почувствовал острый голод и выбрался из корабля...

Что дальше?

*Продолжение следует.*



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

# *Из литературного дневника третьего тысячелетия*

* * *

Глубокая осень 1967 года. Я сижу на втором этаже старенькой переделкинской дачи в гостях у Ярослава Смелякова. Мы недавно закончили работу над юбилейным (пятьдесят лет Октябрьской революции!) «Днем поэзии». И он, главный редактор альманаха, пригласил меня, составителя, скромно отметить это событие... Мы поздравили друг друга. Выпили. Ярослав Васильевич закурил и надолго замолчал, глядя из окна на осеннее золото лиственниц и берез. Бледное лицо со впалыми щеками, жидкие светлые волосы, хриплый голос, застуженный на всю жизнь то ли на финских, то ли на интинских ветрах. В эти же дни мы с ним записывали на фирме «Мелодия» пластинку стихотворений Заболоцкого в нашем исполнении, Смеляков читал свои любимые стихи Николая Алексеевича, я — свои... И вдруг, глядя из окна дачи на траву, покрытую инеем, отсидевший три лагерных срока, Смеляков своим глухим надтреснутым голосом начал читать стихотворение Заболоцкого, тоже растерявшего здоровье на берегах Амура и в степях Казахстана:

Где-то в поле возле Магадана
посреди опасностей и бед
в испареньях мерзлого тумана
шли они за розвальнями вслед <...>

Вот они и шли в своих бушлатах,
два несчастных русских старика,
вспоминая о родимых хатах
и томясь о них издалека...

Смеляков читал стихотворение так, как будто бы один из стариков был Заболоцкий, а другой он сам:

Стали кони, кончилась работа,
смертные доделались дела,
объяла их сладкая дремота,
в дальний край, рыдая, повела.

Не догонит больше их охрана,
не настигнет лагерный конвой.
Лишь одни созвездья Магадана
засверкают, встав над головой.

Закончив чтение, Ярослав Васильевич наполнил наши рюмки и глухо произнес:

— Вечная ему память!

Чтобы отвлечь старика от невеселых мыслей, я ответил ему на трагическую ноту Заболоцкого его собственным знаменитым в советскую эпоху стихотворением:

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет <...>

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаяньи он написал.

Смеляков как-то застенчиво и неумело улыбнулся беззубым ртом, словно бы благодаря меня за то, что я вмешался в его невеселые воспоминания, прочитав ему светлые, сентиментальные, чистые строчки, написанные им в грозном 1941 году...

...С того осеннего дня прошло почти полвека. Я сижу в своей калужской квартире, оставшейся мне в наследство от покойной матушки, и перелистываю смеляковский однотомник из «Большой серии поэта», чтобы составить свое «избранное» из этого однотомника, включив туда все самое живое, самое глубокое и высокое из его поэтического наследия, отбросив все временное и поверхностное, что, к сожалению, есть и у него, да, наверное, и у каждого из нас...

Название я придумал давно — «Терновый венец», и предисловие к избранному написал... Дошел до трогательного и сентиментального стихотворения «Хорошая девочка Лида». Задумался: включать или нет, — и, почувствовав, что устал от работы, решил прогуляться по осеннему Загородному саду. День был солнечный, но ветреный и холодный. Листва шумно осыпалась с желтых лип и багровых кленов. С высокого берега в промежутках среди старых темных домов поблескивала стальная лента Оки. Постояв на ветру, я развернулся и пошел обратно, но, проходя мимо своего дома, увидел на цоколе три слова, прочитав которые вздрогнул: черной краской, видимо из баллончика, на фасаде дома были выведены слова: «Дашка правит миром». Меня словно громом ударило: как изменились воздух времени и души людские всего-то в течение жизни двух поколений! Как изменился язык улицы, живущий на заборах, на фасадах домов, на тротуарах! Сколько в ту же эпоху, когда «два несчастных русских старика» замерзали «в поле возле Магадана», было разлито в воздухе любви, добросердечия, обожания и веры в добро, сколько было девочек, похожих на «хорошую девочку Лиду», и сколько гордыни, агрессии, диктата излучает нынешний слоган «Дашка правит миром» — не «восхищается», не любит этот мир, но именно «правит». Не «Даша» или «Дашенька», а именно «Дашка». Представляю, как ее поклонник гордится этим признанием, сделанным в Дашкину честь.

Поистине два этих эпиграфа о «Лиде» и «Дашке» выражают сущность двух эпох — той незабвенной, человеческой, советской и нынешней звериной, сверхчеловеческой.

А тут мой взгляд упал еще на два слова на том же цоколе: «Убей мента!» Боже мой! И это в стране, где был снят фильм о добродушном, но справедливом милиционере Анискине, где были написаны строки Владимира Маяковского

«розовые лица, револьвер желт — моя милиция меня бережет», где в 30-е годы образ «дяди Степы» был для подростков не менее привлекателен, нежели образ Юрия Гагарина для мальчишек шестидесятых годов.

А тут — «Убей мента!» До чего же мы докатились... Но как аукнется, так и откликнется, вот о чем надо помнить.

* * *

«Завтра мы отмечаем, — торжественно сообщила какая-то телевизионная дикторша, — День памяти жертв СПИДа»... Ну, прямо как день памяти жертв политических репрессий или жертв Холокоста... Мир скатывается в стихию абсурда. СПИД, за редким исключением (переливание крови), — наказание за грех: за наркоманию, за гомосексуализм, за растленную жизнь. Почему бы тогда не отмечать день памяти жертв алкоголизма или жертв сифилиса? Целые комиссии по СПИДу созданы, лотереи разыгрываются в пользу спидоносцев, концерты мировых звезд эстрады устраиваются в их честь.

Заболеть СПИДом — все равно что принести какую-то жертву во имя человечества, подвиг совершить, собою пожертвовать.

А все потому, что происхождение постыдной болезни — американское, и многие поп-звезды померли от нее, а иные переболели, и на них молятся, они фигуры культовые, и, значит, СПИД — болезнь почитаемая, сакральная... Как падучая у Магомета. Как писал в свое время Пушкин о другой «священной болезни» в сцене из «Фауста»: «И модная болезнь — она // недавно к нам завезена», — говорит Мефистофель о сифилисе, но Фауст знает, что делать с кораблем, загруженным сифилитиками, и коротко приказывает: «Все утопить».

* * *

В 2010 году, когда страна отмечала 65-летие Победы, «Новая газета» посвятила ветерану войны А. С. Черняеву аж три полосы текста, которые начинались поздравлением главного редактора газеты:

«Анатолий Сергеевич Черняев — выдающийся мыслитель, политик, тот самый знаменитый «помощник» Горбачева, который спасал от партийных деспотов и КГБ опальные театры, опальных режиссеров, актеров, художников, писателей. Черняев — один из «архитекторов демократии» в нашей стране. Любимец женщин, любитель нелицемерных застолий, один из первых, кто дал отпор гэкачепистам на форосской даче, где был интернирован вместе с Горбачевым. Черняев — бесстрашный интеллектуал. Анатолий Сергеевич, спасибо большое за боевые и гражданские победы.

Дмитрий Муратов».

А заканчивались эти три полосы словами переводчицы Лилианы Лунгиной, известной по книге «Подстрочник», с которой Черняев учился в ИФЛИ в предвоенные годы:

«Толя Черняев был похож на Горького — очень русский тип лица, коротко стриженные волосы, ясный, прямой взгляд. На фото на нем белая рубашка, черный галстук и зеленый пиджак <...>. Жил Толя в Марьиной Роще, тогда очень бедном районе, у них было две комнаты в ветхом деревянном доме. Он учился с большим рвением, хотел быть первым в классе, умел и любил играть на фортепиано. Застенчивый, с менявшимся в те годы голосом, совершенно не способный ко лжи и очень принципиальный. Намного позже, когда Толя оканчивал исторический факультет, он женился на студентке-еврейке — по любви и из протеста. Ему дали понять, что если он хочет сделать карьеру, то должен прервать отношения с этой девушкой. И через несколько дней они поженились. Сегодня Толя — один из ближайших советников Горбачева, мы до сих пор дружим».

Мысль Лунгиной о том, что женитьба на еврейке может помешать карьере мужа, напомнила мне другие размышления на ту же тему из книги «Поэтический пантеон победной войны» (М., 2005) недавно умершего члена-корреспондента Российской Академии наук Петра Алексеевича Николаева.

Я помню его скучнейшие лекции по истории литературы, с которых в 1952—1953 годах мы, студенты 1-го и 2-го курса филфака МГУ, сбегали из Коммунистической аудитории целыми группами, и оставалось нас от всего курса слушать лекции «Петруши», как мы его звали, не больше, чем остается депутатов в нынешней Госдуме во время самых никчемных и пустых ее заседаний.

Однако карьеру при полном отсутствии способностей выходец из мордовской провинции Николаев сделал удивительную и рассказал в вышеупомянутой книге о секретах этой карьеры с редким, мягко говоря, простодушием, а вернее, с той простотой, которая, по русской пословице, «хуже воровства»:

«Известно, что в 1920—1930-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жен с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит свое русское имя».

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика сталинской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, как русской жене министра путей сообщения, притворяться еврейкой, с этим у нее все было в порядке. Недаром ее Петруша еще до необыкновенных карьерных успехов в профессорских, академических и прочих сферах, уже в 29 лет, как пишет сам «великий российский ученый» (из предисловия к книге), «участвовал в заседании Центрального Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался вопрос с ошеломляющим названием «О трагическом состоянии Советского кино». Мне было 29 лет, я уже работал председателем сценарной коллегии министерства кинематографии и потому был приглашен на это высокое собрание». Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Государственном Комитете по печати СССР, так что с карьерой у Николаева все было в ажуре. Он стал заслуженным профессором МГУ, вице-президентом Российской Академии словесности, секретарем Союза писателей СССР, автором 18 книг, читал лекции в 48 университетах мира и т. д. Ныне, через несколько лет после смерти, его имя навсегда и заслуженно забыто. Так что Лилиана Лунгина лукавила, когда сокрушалась о том, что, женившись на еврейке, несчастный и честный Толя Черняев поставил крест на своей карьере. Все вышло совсем наоборот. Сведения, взятые из Википедии, гласят, что Черняев после войны окончил исторический факультет МГУ, преподавал в 1950—1958 годах новейшую историю в том же МГУ, дослужился до заведующего кафедрой, а в 1958—1961 годах переехал в Прагу и поступил на работу в журнал «Проблемы мира и социализма», в «инкубатор» по воспитанию либеральной кадровой партийной элиты... Тут-то и начинается триумфальный путь Черняева к высотам партийной власти. В 1961—1986 годах он служит в Международном отделе ЦК КПСС: сначала — референтом, потом — помощником заведующего отделом, потом — руководителем группы консультантов. В 1970—1986 годах он был заместителем заведующего отделом и одновременно членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1981—1990-м годах — член ЦК КПСС, в 1989—1991-м — народный депутат СССР от КПСС. И самый головокружительный взлет карьеры — в 1986—1991 годы: Черняев — помощник Генсека ЦК КПСС, а затем — президента СССР М. С. Горбачева по международным делам. С 1992 года он сотрудник Горбачев-фонда и руководитель проекта «Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки».

Бывший посол Великобритании в СССР, а затем и в России Родрик Брейтвейт писал о Черняеве, что тот во время своего пребывания в аппарате ЦК КПСС «поддерживал связи с учеными в области политических наук, экономи-

стами, специалистами по международным делам, жившими в престижных «мозговых центрах», а также с художниками, театральными режиссерами и музыкантами либерального толка. Он, как и они, не был диссидентом. Но и он, и они были частью интеллектуального мира, выработавшего «новое мышление», которое принесло практические плоды, когда Горбачев возглавил коммунистическую партию». (Брейтвейт Р. «За Москвой-рекой». Перевернувшийся мир. М., 2004. С. 101.)

Черняев — автор нескольких книг, восхваляющих и оправдывающих идеологию и практику горбачевщины: «Шесть лет с Горбачевым» (М., 1993), «Моя жизнь и мое время» (М., 1995), «1991 год: Дневник помощника Президента СССР» (М., 1997), «Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972—1991 годы» (М., 2008).

Одним словом, мы имеем дело с жизнью и карьерой одного из крупнейших функционеров советской эпохи, сделавшего все, что было в его силах, чтобы разрушить Советский Союз под руководством своего шефа. В мае 2013 года Черняеву, одному из последних долгожителей и ренегатов нашего времени, исполнилось 92 года. «Вечный жид», — может быть, подумает кто-то. Нет, к сожалению, Анатолий Сергеевич — русский шабесгой, вовремя женившийся на еврейке.

В «Новой газете» от 12 апреля 2010 года публикуются «свидетельские показания капитана Анатолия Черняева о Великой Отечественной войне». Вспоминая первые месяцы войны, Черняев негодует, что их, студентов, заставляли рыть противотанковые рвы: «Это была совершенно бессмысленная затея. Немцы нас обстреливали, бомбили, потом просто обходили эти наши рубежи»... Может быть, оно и так. Но осенью 1941 года, когда немцам приходилось терять время, чтобы «обстрелять», «отбомбить», «обойти» эти злополучные рвы, для нас был дорог каждый день, каждый километр расстояния, каждая задержка мощного врага, рвавшегося к Москве. Может быть, эти «лишние» дни, потерянные немцами, в итоге и помогли нашим отступающим с боями частям сорвать немецкий «блицкриг».

Потом бывший ифлиец выставляет счет незабываемых личных обид сталинскому режиму: «Первое унижение: обрили наголо. Он считал единственной красотой физиономии свою прическу». Большое унижение. Можно сказать, трагедия. Второе унижение: когда он попал в число новобранцев, из которых под Горьким формировались регулярные части, то увидел, что «на огромном пространстве — землянки... В них копошились без дела тысячи мобилизованных. Спали вповалку. Кормили чем-то непонятно отвратительным. «Туалет» запомнил на всю жизнь. Соседний редкий лес, просека метров пятьдесят шириной, загажено настолько, что ступить некуда».

Вот какие страшные испытания переживал наш ифлиец из простонародья, когда немцы уже рассматривали в бинокли Кремль и Красную площадь. А тут страдания от того, что сортиры не были построены. Прямо-таки сцена из поэмы Есенина «Страна негодяев» в исполнении Чекистова-Лейбмана:

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет.
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет!

После первых декабрьских боев под Москвой Черняев впервые увидел медсанбат, и это поразило его: «Раненых снимали с саней. В палатках не хватало мест. Раненые лежали прямо в снегу. Мороз градусов под тридцать. Стоны, ругань».

Ну, что сказать? Тяжкая картина, но вспоминается стихотворение ровесника Черняева Бориса Слуцкого «Госпиталь», в котором поэт описывает фронтовой госпиталь в разбитой церкви, где раненые кричат, впадают в забытье, умирают, где наш молоденький комбат просит санитаров оттащить от него подальше уми-

рающего немецкого унтера, «чтобы он своею смертью черной // нашей светлой смерти не смущал». Стихотворение заканчивается так:

И снова ниспадает тишина.
И новобранцу свидетельствуют воины:
— Так вот она какая здесь война!
Тебе, видать, не нравится она —
Попробуй перевоевать по-своему!

«Я участвовал в двух атаках. За всю войну — всего в двух! Как правило, после уже первой атаки человек либо бесповоротно искалечен, либо сошел с ума, либо мертв», — пишет Черняев.

Я помню, как в 70-е годы прошлого века несколько охотничьих сезонов прожил на Нижней Тунгуске в зимовье, куда меня пригласил Роман Иванович Фарков, прошедший солдатом всю войну. Он рассказывал мне о многих атаках, в которых ему приходилось бежать, кричать, стрелять, падать. Он остался жив и не сошел с ума. Думаю, что таких ветеранов с медалями «За отвагу», с орденами Славы вернулось с войны много и много тысяч. Они жили среди нас и были нормальными русскими людьми.

Вспоминая об атаках, Черняев говорит корреспондентке Зое Ерошок: «Никогда русский мужик в атаке не произносил эти слова: «За Родину! За Сталина!» Не до товарища Сталина ему. Он матушку свою не вспоминает. Впрочем, нет, мать вспоминает (смеется), но другую... Е...Т...М!!! Если человек в атаке чего и орал, так это был сплошной мат».

Конечно, тем, кто воевал, видней, но трудно верится в это. Хотя бы потому, что крик во время атаки имеет одну цель: сплачивать солдат в одно монолитное многоголосье. Голоса людей, встающих в атаку, должны сливаться в один воодушевляющий рев, а этот рев может сложиться лишь из гласных звуков, вылетающих изо рта... Для солдат всех времен и народов каким может быть самый объединяющий и воодушевляющий звук? Это не «и», не «у», не «е», не «о» и, конечно, не «е» — все эти звуки приходится произносить (особенно если кричать) с усилием, напрягая губы и мышцы лица. Единственный естественно и легко вылетающий из распахнутых губ звук — это «а»! Откроешь пасть — и сразу орешь: «а-а-а!!!» Отсюда и «Ура-а-а!», и «Б-а-нза-ай!», и «Алл-а-ах а-кба-ар!» «А! — А! — А!» Могучий и естественный звук войны, вылетающий из глотки бегущего, задыхающегося человека. И потому кричать «За Ст-АлинА-А» гораздо естественнее, нежели хором выговаривать длинное похабное ругательство, состоящее почти из одних неудобопроизносимых согласных: «б, т, в, м, т»... Природа человеческой речи опрокидывает лживые измышления Черняева, что русские люди бежали в атаку, скандируя изощренные матерные ругательства. Не получается из этого нагромождения натыкающихся друг на друга согласных одного мощного звука, объединяющего всех...

Я уж не говорю о том, что в годы войны имя Сталина воспринималось простонародьем совсем по-другому, нежели после XX съезда и лживого хрущевского доклада на нем. Вспомним еще одно стихотворение Бориса Слуцкого о Зое Космодемьянской:

Под виселицу белую поставленная,
В смертельной, окончательной тоске
Кого она воспомянула? — Сталина.
Что он — придет! Что он — невдалеке.

О Сталине я думал всяко-разное,
Еще не скоро подобью итог.
Но это слово, от страданья красное, —
За ним. Я утаить его не мог.

С таким отношением к Сталину люди той эпохи, конечно же, могли идти в атаку с его рАскАтИстЫм именем.

Но это еще цветочки. Я просто не понимаю, как может человек, сам прошедший войну, профессиональный историк — опускаться до такой лжи:

«Кадровый командный состав был выбит Сталиным до войны весь — до уровня взвода, роты, батальона». Такую ложь даже опровергать нет никакой необходимости.

Черняев хочет уверить читателей, что Сталин боялся и ненавидел офицеров, вернувшихся с войны, потому что они «были потенциальными декабристами, они повидали Запад, они нажили новое человеческое достоинство»... Это где же они «нажили человеческое достоинство» — на немецко-венгерско-румынско-итальянско-австрийско-хорватском фашистском Западе?

А уж когда Черняев начинает рассуждать о «еврейском вопросе» в сталинское время, то становится совсем смешон:

«Мы до войны совсем не отличали никаких национальностей... Я в школе учился, например, с Лилькой Маркович, это Лунгина, там на две трети были евреи, но мне в голову не приходило, что вот я — русский, а они — евреи...»

Но если ты не мог отличить русских от евреев, то как ты мог понять, что в школе «на две трети были евреи», и почему Лунгина пишет о том, что Черняев «женился на студентке-еврейке — по любви и из протеста»? Значит, все-таки он кое-как, с трудом, но догадался, что его будущая жена еврейка и что две трети его класса — ее соплеменники? Ну, тогда, конечно, трудно было в таком классе найти русскую жену! Видимо, связав свою судьбу и карьеру с Горбачевым, наш «выдающийся мыслитель», профессиональный историк и верный член ЦК КПСС перестал отличать не только русских от евреев, но и правду от лжи. Как говорится, «с кем поведешься, от того и наберешься».

* * *

На днях я написал письмо своему давнему старшему товарищу, награжденному боевыми орденами и медалями, приславшему мне на прочтение свою новую повесть.

«Дорогой мой друг! Мы начинаем составлять наш майский победный номер, и я еще раз перечитал твою повесть. Прекрасный язык, мастерское изображение характеров, трогательные чувства дружбы по отношению к своим одногодкам-однополчанам, последнему призыву Великой Войны, — все это восхищает меня.

Но есть места в рукописи, которые я обязан обсудить с тобой откровенно и спокойно...

Ты пишешь: «более четырех миллионов пленных и более миллиона «советского народа» воевало на стороне противника». Итого, по-твоему, пять миллионов бывших советских солдат и офицеров надели форму вермахта. Не много ли? Да, пленных наших в немецких лагерях было около четырех миллионов. (Кстати, к концу войны в наших лагерях было более чем 2,5 миллиона пленных вермахта, так что мы почти поквитались с ними). Но почему ты утверждаешь, что все наши, кто был в плену, «воевали на стороне противника»? Откуда ты взял эту фантастическую цифру? Вся армия вермахта, по имеющимся у меня справочникам, к началу войны состояла из 3 млн 300 тысяч человек, к ноябрю 1942 года их стало 3 млн 400 тысяч, к лету 1943-го — 3 млн 500 тысяч, к январю 1944-го — 2 млн 800 тысяч, к весне 1945-го — 2 млн человек... А где же тогда воевали и служили на стороне Германии еще 5 млн бывших советских военнослужащих? По-твоему получается, что советских людей в войсках вермахта было больше, нежели немцев и их сателлитов. Цифры о количестве немецких войск на нашем фронте я взял из солидного двухтомника «Банкротство стратегии германского фашизма»

(М., «Наука», 1975). Цифры эти с небольшими расхождениями совпадают с цифрами из других справочников, изданных, в том числе, и в наше время.

Ну, скажи мне, как я могу дезориентировать твоими «пятью миллионами» читателей лучшего в России журнала, которые верят ему?

Помнится мне, что во власовских войсках было лишь две дивизии, сформированные из бывших военнопленных, но воевали в них всего около пятидесяти тысяч человек, которым Гитлер все равно не доверял сражаться против советских частей. Одна из дивизий проводила карательные операции в Югославии, а другая освободила от немцев часть Праги и только потом вошла в легкое столкновение с советскими частями. Многие власовцы, не воевавшие с нами, ушли в американо-английскую зону и сдались там нашим союзникам... Никаких серьезных сражений власовцев с советскими частями не было.

Подумай только, что по твоим цифрам получается, что большая часть вермахта состояла из наших бывших военнослужащих, — 5 миллионов! Но из этих пяти миллионов пленных половина погибла в немецких концлагерях, сотни тысяч были угнаны на работы в гитлеровскую часть Европы, множество пленных было освобождено нашими войсками из концлагерей в последние месяцы войны, какая-то часть была освобождена из лагерей, находившихся в зоне американо-английской оккупации, и они остались на Западе, испугавшись возвращения на Родину, стали невозвращенцами, жили в лагерях «Ди-Пи». Вот так и «рассосались» эти 5 миллионов, якобы «воевавшие» против своей Родины на стороне гитлеровской орды.

А теперь другое мое недоумение. Ты пишешь, что тех советских граждан, кто оставался в оккупации, после освобождения «не принимали в институты, не говоря уже о партии, не доверяли руководящих постов, даже низовых».

Да, во всех анкетах тех лет была графа: «находился ли в оккупации». Я сам заполнял такие анкеты. Но я свидетельствую, что многие из моих калужских друзей, бывших в оккупации, после окончания школы поступили в лучше вузы страны, многие мои товарищи по МГУ, куда я поступил в 1952 году, были из Западной Украины, из Белоруссии, из русских областей, бывших под немцами, и ничто не помешало им в сталинское время стать студентами великого МГУ. Сдал экзамены на «отлично» — и все. Ты студент. Со стипендией и общежитием. Более того, мои знакомые писатели: Виталий Семин из Ростова, Микола Петренко из Львова, Александр Говоров из Курска тоже были в оккупации, но без проблем поступили в Литературный институт. Более того, писатели старшего поколения Юрий Пиляр, Борис Бедный, Степан Злобин, Александр Власенко, Константин Воробьев, Ярослав Смеляков, Виктор Кочетков побывали в немецком плену, и это не помешало им стать членами Союза писателей СССР, издавать книги, получать квартиры, работать на преподавательской работе, учиться на Высших литературных курсах и даже вступить в партию. Известный поэт Виктор Кочетков вообще стал крупным партийным начальником — был освобожденным секретарем парткома московской писательской организации. Проверялось лишь одно: чтобы живший на оккупированной территории или сидевший в плену не сотрудничал с оккупантами, не выслуживался перед лагерными или оккупационными властями.

А Ярославу Смелякову его лагерное прошлое в гитлеровском плену не помешало стать лауреатом Государственной премии СССР. С одним из таких лагерников — писателем и журналистом Николаем Непомнящим — я в 1960 году работал в журнале ЦК ВЛКСМ «Смена», где он заведовал отделом очерка и публицистики, и я был у него в подчинении.

Ты пишешь, что не давали тем, кто жил в оккупации, ни «ответственных постов», ни «партийных билетов». А как же ты забыл о судьбе Михаила Горбачева, бывшего со всей семьей в оккупации, что не помешало ему в 20 лет стать членом КПСС, потом окончить философский факультет МГУ, стать комсомольским вождем своего Ставрополья, потом — партийным секретарем обкома, а потом

и Генеральным секретарем ЦК КПСС! Объясни мне эту загадку! Неужели КГБ не знал об этом?

Да, анкета была, вопрос в ней о жизни в оккупации был, но лишь для того, чтобы просеять и выявить, кто по своей воле охотно сотрудничал с оккупантами. К таким — да, власть была беспощадна. В моей родной Калуге после ее освобождения были повешены бургомистр со своим заместителем (оба местные). А сколько у них было помощников! Немцы же везде пытались создать органы самоуправления под своим контролем, создавали систему полицаев из местных. И конечно, всех таких после освобождения советская власть наказывала жестоко. А что было делать, если война шла не на жизнь, а на смерть!

Оуновцы, бандеровцы, «лесные братья», чеченские батальоны, крымские татары и т. д. Ну, как тут без анкеты обойдешься, особенно в первые послевоенные годы, когда время от времени вспыхивали судебные процессы над разоблаченными полицаями и коллаборационистами... Ну, посуди сам, как я могу оставить без комментариев такую неприемлемую для меня точку зрения? Особенно сейчас, когда столько клеветы и грязи льется на нашу многострадальную Победу. У меня у самого был родственник — брат мужа моей родной тетки. Пошел добровольно служить сразу, как только немцы вошли в Калугу, в управу. После освобождения Калуги его поймали в Калужском бору и расстреляли. И правильно сделали. Не успел убежать, немцы сами его, иуду, бросили, как собаку. Но ни его братьев, ни его жену, ни его сына власть не тронула, не лишила ни жилья, ни продуктовых карточек, ни работы. Сын его окончил в Калуге десятилетку и поступил в институт, но, конечно, мы, уличные ребята, в свою компанию его не принимали. Частенько ты вообще пишешь размашисто: о том, что «кремлевские мудраки» «преступно бросили» население под власть немцев... Да пойми же, что мы были слабее объединенной фашистской Европы, потому и отступали до Москвы, пока не собрались с силами. Так можно назвать «кремлевскими мудраками» и Кутузова с Александром I, которые тоже «бросили» в 1812 году свой народ, свое население под власть Бонапарта с его мародерами, а в придачу ко всей европейской части России еще и Москву отдали... А причина все та же: они тоже на первом этапе войны были слабее объединенной Европы. Ты размашисто пишешь: «Ярко алели в лучах солнца, будто налитые кровью, складки знамени. На ум пришла мысль: «Почему большевики возлюбили цвет крови, возведя его в символ?»

Посылаю тебе флаги европейских стран, чтобы ты узнал: лишь в восьми из 54-х флагов стран Европы нет красного цвета, в нескольких странах флаги целиком красные, а в остальных — на красном фоне лишь символы (герб, полумесяц и т. д.) обозначены другим цветом.

Если хочешь, мой друг, утвердить что-то рискованное, надо все подробно изучить. Я хозяин своего слова. Могу напечатать твою повесть так, как ты написал. Но обязательно со своими комментариями вроде этого письма. Но стоит ли это делать? Подумай. Это будет расколом в патриотическом стане на радость врагам СССР и всяческим либералам. Поэтому — подумай, поработай еще над текстом, если, конечно, согласен со мной.

Твой Ст. Куняев».

* * *

«Родину свою надо любить с открытыми глазами», — изрек Чаадаев. А любить человечество — тоже? А если оно готово поработить, сожрать, схарчить и переварить в своем чреве твою Родину?

Если ты не будешь трезво понимать, что такое «человечество», — так оно и может случиться.

Францию во времена Александра Первого русские люди, даже самые умные — Чаадаев, Карамзин, Пушкин, — «любили с открытыми глазами». После

наполеоновского похода на Россию любви поубавилось, открытость в их глазах сменилась задумчивостью, а то и прямой неприязнью.

После маркиза де Кюстина любить просвещенных европейцев русские уже стеснялись. А после Крымской войны любить Францию и вообще Запад стало уже неприлично.

Оказалось, что за освобождение Европы от Наполеона европейцы нас больше любить не стали: более того, стали ненавидеть, что проницательно увидел Пушкин, когда написал в 1830 году в своей знаменитой отповеди европейским парламентариям:

Так присылайте к нам, витии,
своих озлобленных сынов,
им место есть в снегах России
среди нечуждых им гробов.

Кстати, синдром ненависти к России за освобождение Европы от Гитлера проявился у европейцев тоже, но, правда, с некоторым опозданием, через поколение... Надо было пройти нескольким десятилетиям, чтобы человечество подзабыло расистские зверства эпохи национал-социализма.

* * *

В Красноярске на совещании генералов бизнеса президент Медведев опять озвучил, как молитву «Отче наш», свою любимую мысль о том, что «частный бизнес эффективнее государственного» и добавил, отвечая на вопрос о том, не будет ли во время кризиса возврата к плановой экономике: «Мы наелись плановой экономикой за 70 лет». А в это время происходило крушение отечественных «приватизированных» авиакомпаний, пассажиры сидели в аэропортах от Сахалина до Кенигсберга сутками или даже неделями, поскольку поставщики авиационного керосина перестали его поставлять авиаперевозчикам, которые все поголовно задолжали им за топливо громадные суммы. Это было банкротство рыночной экономики, которой страна наелась за 15 лет до рвоты. А потом утонула «Булгария» и несколько лайнеров, изношенных до предела, купленных по дешевке у западных фирм, грохнулись на нашу грешную землю, сгорела набитая людьми пермская «Хромая лошадь». «Частный бизнес эффективнее государственного»... Да, если иметь в виду уничтожение людских ресурсов России, конечно, он эффективнее, нежели неповоротливый государственный.

* * *

Знаменитый поэт и лауреат Нобелевской премии в свое время писал о великой русской революции, которая «естественно вытекала из всего русского многотрудного и святого духовного прошлого» и «наполнила смыслом и содержанием текущее столетие». Написано Пастернаком в 1957 году (после XX съезда и лживого хрущевского доклада) к юбилею Октября.

Другой известный персонаж советской истории, архитектор перестройки А. Яковлев оценивал революцию как вечно присущую русской истории «парадигму насилия»: «Большевизму не уйти от ответственности перед народом за насильственный и незаконный переворот 1917 года».

По мнению таковых ренегатов, любое движение народных масс, сотрясающее кору земной истории, «незаконно». Они не понимают того, что революции совершаются не по законам, что революция ломает все законы, какая бы она ни была: социалистическая, религиозная, национал-социалистическая, «демократическая», чтобы на обломках прежнего законодательства установить свои законы.

У государства есть закон,
который гражданам знаком,
у антигосударства
не знает правил паства,

— писал Борис Слуцкий. И добавлял:

Но нет чернил у мятежа,
у бунта нет тетрадки.

«Архитектор перестройки», как и Борис Пастернак, тоже кумир либеральной интеллигенции. Как она поклоняется одновременно обоим — не понимаю. Тот же Яковлев проклинал Сталина, сталинщину и сталинизм. А Пастернак (поэт, а не политик и не историк!) писал о нашей победе 1945 года:

«Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников и простых бойцов и горестями, и мечтами, и мыслями»...

Господа либералы! Обоих персонажей истории — Пастернака и Яковлева — почитать одновременно невозможно! Шизофренией заболеете...

* * *

Мир и Россия переживают страшную эпоху разрушения национальных государств, растления и распада национальной сущности. Деньги разрушают национальное естество жизни.

Ярчайший пример — физическая культура. Во всех странах за деньги играют наемники — в футболе, баскетболе, волейболе... Вполне возможно, что ради олимпийских и прочих побед мы скоро начнем покупать пловцов, шахматистов, боксеров, теннисистов и т. д. Я уж и не говорю о спортивных тренерах.

В кино и в театре у нас появляются иностранные режиссеры, постановщики, танцовщицы, балеруны. Большой театр уже тронут этой порчей. Наука не отстает: в Сколково едут работать иностранные ученые. Не удивлюсь, если в правительстве скоро появятся иностранные высокооплачиваемые чиновники...

На наших самолетах скоро будут летать иностранные пилоты, на наших землях появляются иностранцы-фермеры. А что уж говорить о гастарбайтерах, о целых армиях дворников, парикмахеров, шоферов и прочих профессионалов, обслуживающих нашу бытовую жизнь.

Но, слава богу, есть одна заповедная территория, в которую немыслимо вторжение чужеземцев. Невозможно за деньги пригласить работать в Россию американского поэта, китайского прозаика, французского драматурга, польского историка. Невозможно на место главного редактора «Нашего современника» посадить «легионера» из другой страны.

Хотел я еще добавить, что кроме литературы такой же высочайшей привилегией обладает Русская Православная Церковь, но рука с пером остановилась и задумалась, ибо для Церкви «несть ни иудей, ни эллин», а значит, вера — выше национальной сущности, защита которой — дело нас, грешных, не забывающих о том, что «народы суть мысли Божии», как сказал некогда отец Сергий Булгаков.

* * *

В больнице, куда меня положили на операцию, я обнаружил в тумбочке возле своей кровати книгу воспоминаний знаменитого в свое время выпускника Кембриджского университета, ставшего потом британским разведчиком, — Кима Филби. Когда он, по идейным соображениям долгие годы сотрудничавший с советским КГБ, получил в нашей стране политическое убежище, то просто-

напросто влюбился в советскую жизнь с ее общественным строем, ее порядками, с ее природой и ее людьми.

Вот несколько отрывков из его книги «В разведке и в жизни».

«Мой дом здесь, и хотя здешняя жизнь имеет свои трудности, я не променяю этого дома ни на какой другой. Мне доставляет удовольствие резкая смена времен года и даже поиск дефицитных товаров»...

Одновременно английский интеллектуал предостерегает нас от увлечения западной культурой, которая сегодня заполнила нашу жизнь:

«Я тоскую по тем дням, когда в машинах не было приемников. Я в ужасе от того, что эта варварская музыка докатилась до Советского Союза»...

А как глубоки и точны были его пророчества, которые, к сожалению, сегодня осуществились в мире и у нас во всей своей красе:

«Одним из достоинств советской социальной системы является жизнь за наличные. Здесь нет кредита, но нет и постоянного залезания в долги. Одному Богу известно, что произойдет с западной экономикой, если вдруг потребуется уплатить все личные долги»... Как в воду глядел Ким Филби.

Англичанин до мозга костей, он понимал то, чего не могли, а скорее, не хотели понять все наши младореформаторы и что заставляет нас барахтаться в хаосе мирового кризиса, накрывшего страны и континенты.

* * *

Все три великих мировых войны начинались с провокаций, корни которых до сих пор остаются загадочными и глубоко скрытыми от непосвященных умов.

О начале Первой мировой возвестил сараевский выстрел сербского студента Гаврилы Принципа.

О начале Второй мировой — нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице немецких солдат, одетых в польскую форму.

Югославская часть Третьей мировой началась с кровавого уничтожения мусульман неизвестно чьими артиллерийскими залпами на рынке того же злополучного Сараево. Мировое сообщество преступницей этого злодеяния объявило Югославию. Когда же Югославское пламя Третьей мировой начало затухать, то, чтобы оно разгорелось, была совершена самая крупная провокация в истории человечества — сокрушение «Боингами» двух американских небоскребов Всемирного торгового центра. Дорога человеческой истории в бездну была проложена.

Все эти события — дело рук не народов, а мировых элит. Народы, как трава, которая всходит, цветет, увядает, перегнивает, давая пищу другим растениям. А элиты — это косари с косами.

Сергей Есенин знал эту тайну жизни:

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрав.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы.
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.

Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы, только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы...

* * *

В фильме «Полторы комнаты», посвященном жизни и творчеству Иосифа Бродского, есть сцена, в которой маленький мальчик Ося с жадностью рассматривает знаменитую кулинарную книгу сталинской эпохи «О вкусной и здоровой пище» и, глядя на соблазнительные картинки всяческих яств, роняет слюнки.

К Иосифу-мальчику подходит дядя с усами, похожий на Иосифа Сталина, и глумливо издеваясь над отроком, предлагает ему выбрать любое кушанье, а потом смеется над обманутым ребенком, говоря, что это все лишь нарисовано... Словом, авторы сценария саркастически издеваются над советской эпохой, которая, создавая такие вот книги, якобы глумилась над своим голодающим народом.

Однако моя ребяческая память запомнила, как улучшалась год от года материальная жизнь в конце 30-х годов, постепенно уходя от голодных послеколлективизационных лет к более сытым: 37-му, 38-му, 39-му годам... Я помню, как в 1940—1941 годах, перед самой войной, врачи маленькой больницы поселка Губаницы Кингисеппского района, где работала моя мать, собирались на разные праздники в деревянных казенных домах, стоявших на территории больницы. Не раз собирались и в маленькой двухкомнатной квартирке с отдельным входом, где жили мы с матерью и отцом. И стол был накрыт немудреной, но вкусной едой. Мне было тогда уже 7—8 лет, и я все помню хорошо. Именно в один из этих предвоенных годов я попробовал и белый хлеб, и кефир, и какое-то шипучее ситро. Память детская сохранила эти ощущения. Несомненно, что после всех ужасов коллективизации жизнь налаживалась. А именно тогда, в 1939 году, и вышло первое издание книги «О вкусной и здоровой пище»...

Создатели фильма о Бродском умолчали и о том, что отец Бродского был военным корреспондентом, бывшим вместе с нашими войсками на Востоке во время событий на озере Хасан и на Халхин-Голе... Он надолго задерживался на территории Северного Китая и, несомненно, выполнял какие-то важные задания, помимо своей журналистской работы, и привозил в Ленинград немало дорогих трофеев с этого театра военных действий... Что ни говори, не бедствовала эта семья в то время... А если уж говорить о кулинарных мифах сталинской эпохи, то не лучше ли вспомнить о том, как нынешнее TV с утра до вечера рекламирует всяческую изысканную пищу: морепродукты, роскошное мраморное мясо, дорогие сыры, пикантные соусы, заморские фрукты-овощи... Над всем этим царством изысканной еды на телеэкранах с утра до вечера колдуют повара в белых колпаках и халатах, профессионалы-диетологи, рядом с ними улыбаются и демонстрируют свои кулинарные способности всяческие известные актеры и актрисы, даже Хворостовский при помощи своего всемирно знаменитого баритона «впаривает» с экрана телезрителям какие-то чудесные конфеты...

И на все это разноцветное, шипящее, сверкающее, соблазняющее царство экранного чревоугодия глядят десятки миллионов пенсионеров, которым хватает только на картошку, хлеб и молоко, глядят многодетные семьи, ютящиеся в трухлявых домах, глядят спившиеся безработные со всех окраин великой страны... И все они роняют слюни, глядя на сказочные картины кулинарного рая рублевской эпохи... И проклинают нынешнюю жизнь, нынешнюю власть, нынешнее ее глумление над живущим впроголодь народом такими проклятьями, которых не слышал мальчик Ося Бродский со своими фальшивыми слюнями над сосисками сталинской эпохи. Да Сталин и сам никогда не ел таких яств, которыми сегодня соблазняют нас с TV глумливые повара демократической кухни.

* * *

Сколько крика стояло в соловьевской передаче «Поединок», когда грудь на грудь сошлись Владимир Жириновский и кинорежиссер Александр Бортко. Жириновский постоянно впадал в картинную истерику, визжал, ругался,

оскорблял соперника, брызгая слюной. Всем своим поведением он напоминал мне персонажей с калужского базара послевоенных лет, на котором наперсточники, картежные шулера, изготовители денежных кукол, игроки в веревочку и прочие мошенники, будучи пойманными за руку, впадали в раж, разыгрывали из себя контуженных душевнобольных, проливавших на фронте кровь мешками, не отвечающих от пережитых страданий за свои поступки. Базарных актеров такого рода здравомыслящие граждане называли «псих со справкой»...

— Где вы были, коммунисты, в августе 1991 года! — кричал Жириновский в лицо Бортко. — За три дня ваша хваленая власть развалилась! Никто из миллионов коммунистов не вышел на улицу защищать ее! — И каждый раз, выкрикнув очередное обвинение, победно взмахивал руками, сверкал очами и чуть ли не рвал дорогую рубаху на груди.

Бортко взывал к Соловьеву, чтобы тот унял юродствующего политика, но Соловьев хохотал, картинно вздымая очи горе, мол, «не могу!» — нету сил унять Владимира Вольфовича. Присутствовавшая на поединке публика, у которой, видимо, от крика поехала крыша, совершенно обалдев, аплодировала и тому, и другому...

А, между прочим, несмотря на истерическое шутовство Жириновского, Бортко мог бы достойно и убедительно дать ответ на этот непростой вопрос, хотя бы тогда, когда либерально-демократический актер противопоставил устойчивость и крепость монархического российского общества слабости общества советского, и вспомнить одну закономерность российской жизни, существовавшую во все времена русской истории...

В. Розанов в книге «Апокалипсис нашего времени» писал о Февральской революции:

«Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. <...> не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска...»

Владимир Вольфович, Вы злорадствуете, что «70-летняя советская власть» разрушилась и никто не встал на ее защиту», но объясните тогда, почему с 300-летней крепкой, якобы процветающей, не пережившей никаких «сталинских репрессий», никакого «расказачивания», никакого «раскулачивания» монархической Русью произошло то же самое? Никакие миллионы не вышли на улицы и площади, не защитили великую династию, не сбросили в Неву и Москва-реку презренных масонов, образовавших сразу же после отречения императора Временное правительство? Почему никакой народ через девять месяцев, сразу же после взятия Зимнего дворца большевиками, на другой день не заполнил, как Нева, Дворцовую площадь и не выкинул из Зимнего большевиков, «кучку заговорщиков», и не отстоял свое Временное правительство, которое, судя по словам Жириновского, почему-то было легитимным?

Почему в 1927 году, когда Иосиф Сталин, в сущности, совершил государственно-партийный переворот, отстранив не менее популярного, нежели он сам, «вождя революции» Льва Троцкого от всех рычагов власти, никто из громадного числа поклонников легендарного палача и трибуна не вышел на площади и улицы столицы? Лишь в Ленинграде троцкисты организовали какую-то жалкую демонстрацию, которая тут же была разогнана рабочими и энкавэдэшниками. После этого судьба Льва Революции была решена: его вместе с ближайшими родственниками и обслугой насильно усадили в поезд и отправили в Алматы. И никто из фанатиков мировой революции, а их в 1927 году было в партии еще предостаточно, не лег на рельсы!

А когда после XX съезда КПСС и освобождения из ГУЛага множества политических заключенных Никита Хрущев приобрел в слоях интеллигенции (да и в народе) недолгую, но естественную популярность, и партийная верхушка осенью 1964 года в течение одного дня лишила его власти, превратив из хозяина

страны в бессильного пенсионера, почему миллионы его сторонников не вышли на улицы и не вернули на Старую площадь своего кумира?

Да потому, что политическая суть российской истории, все государственные перевороты, все революции, все катаклизмы завязаны на то, что убирается одна-единственная харизматическая личность — Николай II, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, — и столичная пассионарная часть общества, потеряв лидера, не знает, за кем и по чьему приказу, и с какими лозунгами выходить на улицу, а вся остальная масса населения, размазанная тонким слоем по великому пространству от Балтики до Владивостока, остается недееспособной. А если еще вождь оказывается предателем, как это случилось с Горбачевым, то растерянность и непонимание происходящего становятся фатальными и приводят общество к полному параличу...

Правда, в 1991 году исторической особенностью эпохи стал мартовский референдум, на котором более 70 процентов голосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

Это и было своеобразным «выходом» масс, поверивших в демократию, на улицу! Именно в этой единственно возможной форме была в те дни явлена воля народа... Так что Жириновский лжет, говоря, что коммунисты и народ не вышли на улицу. Вышли. Но, к сожалению, без оружия, а всего лишь с бумажными бюллетенчиками в руках.

* * *

В последнее время все чаще и чаще мы читаем в газетах и слышим с телеэкранов назойливое повторение одной и той же мысли: «у преступника нет национальности». Формулировка изобретена якобы для того, чтобы не обижать племена, народы и этносы, к которым принадлежит преступник, и является венцом толерантного отношения ко всем опасным вопросам современного бытия. Каковы последствия этой якобы уже истины?

Преступник — это человек, которого надо допросить. Значит, надо выяснить, на каком языке он говорит, то есть узнать, кто он по национальности. Уже юридический тупик. Но если он не говорит по-русски, нужно найти переводчика, при помощи которого провести допрос и следствие. Аксиома трещит по швам, поскольку национальность — важнейшая особенность человека. Не меньшая, чем пол. Но, подчиняясь диктату толерантности, мы не должны разделять людей по половому признаку. Разузнавать, какого пола преступник, означает лезть в его личную жизнь, унижать его допросами, процедурами осмотра и т. д. А если он гермафродит, неизвестно, какой половой ориентации — мужской или женской, — или гомосексуалист, или — еще хуже того — трансвестит? Нельзя бестактными действиями во время следствия покушаться на собственное достоинство человеческой личности. Опасно также выяснять и его имя... Если он, допустим, Махмуд или Керим, то уже можно предположить, из какого он этноса... Однако если у него нет национальности, то у него, тем более, не может быть и расы... Выяснять, к какой расе принадлежит преступник, — это расизм высшей пробы! За это в цивилизованных государствах, где слова «еврей», «негр» или «черный» вне закона, можно получить срок. Более того, следствию придется закрывать глаза на все особенности преступника, которые связывают его не только с расой, но и с верой! Ежели, допустим, выколотят следователи из подозреваемого признание, что он мусульманин, отсюда рукой подать до того, какой он национальности. И фотографировать преступника нельзя ни в анфас, ни в профиль, иначе по разрезу глаз, по цвету волос и т. д. можно многое предположить: кто он — китаец, индус или еврей. И цветных фотографий нельзя делать, потому что белый, желтый или черный цвет кожи красноречиво укажет на расовую принадлежность несчастного... Уничтожить десять миллионов краснокожих в Северной и Центральной Америке было можно, но назвать сейчас какого-нибудь

«последнего могиканина» «краснокожим» — это преступление. Нельзя говорить об «испанских» экстремистах или «исламских» фундаменталистах — отсюда один лишь шаг до выяснения национальности. Некорректно употреблять словосочетание «чисто английское убийство» или «немецко-фашистские» захватчики. Преступники в современном мире не должны иметь ничего — ни расы, ни веры, ни национальности, ни имени, ни рожи, ни кожи, — потому что все эти особенности делают их людьми. А люди современному молоху глобализации не нужны. С них достаточно лишь инэнэшного номера. Чудовище глобализма сначала разрушает традиционные человеческие сообщества — национальные государства и народы, — атомизирует общества, лишая человека способности защищаться при помощи всех особенностей, которые выработали за всю свою историю его племя, его народ, его этнос, его раса. А когда он остается без этой помощи один, то его, беззащитного, обдирают, как липку, и от плоти и души остается лишь номер... С точки зрения мирового правительства глобализаторов, человек традиционного общества, имеющий все средства защиты, — преступник, в будущем глобальном концлагере у него останется лишь одна «личная» примета — его номер... Это и есть «расчеловечивание»...

* * *

27 ноября 2012 года газета «Московский комсомолец» отметила на последней своей полосе в правом нижнем углу в рубрике «Дни рождения» нескольких юбиляров: футболиста Александра Кержакова, детского писателя Григория Остера и некоего, как они пишут, «рок-классика» Джими Хендрикса. Попала в этот изысканный список и моя скромная фамилия в следующем контексте:

«Станислав Куняев, 1932 г., поэт, публицист, экс-главный редактор журнала «Наш современник».

Я прочитал и расхохотался: до сих пор после своего восьмидесятилетия сижу в кресле главного редактора, уходить на пенсию не собираюсь, поскольку нахожусь еще в здравом уме и в твердой памяти. С чего бы «Московскому комсомольцу» отправлять меня в отставку? Однако вскоре я сообразил, что это мелкая месть мне за то, что я в числе многих писателей России поставил свою фамилию под письмом на имя Путина, опубликованным в ноябрьском номере журнала «Наш современник» за 2012 год. Письмо было о судьбе писательского городка Переделкино, и в нем стоял абзац, касающийся газеты «Московский комсомолец» и ее главного редактора, печатавших чуть ли не в каждом номере телефоны всяческих «негритянок», «мулаток», «татарочек», «студенток» и прочих специалисток по сексуальным услугам. Абзац этот, в котором «Московский комсомолец» был назван «московским сутенером», выглядел так: «Интересно, а не на средства ли от публикации такого рода объявлений главный редактор «МК» Павел Гусев живет в самой дорогой стране Европы — в Швейцарии? И платит ли он налоги с этих доходов? И не перевернулся ли в гробу или в урне, замурованной в Кремлевской стене, ленинский соратник Яков Давидович Гусев-Драбкин, узнав, что его якобы потомок занимается столь сверхприбыльным бизнесом, близким к сфере сексуальных услуг? «О времена! О нравы!» — как сказали бы древние римляне».

Как низко пала желтая газетенка, борзописцы которой не нашли ничего лучшего, как поставить перед моей должностью крошечную приставочку «экс»! В прежние времена, споря со мной по всяким судьбоносным вопросам — о деле Бейлиса, о Холокосте, об истреблении русской национальной школы историков в 20—30-е годы, о «расказачивании» России, — Павел Гусев «спускал» на меня породистых овчарок желтой прессы... А какие, помнится, роскошные заголовки были у этих материалов: «Кровавый навет», «Пятый пункт», «От них бы пощады ждать не пришлось» и т. д. А сейчас газетка скатилась до убогого дешевого остроумия: «экс-главный редактор!..»

* * *

Посмотрел по телеящику фильм «Белый тигр», поставленный Кареном Шахназаровым, о поединке советского танкиста Петрова, почти сгоревшего в танке, но каким-то мистическим чудом выжившего для того, чтобы объявить охоту на таинственный немецкий танк «Белый тигр», которая может закончиться лишь окончательной гибелью одной из сторон.

«Белый тигр» неуловим. На него организуются облавы из целых танковых частей, но он появляется на поле боя всегда неожиданно и всегда с самой неуязвимой для себя стороны, расстреливает советские «тридцатьчетверки» и уходит, как невидимка, чтобы появиться там, где его не ждут.

В последней дуэли один на один Петров выследил-таки врага, выстрелил первым и подбил башню «Белого тигра». Казалось бы, конец, башня заклинена, но тут орудие «тридцатьчетверки» разрывается от последнего залпа, и подбитый зверь войны уползает в туман. Фильм заканчивается клятвой нашего танкиста в том, что окончательная победа над мировым злом будет одержана после того, как будет сожжен этот бессмертный символ зла.

Однако в нескольких последних кадрах из тьмы выплывает фигура человека с челкой на лбу, в профиль похожего на Адольфа Гитлера, с печалью произносящего в пространство монолог о том, что он должен был выиграть эту войну: «Мы нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа... Разве мы не осуществили мечту каждого европейского обывателя... Они всегда не любили евреев...

Всю свою жизнь они боялись этой страны на востоке... этого кентавра... России. Разве мы придумали что-то новое?.. Мы просто внесли ясность в то, где все хотели ясности...

Теперь же немецкий народ сделают виновником всего...»

Так почему же он проиграл эту схватку с «азиатско-русскими варварами», на которую получил благословение цивилизованной и объединенной его волей Европы?.. Вскоре после просмотра этого фильма я раскрыл книгу Василия Белова «Час шестый», врученную мне к моему семидесятилетию с дарственной надписью: «Дорогие Галя и Стасик! Я вроде бы дарил вам этот «кирпич». История его (такого издания) — почти детективная история. Если будете читать, это заметите. Ах, не зря говорится, что кого Господь решит наказать, того Он лишит памяти... Только читать надо внимательно. Может, у вас уже имеется эта книга? Пусть будет и эта в честь твоего, Стасик, юбилея! До свидания. Белов 15 июля 2003 г.»

Я взял толстенный том (950 страниц!) в руки, и он вдруг раскрылся на титульной странице второй части, озаглавленной «Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов». На обороте титульной страницы в ее центре стояла колонка текста, прочитав который я понял, почему Белов попросил меня «читать внимательно» и почему он написал уже для всех нас о том, что «кого Господь решит наказать, того Он лишает памяти»...

В центре страницы была цитата из Энгельса, чей профиль навсегда впечатался в мою память с детских лет, когда на первомайских послевоенных демонстрациях он был впаян на знаменах в один ряд с Марксом, Лениным и Сталиным. Немец, еврей, грузин и Ленин, — «четверо евангелистов», написавших, по убеждению Белова, теорию революции и практику коллективизации. Текст Энгельса, выделенный Беловым в центр страницы, гласил:

«Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.

Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом».

«...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор.

Фр. Энгельс».

Страшные слова и мысли, которые почти буквально и не раз повторил Адольф Гитлер на страницах зловещей книги «Майн кампф»...

Борьба белой цивилизованной Европы со славянством, с азиатством, с восточным варварством, с «реакционными народами» и «мелкими тупоголовыми национальностями». Вот какова была программа Европы и при Наполеоне, и при Меттернихе, и при Бисмарке, и при Энгельсе, и при Гитлере... Недаром Вадим Кожинов писал о том, что Восточная Европа, в сущности, является «кладбищем» многих славянских этносов, перемолотых немецко-тевтонской силой.

Так чем же взгляды марксиста Энгельса отличаются от взглядов национал-социалиста Адольфа Шикельгрубера или Иозефа Геббельса, называвших всех без исключения славян «варварами», «татарами», «азиатами»? Означает ли это, что германский менталитет сильнее мировоззренческих, идеологических, политических, партийных и даже религиозных разногласий? Неужели знаменитые слова Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается» мы поняли неправильно, решив, что сущность «Дранг нах Остен» заключается в гитлерах, а на самом деле она заключается и в энгельсах и, может быть, в самой генетике, страшно сказать, немецкого народа?

Как бы там ни было, но Белов создавал свою последнюю книгу о трагедии русского крестьянства, думая об этом. И перекличка его мыслей с монологом Гитлера из фильма «Белый тигр» — не случайное совпадение...

То, что проницательный историк Иосиф Сталин догадывался об этой извечной европейско-германской мечте, изложено в воспоминаниях югославского политика Милована Джиласа, который встречался со Сталиным незадолго до окончания Второй мировой войны: «Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

— Если славяне будут объединены и солидарны, никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет! — повторил он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение последующих пятидесяти лет, но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией, лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины — никто пальцем не шевельнет».

Пророческие слова, но нет пророка в своем Отечестве... И памятник Фридриху Энгельсу гордо высится напротив храма Христа Спасителя.

* * *

27 ноября 2002 года, в день, когда мне исполнилось 70 лет, я затемно проснулся, быстро оделся и открыл входную дверь. Но за спиной раздался голос жены:

— Ты куда?

— Я за газетами. Надо посмотреть, что они пишут о моем юбилее. Прочитаешь и, наконец, поймешь, с кем живешь всю жизнь, — пошутил я и побежал вниз по лестнице.

На улице сеял мелкий снег. Было холодно и сыро. Но дышалось легко. В рассветной полутьме возле газетного киоска толпилась очередь. Подойдя к окошку, я спросил газету «Завтра», в которой должна была выйти беседа со мной. В ярко освещенном кубе киоска, как рыбы в аквариуме, плавали две киоскерши. Одна из них деловито и холодно ответила мне:

— Этой националистической газетой мы не торгуем.

— Тогда дайте «Советскую Россию»!

Но ответ был неутешительный:

— Коммунистической прессы у нас нет!

Я схватился, как за соломинку, за «Комсомолку», вспомнив, что в ней должны быть опубликованы мои стихи:

— Было четыре экземпляра — все продали!

Спиной я почувствовал, что очередь людей, жаждущих схватить в киоске какое-нибудь чтиво и нырнуть в метро, начинает ненавидеть меня, и в отчаянье прокричал киоскершам:

— Ну, дайте хоть «Литературку» или «Труд»! — в них, как мне помнилось, что-то должно было появиться о моем юбилее.

— Нет ни того, ни другого! — последовал ответ не на шутку разгневанной киоскерши. Я взбеленился:

— А что же у вас есть?!

— Только «Московский комсомолец»!

— Ах, вы только желтой прессой торгуете? Да взорвать бы ваш киоск!

И это было роковой ошибкой с моей стороны, поскольку на днях в Москве прогремел взрыв в одном из подземных переходов. Обе киоскерши — крепкие, розовощекие, наглые — в ярости высунули свои мордочки в окошко:

— Отойди от киоска, старый козел!

...Униженный и оскорбленный, я повернулся спиной к этим ведьмам и побрел домой без единой газетки. Ноги мои вдруг потеряли упругость и стали шаркать по мокрому асфальту.

— Ну, где твоя хваленая пресса? — спросила меня жена. Я развел руками и рассказал ей про свое унижение.

— Не огорчайся! — утешила меня Галя. — Сейчас приедешь на работу, тебя сотрудники поздравят, цветы преподнесут, ты сразу и помолодеешь!

Позавтракав, я вновь пошел к метро, спустился в его чрево, пройдя мимо мерзкого киоска, дошел до турникета и стал искать в карманах «Карточку москвича», дающую право на бесплатный проезд, но быстро понял, что забыл ее дома. Женщина в форме, стоявшая возле турникета, естественно, преградила мне дорогу:

— Дорогая! Пропусти, ради бога! Карточку я забыл, а подниматься по лестнице за билетом неохота! — но женщина в форме была сурова не менее, чем киоскерши:

— Не теряйте времени на разговоры, подымитесь и купите билет!

Я взмолился:

— У меня сегодня день рожденья, мне семьдесят лет исполнилось, вот, поглядите мой паспорт!

Я протянул блюстительнице порядка свою «краснокожую паспортину», но она оскорбленно отстранила мою дрожащую руку и холодным казенным голосом отчеканила:

— Не издевайтесь надо мною, молодой человек!

Вот так вот в течение получаса мне удалось побывать и «старым козлом», и «молодым человеком».

* * *

В августе 2013 года во многих телевизионных передачах появились сюжеты, посвященные 80-летию со дня завершения в 1933 году строительства Беломоро-Балтийского канала, сделавшего Москву портом пяти морей: Балтийского, Белого, Черного, Каспийского и Азовского.

Конечно, это была одна из самых великих строек первой пятилетки, конечно, канал, который работает и до сего времени, помог стране осуществить индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, связать воедино хозяйственную жизнь европейской части Советского Союза. Но об этом ни в одной из телевизионных передач не было сказано ни слова. А говорилось об

одном: что Беломорканал был плодом подневольного концлагерного труда, что погибло во время этой стройки социализма неимоверное число заключенных, что воды его затопили такое-то количество городов, деревень и поселков. Все это действительно имело место быть. Но когда дикторы TV и картинки с телеэкранов стали доказывать, что в преступном строительстве канала силами зэка главными историческими фигурами являлись Сталин и Горький, я подумал, что в который раз история человечества разыгрывает сцену из древнееврейской жизни, когда все преступления истинных грешников возлагаются на двух козлов отпущения, из коих один приносится в жертву грозному богу Яхве, а другой, обремененный всем грузом грехов, изгоняется в пустыню, дабы настоящие преступники могли облегченно вздохнуть и сказать всему миру, что их совесть чиста и они ни в чем не виноваты. В своем эпохальном труде «Двести лет вместе» Александр Солженицын, вспоминая о том, что 5 августа 1933 года в газете «Известия» был опубликован указ о награждении в связи с завершением строительства Беломорканала высших руководителей стройки — Г. Ягоды, М. Бермана, С. Фирина, Л. Когана, Я. Рапопорта и Н. Френкеля — орденами Ленина, пишет: «Все их портреты крупно повторены были в торжественно-позорной книге «Беломорканал», формата как церковное Евангелие <...> И вот 40 лет спустя я повторил эти шесть портретов негодяев в «Архипелаге» — с их же выставки взял, и не выборочно, а всех управителей, кто был помещен. Боже, какой всемирный гнев поднялся: как я смел?! Это антисемитизм! Я — клейменный и пропащий антисемит. В лучшем случае, приводить эти портреты был «национальный эгоизм» — то есть русский эгоизм! И поворачивается язык, когда на соседних страницах «Архипелага»: как позорно замерзали «кулацкие» пареньки под тачками. А где же были их глаза в 1933-м, когда это впервые печаталось?»

Если бы Солженицын дожил до августа 2013 года, увидел и услышал бы, что во всей истории Беломорканала виноваты лишь два «козла отпущения» — Сталин и Горький, — то не знаю, как со Сталиным, именем которого канал был назван, но за Алексея Максимовича Горького он бы точно заступился, поскольку знал, что «торжественно-позорную» книгу о строительстве Беломорканала, в которой были представлены шестеро «негодяев» высших руководителей ОГПУ и ГУЛага с еврейскими фамилиями, писали 34 советских писателя, из которых лишь 12 были русскими, а остальные 22 — из того же племени, что и Генрих Ягода со своими подручными. Так что не получилось у сегодняшних мошенников из разных СМИ все грехи великой стройки списать на двух «козлов отпущения» — на Сталина и Горького. «Козлов» этих было куда больше. И фамилии их навсегда запечатлены и в истории, и в памяти народной...



*Искусство суждения*

ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

# *Эстетика золотого слова*

И вновь — о поэзии. О той форме познания жизни, за которой люди издавна признали особое самодовлеющее значение, отчетливо выделяющее ее на фоне всех других форм, с ней соприкасающихся. Внешней и внутренней пластикой она вроде бы тяготеет к изобразительному искусству, звукописью — к музыке, афористичностью — к философии, а духовным компонентом воспаряет к небу.

А теперь, чтобы превознести поэзию над всеми видами смежных искусств, я процитирую слова Оскара Уайльда, в свою очередь приведенные в статье Николая Гумилева «Жизнь стиха»: «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, не только краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах венецианцев и испанцев; не только пластические формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, — у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность. Все это есть у одних слов».

Да, вот такой вроде бы эфемерный материал, слово, сотворенное с помощью выдоха человека, и слово, подчиненное росчерку его авторучки, — основной материал, из которого поэт строит свои воздушные романтические замки, влекущие читателя в свои залы и прихожие, кельи и потайные комнаты.

Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана.
В полночный час на мировом погосте
Звучат лишь письмена.

Вспомнился мне по тому поводу Иван Бунин.

О высокой цене слова, о его значимости для людей, о своем неизбывном стремлении стать мастером слова, насущного, как вода, воздух и хлеб, не может не думать всякий, кто берется ныне за перо, кто отваживается вступить на изменчивую поэтическую стезю. Задумывается об этом и автор сборника «Эстэтыка маўчання» Алесь Дубровский-Сороченков:

Ты варушыш паглядам вершаванае смецце,
пазяхаючы рыфмам услед:
«Што сказаць можа ў гэтым пракураным свеце
старамодны і смешны паэт?»

На вышынях якіх тое Слова ён знойдзе.
з гор якіх сюды прынясе,
дзе спацелае, згвалчанае стагоддзе
лахманамі слоўцаў трасе?
Слова ёсць і кагосьці аглушыць дазвання...
І, як рытар, узнімаю руку:
«Асуджальна-прарочае слова маўчання
хай гучыць у маім радку!»

Да, мы живем во времена девальвации Слова, затрепанного людьми в обиходе и телепередачах, в легком чтиве и газетах, но находящего путь к сердцам людей в молитвах и книгах, духовно возвышающих человека. И поэт, не находящий отклика своим рожденным в тишине творчества словам, решается на крайность — на слово молчания.

Но как понять этот оборот «слово молчания»? Какое слово равнозначно молчанию? Любое, которое поэт таит в своем сердце от читателя? Но странно даже представить такого поэта, который не хочет делиться с читателем самым сокровенным.

И это слово — не просто глубоко затаенное, но еще и пророческое, явно обреченное на непонимание и неприятие обывателями, всегда побивавшими своих пророков камнями, в древности самыми натуральными, а ныне, во времена демократической вседозволенности, другого рода средствами, более цивилизованными, но не менее беспощадными.

«Слово есть!» — утверждает поэт, стало быть, он им владеет. Но, перевернув несколько страниц, натыкаешься на совершенно противоположное заявление:

Я зноў у пошуках таго
адзінага са слоў сусвету —
як быццам ёсць яшчэ ў паэта
надзея адшукаць яго...

Этого противоречия самому себе автор не заметил. Но, думается мне, это не беда. Главное, что он в поиске этого магического Слова, которое открывает сердца людей и вселяет в них надежду, которым можно изменить людей, сделать их более близкими друг другу и ответственными.

Первый раздел своей книги автор назвал весьма многозначительно: «Природа тишины». И этот лейтмотив тишины проходит почти через все стихи, как условие рождения магического Слова молчания. Безмолвной молитвы.

Цішынёй сагрэты час
Аддае даніну стоме.
Мы чужыя ў гэтым доме,
Гэты вечар не для нас.

Поиски этого трепетного, сокровенного Слова приводят Алеся к словам высшего откровения, к вере в Бога, который в Евангелии назван Богом-Словом:

Цяжка пісаць і не ведаць,
ці знойдзецца нехта з вачыма
ў гэтым сусвеце сляпых.
Дайце душы маёй крыку
і больш не пытайце прычыны.
Што вам з прычын маіх?

Веру. І гэты давер
да спрадвечнага Госпада-Слова
цвік мой, і крыж мой, і трон.
Так, sola fide[1], магчыма спасцігну будову
багны й нябесаў закон.

Стихи третьего раздела «Гефсіманскае галле» раскрывают в полноте самую существенную сторону личности поэта: его глубокую уверенность в Божьей истине, укорененность в вере, помогающей преодолевать жизненные неурядицы и свои внутренние душевные проблемы.

---

[1] Sola fide — только верой (лат.), прим. автора.

Спыні мяне, о Госпадзе, спыні.
Аклікні. Праз вар'яцтва маіх будняў
руку мне працягні і ахіні:
мне холадна ў касмічнай гэтай студні.

Мне холадна, мне брыдка, гэты свет
вадою лужын мне запырскаў вочы.
Два словы ў сэрцы: «суета сует».
Суцеш мне сэрца, любы Ава, Ойча!

Але скажу: ёсць зло за ўсё цяжэй,
цяжэй за свет, за бруд жыцця зямнога.
Прашу: ратуй — не, не ад рук людзей —
збаў мяне, Божа, ад мяне самога.

Этот раздел, инспирированный вдумчивым чтением Библии, несомненно интересен как для читателя-христианина, так и для человека, который еще не решается переступить порог храма. Каждое стихотворение из двадцати четырех — это своеобразная молитва (псалом) автора к Богу в форме стихотворения. Есть переложения из Псалтыри и Экклезиаста. Каждое стихотворение не может оставить равнодушным человека верующего. В каждом — призывание Господа, зачастую жаркое и слезное, из самых глубин души поэта. Процитирую только несколько первых строф:

...Дзень прайшоў, яшчэ адзін з безлічы
і спыніўся — ля Тваіх ног.
Ты мой Бог. Ува ўсёй Сваёй велічы
Ты мой Бог.

Як мне пачуць Цябе — Твой голас ціхі,
калі мой дух у сумятні засмяг
і розум бы ў пакутах парадзіхі,
крычыць, адчуўшы ўвесь абсурду жах?

Ціха шэпча вятрыска.
стук дажджу па акне...
Ты далёка ці блізка?
Ці Ты чуеш мяне?

Ты далёка ці блізка,
Божа мой, Божа мой?
Ты высока ці нізка?
Я хачу быць з Табой.

Самое ценное в молитве — это личное общение с Господом на предельном доверии к нему, и Алесь, думается, не только в стихах, старается достичь этой беседы с глазу на глаз:

На паліцы — старых паперчын
цэлы стос.
Я даўно не пісаў Табе вершаў,
мой Хрыстос!

Я даўно не маліўся ў рыфму —
выбачай!
Сёння даўніх пасеваў — ліўма! —
ураджай.

Сёння буду псалмы спяваць я
да святла.
Пройдзе ноч, і заўважу наўрад ці,
што прайшла.

Раздел «Гефсіманскае галле» подводит читателя вплотную к поэме, названной автором, возможно, излишне претенциозно «Новае неба». И, конечно же, Алесь и не скрывает, какие строки из Евангелия и какое известное произведение послужило отправной точкой для его замысла. Он цитирует в эпиграфе одиннадцать строк из поэмы Якуба Коласа «Новая земля» и отрывок из Откровения Иоанна Богослова:

«...И увидел я новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля миновали...»

И, конечно, по аналогии с энциклопедией народной жизни, которой является коласовская «Новая земля», ожидаешь увидеть в поэме Алеся Дубровского-Сороченкова нечто подобное. Однако это не так. В поэме есть лирический герой, но нет внятного сюжета. Герой поэмы — это альтерэго автора, а вместо сюжета — его страстные монологи, в которых запечатлена напряженная внутренняя жизнь автора, имеющая восхождение к Богу. По сути, перед нами не поэма, а цикл стихов, объединенных одной темой.

Мой родны кут... А ці табе я родны?
І кім патрэбна быць, каб прынялі,
нібы свайго, як роднага, сярод тых,
хто над сабой не чуе неба подых
і пад сабой не чуе крык зямлі?

Проходящий через всю поэму образ дороги к храму и Богу остался по сути заявленным, но не раскрытым на конкретном жизненном материале. А сами по себе стихи-то неплохие и даже хорошие, как и эти строки:

Лепшы спеў — гэта спеў маўчання.
Гэта праўда святая, хаця
растварыўшыся ў сузіранні,
станеш атамам небыцця.

...Ты яшчэ спадзяешся аднойчы
адшукаць невядома дзе
храм такі, дзе спакойна ў вочы
можна існасці паглядзець.

І ў бясконцым гэтым шуканні
табе моц надаюць ізноў
залатая малітва маўчання
і малітва срэбраных слоў.

Вот мы снова встретились с проповедуемым автором Словом молчания, но теперь уже включенным в молитву. И народная мудрость, что слово — серебро, а молчание — золото, столь довлеющая над автором, получает в его книге постепенное и убедительное развитие, которое придает цельность и всей книге и отвечает ее мудреному названию «Эстетика молчания».

Я думаю, что с таким пониманием молчания согласились бы все отшельники, все христианские святые, уходившие в затвор от людей на многие годы, чтобы выпестовать свою душу для принятия Бога. Однако существуют в нашем мире еще и такие люди, которые в корне несогласны с народной и монашеской мудростью. И за такими людьми не надо далеко ходить или ездить. Они тоже пишут стихи и выпускают книги.

Хто сказаў «маўчанне»?
Сапраўднае золата — слова.
Вось я і раблюся ашчаднай.

Эти полемические строки принадлежат перу Оксаны Данильчик, выпустившей в 2011 году книгу стихов «Сон, які немагчыма забараніць». И ее книга про-

сто переполнена этим золотом бесконечного называния своих чувств, мыслей, ситуаций, красок родных и заморских пейзажей. Поэт не стыдится ни звучности, ни шепота, ни яркости, ни приглушенности родного языка, ни самоценности его слов, порой сверкащих драгоценным блеском, а порой тихими скромными красками окружающей природы.

Здаецца, не знойдзеш нічога, акрамя цішыні.
Здаецца, нават апошнія згадкі
заглушыла бадылле.
але раптам на экране ноўтбука
праступае выява акна,
а за ёй — святлацені яблыневага саду.
Вецер, ліпеньскі вецер і белыя матылі.
Адлюстраванне.
Праз святлацені яблыневага саду
адлюстроўваецца неба...

О том, что слово, мудрое, сказанное к месту и ко времени, важнее любого многозначного молчания, свидетельствует и наша общеславянская литература.

«Тогда великий Святослав изрони злато слово со слезами смешано...». Помните это место из «Слова о полку Игореве», которое созвучно с убеждением Оксаны Данильчик, утверждающей, что «настоящее золото — это Слово (назовем его в отличие от автора с большой буквы). Разумеется, не всякое слово — золото, а только то, которое согрето любовью и желанием помочь, надеждой и болью за человека.

О чем было то золотое слово князя Святослава? Если вы помните, оно было проникнуто печалью по поводу неудачного похода на половцев войска его братьев, князей Игоря и Всеволода, болью за разобщенность князей и за судьбу русской земли. Это было отеческое слово патриота, уязвленного поражением в самое сердце.

Но обеспечена ли поэзия Оксаны Данильчик этим золотым содержанием Слова? Возьмем стихотворение наугад:

Ты пройдзеш муры гарадскія,
свабодная мара мая,
і там, дзе вятры гаманкія,
сустрэнеш усмешку Ікара,
ты знойдзеш найлепшыя словы —
і песня, пакуль нічыя,
напоўніцца небам вясновым,
свабодным ад змрокаў і хмараў.

І гэтая песня згадае
пра сон над далекай ракой,
які прылятае, бязважкі,
пад дрэваў аліўкавых цені,
пра тое, што кожнаму цяжка
падняцца ў празрысты спакой,
а неба ізноў заклікае
прайсці праз мяжу прыцягнення.

Пра тое, што рукі не крылы,
а свет не пазбаўлены зла,
і нават у самых упартых
заўсёды сумненні знікаюць,
пра тое, як цела спаліла
нясцерпная прага святла
І як па-над здзіўленай вартай
душа вольнай птушкай лунае.

Свободная мечта поэта стремится найти лучшие слова для своей безоблачной песни, которая призывает слышащих ее преодолеть притяжение земли...

Но что это я? Ведь истинная поэзия не требует и не терпит объяснений. Главное, что стоит понять: «лучшие слова» — это синоним золотых. Главное — это установка поэта на слова, которые лучше самого глубокого сокровенного молчания.

Не скажу, что эти ценные слова как-то специально выделены в сложных словесных кружевах и в стихотворных орнаментах поэта. Но к ним, в глубину содержания, равноценного самой жизни, ведет читателя то напряженная в ритме, то раскованная авторская мысль:

Неба і вецер, аблокі на сонечных шалях,
Водар шчымлівы з амаль што забытых часоў,
Як разам з травамі мы між палеў падрасталі,
Як адпускалі мужчынаў, што нас не кахалі,
Плакалі, рэзалі рукі і нараджаліся зноў.

Як гэта сталася так, што вяртаюцца жахі начныя,
Ці гэта ўзрост, ці такой неадольнаю стала сцяна...
Светлыя сны аб нястворанай намі краіне...
Мы жылі спадзяваннем, што прыйдуць другія,
І пасля зразумелі — другія не прыйдуць без нас.

«Мама, а ў якой краіне ты хочаш жыць?»
«Ну, мабыць, у свабоднай і незалежнай».
А дзе такая краіна, куды ты хочаш з’ехаць?»
Я не хачу з’язджаць...»

Неба і вецер. І вечнасць у кожным паглядзе.
Гэта — зямля, што мацней за каханне і смерць.
Мы ажываем у кожным яе лістападзе.
Мы паміраем у кожным яе зарападзе,
Мы яшчэ многае можам паспець.

Не, мы не з’едзем. Не будзем хавацца.
Нам няма дзе хавацца.

Мы самі — маці.

О чем это стихотворение? О трудной поре взросления, о пробуждении чувств, о потере не только невинности, но и многих иллюзий, связанных с политическими амбициями относительно будущего своей страны? Да, и об этом. И еще о том, что здесь напрямую не названо. Одно золотое слово засекречено и отдано на домысел читателя. Это слово — любовь. Именно слово «любовь», а не слово «каханне». Белорусское слово «каханне» более всего определяет суть отношений между мужчиной и женщиной.

Это стихотворение о том, что называется патриотизмом, об ответственности лирической героини и за судьбу своего ребенка, и за судьбу родной земли, хотя в лоб об этом нигде и не говорится. Отличительная черта этого стихотворения, как и большинства других у Оксаны Данильчик — это полифония, одновременное развитие нескольких тем, из которых к концу выступает главная. И, читая первые строки, невозможно предугадать, к чему приведет автора его художественная интуиция и логика размышления:

Адсюль ніхто не сышоў.
Усе засталіся.
Іх партрэты глядзяць на нашчадкаў.
Іх душы побач,
адчувальныя, як вецер бязмежнасці.
На нашых тварах — пачаткі
знаёмых рысаў.

Глыбіня сузалежнасці
застаецца неспасцігальнай.

Тут, як нідзе,
знітаванасць зямлі і неба
дасягае свайго апагею.
Тут яны не змагаюцца
за першародства,
а жывуць адзіным памкненнем.

Тут паўсюль сакральныя рэчы,
што трапляюць цяпер у музеі,
дзе ніхто не ведае іх прызначэння.

Тут шумам галін
нам адгукаецца Лес.
а вецер бязмежнасці
мацней за любыя выявы графічныя.

Тут паэзія —
маўчанне чалавека і музыкі Бога,
для якога дыханне жыцця
і дыханне вечнасці —
ідэнтычныя.

Стиховорение это, по заложенному в нем смыслу, можно было бы озаглавить «В литературном музее», но значение его шире, а смысл глубже, ибо безбрежность ветра уносит души поэтов далеко за пределы музейных стен с портретами и вещами классиков, ставших с течением времени сакральными. Здесь «шумам галін» за окном откликаются их творческие и человеческие Судьбы. Но странное дело, провозгласившая звучащее слово золотым, в этом стихотворении Оксана Данильчик возвращается к констатации согласного молчания человека и Бога. Эту тему можно развивать и домысливать бесконечно. Молчание человека равноценно музыке Бога? Или человек имеет право на молчание только пред лицом Бога? И это молчание становится поэзией? Сложно, умозрительно, но интересно. Сама автор ничего не объясняет. Ее прерогатива вовремя поставить точку, чтобы дальше шевелил мозгами читатель.

Читатель, кстати, уже заметил, что это стихотворение по сравнению с двумя вышеприведенными, не слишком благозвучно. И запомнить стихотворение с первого прочтения невозможно, потому что слух не улавливает ни ритма, ни концевых созвучий. Да, это он самый — кол на могиле классической поэзии, верлибр. Выпрями эту лестницу с разной длины ступеньками в прозаические ряды — будем только меньше спотыкаться. Кстати, семь верлибров в ее книге поданы именно такими прозаическими периодами, без разбивки на строки. И ничего — не плохо читаются.

Ну что поделаешь, вздыхаю я над этой обнаженной, без покрова поэтической формой, премудростью, в которую можно затолкать любое техническое понятие и любую схоластическую мысль. Эта красная тряпка постмодеризма сегодня вьется над Европой, как проженное в боях знамя. Позволим поэтам упражняться в оригинальности, люди все равно выберут для чтения то, что складно да ладно. Читатель проголосует глазами и сердцем.

А поэт, владеющий классической формой, может ведь иногда поиграться в разные цацки, лишь бы это не стало главной его игрой, не отменило бы дисциплину формы. А дисциплина поэту ох как необходима! Без нее очень легко сползти в манерничанье и оригинальничанье, увлечься технарскими штучками и забыть о мысли и чувстве, без которых поэзия остается на уровне более или менее умелых стихописаний.

Оксана Данильчик умеет писать и ритмически, и в рифму. Но верлибр все же превалирует в ее творческом активе. Так же как мысль держит верх над чувством.

*Кожны дзень анел нябеснай канцылярыі разбірае лісты. Некаторыя аўтары абвясцілі сябе святымі і з дзіўнай рэгулярнасцю пішуць у спадзяванні дастукацца да Бога, у спадзяванні, што Бог іх пачуе і заменіць запчасткі ў гэтым несправядлівым свеце. Ад доўгага чакання яны страцілі розум і цяпер ужо самі не памятаюць: навошта?*

*Якія здані стаяць за іх спінамі? Якія шатаны гуляюцца з іх думкамі? Ён мог бы даведацца, але баіцца, што гэта іх загубіць. Таму анёл нябеснай канцылярыі проста выклікае механіка.*

*Чорны цень праходзіць за непрычыненымі дзвярыма. Анёл ставіць пячаткі і складае лісты ў пульхную тэчку з надпісам: Mens alienate.*

*Свет захоўвае сваю нязменнаць. А Бог спакойна назірае за працай яго шматлікіх механізмаў.*

*Да наступнага дня.*

Разобраться в этом замысловатом плетении словесной ткани можно, так же как и вообразить себя в роли ангела небесной канцелярии, а скорее всего — в роли одного из тех бедных авторов, которые стремятся своими произведениями достучаться если не до Бога, то до сердец человеческих, занятых безумной гонкой за успехом, страдающих неутоленными амбициями и тоскующих о справедливости. Но Оксана Данильчик не удостаивает этих поборников святости даже слова сочувствия. Для нее они просто механизмы, требующие ремонта и смазки. Можно не соглашаться с ее взглядом на побудительные причины творчества, но однако же некая прагматичная логика в ее мысли есть.

Остается только пояснить, что означает эта фраза на латинском — *Mens alienate.* Сама Оксана сносками для перевода иностранного слова или фразы почти не пользуется, видимо, рассчитывая на достаточно высокий уровень читателя, или знающего другой язык, или умеющего самостоятельно найти перевод. И в самом деле — резонно. Читатель поэзии никогда не был неучем, а в наше полиязычное время знать хотя бы один европейский или азиатский язык — дело не просто престижа, но порой и жизненной необходимости. И все же мне, переводчику с белорусского и немецкого, пришлось через сайт «промт» докопаться до значения фразы: *Mens alienate* — сумасшедшие мысли. Сама автор не сделала этого, видимо, уповая на высокую культурную планку читателя.

Но вернемся к защитнику золотого молчания Алесю Дубровскому-Сороченкову.

И все же какой из современных поэтов, определяясь в мире равнодушия и всеобщей отчужденности, может избежать этого слова — одиночество? Ведь это самое распространенное сейчас экзистенциальное состояние городского жителя. Прибегнул к нему и автор этих строк:

Зрываецца дзень у прадонне прычын,
паводле якіх ты павінен аддацца
ў палон мітусні гэтых вуліц і пляцаў.
Натоўп адзінокіх — ён дрэнны дарадца.
Цябе не пачуюць — крычы не крычы.

Цябе не пачуюць: усюды сцяна
з камення вачэй і з цэменту шматслоўя.
І горада слепа-тупое надброўе
хавае нячэсаны смог-сівізна...

Ничего нового в таком отрицательном восприятии города нет. Поневоле вспоминается блоковское: «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Конечно, и размер этих сопоставляемых стихов различен, и характер образности иной. У Блока перечисление попутных зданий вырастает в символ бессмысленности и вечной повторяемости жизни. У Алеся Дубровского детали городской

жизни складываются в картину всеобщего отчуждения. Но разве сентенция Алеся: «Цябе не пачуюць — крычы не крычы» — так уж далека от блоковского: «Все будет так. Исхода нет»?

Гэты горад павіс нада мною, як меч.
Гэты час усмактаў мае ўсмешкі і думкі,
Толькі здзекліва мрояў даўнейшых карункі
мне ў пакоі нагадвае кожная рэч.

І струменіцца Свіслаччу ціхай жыццё,
у бетонным ручве нема душыцца астмай.
Ды наступных турбот непамытыя пасмы
раскудлаціць тралейбусаў злое выццё.

Сейчас в моде краткость и фрагментальность, как говорили в старину — лапидарность. Прежде всего, это касается поэзии, как русской так и нашей, национальной. Крупные эпические формы вроде поэмы напрочь исчезли с горизонта поэзии, ни тебе тяжелых, налитых лирическими ливнями туч, ни буйной грозовой фантазии, вырывающей с корнями сюжетные линии, — одни легкие непритязательные облачка беглых наблюдений и мелкая морось зарифмованных сентенций по тому или иному поводу.

Оно и понятно. Исчезли мастера, которые владели в поэзии и сюжетом, и обрисовкой характеров, и широким, объемным взглядом на действительность при глубоком постижении ее проблем. Нет, некому сейчас написать нечто подобное «Новой земле» Якуба Коласа, «Анне Снегиной» Сергея Есенина, «Василию Теркину» Александра Твардовского. Может, потому что наше беспокойное, текучее время, состоящее из сотен и тысяч мелких фрагментов жизни, еще не отвердело, не застыло в монументальную глыбу, обозримую творцом со всех сторон. Или потому, что исчез читатель не только поэм, но и вообще поэзии. Перекинулся на легкое прозаическое чтиво, где не надо трудить ленивые мозги, где все уже разжевано и подано самим автором на тарелочке с голубой каемочкой слащавого гламура.

Стихи в более чем пять — шесть строф уже кажутся длинными. Не только поэт, перешагнувший эту негласную норму, кажется себе излишне болтливым, но и читатель морщится, перелистывая страницу, на которой не поместилось стихотворение. И в созвучии с читательскими предпочтениями пишут многие поэты, словно соревнуясь друг с другом в пресловутой краткости, которая, как знает опытный читатель, есть сестра таланта.

Все равно мы короче японцев и китайцев писать не умеем, потому что слово тянется к слову, мысль к другой мысли, и возникает некая смысловая цепочка, весьма далекая от иероглифов. Но все же, решает творец, отчего не позабавиться и не позабавить публику имитацией восточной мудрости с вывороченным смыслом, как это сделал Алесь Дубровский в разделе «Пародии без оригиналов»:

### Псеўдахоку

1

я куплю старажытную амфару
і разаб’ю яе
аб падлогу прыбіральні

2

я раскапаю горад
стану пасярэдзіне
і буду ванітаваць

Каков смысл подобных откровений, заставляющих читателя, по меньшей мере, поморщиться и закрыть нос? Да вот просто донельзя захотелось автору ошарашить читателя, сбить с него спесь спокойствия, обострить его эстетическое чувство, снизить уровень восприятия гармонии до нуля, чтобы затем поднять его на должную высоту новым шедевром. Ведь еще через три подобных пощечины благовоспитанному потребителю поэзии следует очень нешуточный цикл стихов, посвященных самой серьезной из земных теме Святого писания. И каждое стихотворение в цикле «Гефсіманскае галле» требует от читателя большего, чем просто внимательное, чтения.

Я снова и снова перелистываю книги таких несхожих друг с другом поэтов. Стихи их разнятся и внешне. Классически выверенные строфы Алеся с точными рифмами и расхристанные по форме в большинстве своем безрифменные произведения Оксаны, которые стихами назвать язык не поворачивается. И все же это стихи, которые держатся не ритмом и не рифмой, а нетривиальной свежей мыслью, для которой материалом является жизнь поэта. Жаль, что зачастую у Оксаны Данильчик мысль, исследуя чувство, подавляет его. Не случайно в ее стихах так редок вопросительный знак и практически отсутствует восклицательный. Алесь Дубровский-Сороченков более эмоционален:

Мы стрэнемся з табой, мая любоў,
о першая любоў... А ці была ты?
Усе прайшло. Мой вечны енк, мой стогн,
я вылечыў цябе — ідзі за краты!

Как ни странно, классический стих не препятствует проявлению чувства, а вот белый стих и верлибр, являясь основной формой творчества Оксаны Данильчик, предаться ей чувственному восприятию жизни мешает. Казалось бы, должно быть с точностью до наоборот!

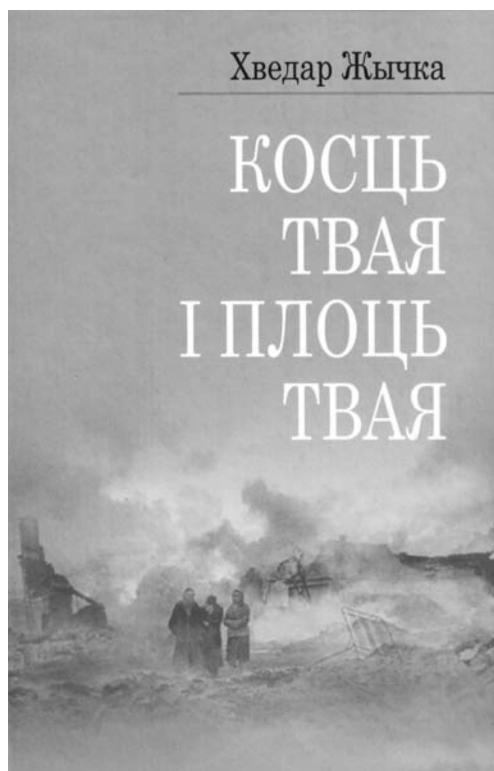
Теперь я хочу отметить то печальное обстоятельство, что книги рецензируемых мной авторов, выпущенные издательством «Кнігазбор» (одна пять лет назад, а вторая — три) типичным для нашего времени тиражом в триста экземпляров, вряд ли сразу расхватали. И этому явно помеха — их высокий интеллектуальный уровень. Читателям, а пуще всего читательницам, воспитанным на легком чтиве, такая поэзия покажется чересчур сложной, слишком заумной, что я ставлю в заслугу и Оксане Алексеевне, и Алесю Владимировичу. Да, их поэзия насыщена интеллектом и рассчитана не на случайного и невежественного, а на мыслящего читателя. Не случайно оба они цитируют на иностранных языках, хотя бы в эпиграфах, классиков мировой поэзии. Алесь предлагает своим читателям окунуться в Библию, переводя на язык поэзии отрывки из Псалтыри и Экклезиаста. Оксана представляет в своей книге переводы из итальянской поэзии XIX и XX веков. Этот раздел называется «Италии с любовью». Да, без любви к иной стране, к иной культуре трудно войти в атмосферу поэзии нации, чье искусство и литература всегда были высоким образцом во все времена, начиная от античных.

И что еще хочется отметить: оба поэта не просто проявляют в своем творчестве спонтанную или показную эрудицию для того, чтобы выделиться на фоне современного литературного поколения. Они основательно литературно образованы. Оба нынешних автора — кандидаты филологических наук, и вы, читатель, конечно, догадываетесь, сколько и где надо учиться, чтобы стать филологами высшей квалификации.

Тот факт, что наша молодая белорусская поэзия не зациклена на своих батьковских корнях, а развивается в контексте мировой поэзии, это ее несомненный плюс и очень многообещающий вектор развития.

*С точки зрения рецензента*

# Совесть не обманешь




Читая повесть Хведора Жички «Косць твая і плоць твая», выпущенную издательством «Мастацкая літаратура», невольно вспоминаешь рассказ Ивана Чигринова «Маці», опубликованный в первом номере «Полымя» за 1963 год. Это произведение стоило немало нервов Ивану Гавриловичу. Подумать только: осмелился с сочувствием писать о матери полицая, убитого партизанами. За рассказ «Маці» И. Чигринова не просто критиковали, а били такими критическими дубинками, которые были в ходу в тридцатые годы. Дошло до того, что в издательстве задержали уже набранную его первую книгу «Птушкі ляцяць на волю». Она вышла только благодаря вмешательству тогдашнего первого секретаря ЦК КПБ Кирилла Мазурова, к которому обратился писатель. С книгой-то К. Мазуров ему помог, она увидела свет, а вот рассказ «Маці» после первой публикации долго не мог пробиться в печать. Только в 1970 году под названием «В тихом тумане» он был помещен в переводе на русский язык в журнале «Дружба народов». К белорусскому же читателю в очередной раз пришел через двадцать с лишним лет после первой публикации, в 1984 году, в книге избранных произведений И. Чигринова.

Вспоминается этот рассказ при чтении повести «Косць твая і плоць твая» по той причине, что Хв. Жичка в основу своего произведения положил ситуацию в чем-то близкую чигриновской. Однако если старая Рейдиха из рассказа «Маці» все же может прийти на могилу своего сына, то главный герой повести Вавила Пинчук лишен такой возможности. Гибель его Миши — это тайна, которую знает только он, отец, а в остальном...

Повесть «Косць твая і плоць твая» была написана Хв. Жичкой давно, о чем видно из пометки в конце произведения: «1979—1991. Мінск — Валоўшчына — Кактэбель». Долго писалась она, долго и шла к читателю. Правда, цензура здесь не при чем. Всесильный «главлит», когда повесть была окончена, уже не существовал. Причина задержки издания книг хорошо зна-

кома для сегодняшних дней: финансовые трудности издательств. Но, как видим, наконец дошла очередь и до Хв. Жички.

Назвал писатель эту повесть известным выражением из Библии. «Вой, Божачкі мой, Божа! Дачакаліся часу, вырасцілі сынка... Як у тым пісанні сказана: «Косць твая і плоць твая...» Улезла во косць твая ў паліцыю, як рыба ў нерат — ходу няма ні назад ні наперад». Так рассуждает Вавила Пинчук, сын которого, семнадцатилетний Миша, подался на службу к немцам. Такой поступок сына Вавиле и в страшном сне не снился. Мало того, что он честный, порядочный человек, ко всему еще — колхозник-стахановец, лучший косец в районе: «Нягледзячы на сваё калецтва — ад нараджэння левая нага карацейшая за правую — усё ўмеў рабіць Вавіла: араць, касіць, малаціць, цяслярыць і нават бандарыць...» И вот дожился — сын полицай, притом единственный на всю деревню Житняя Буда. Уговоры отца одуматься ничего не дают. Да и вряд ли гитлеровцы простят, если Миша вдруг откажется служить им. Хотя, наконец, он все же соглашается встретиться с партизанами. Даже какое-то задание от них получает. Но на этом сотрудничество прекращается. А тут освобождение Гомельщины от немецко-фашистских захватчиков. Предательства партизаны не простили...

Это в повести как бы эпилог к основному действию. Основное же действие — тревоги, мучения, сомнения в душе Вавилы. Так — действие, ибо не один десяток лет Пинчук-старший «живет» со своим сыном. В мыслях, конечно, в переживаниях, ибо только один он знает всю правду о нем. Когда партизаны повели Мишу из родного дома, заподозрил неладное, незаметно пошел следом: «І раптам:

— Во-о-о-ой!

Жахлівы немы перадсмяротны крык».

Жена Авдокея тяжело болела, поэтому Вавила не стал ей ничего говорить: «Успомніў, што недзе ёсць чырвонаармейская гімнасцёрка і галіфэ, якія на пачатку вайны Міша прыцягнуў з-за Дняпра, казаў, у разбітым грузавіку знайшоў. І плашч-палатка недзе ёсць, каб прыкрыць, а то зямля ўвесь твар раз’есць за некалькі дзён».

Теперь нужно Вавиле Пинчуку сделать все ради того, чтобы убедить односельчан в том, что его сын пошел на службу к немцам по заданию партизан. А что так он должен поступить, герой Хв. Жички не сомневается. Сын для него — все, и он хочет, чтобы память о нем осталась чистая. Вроде бы сделать это не так и сложно, ибо особых грехов за Мишей нет. Да и обстоятельства, по сути, благоприятствуют Вавиле. Умирает бывший контрразведчик Атаманчик, знавший всю правду о Мише. Вавила добился, чтобы сына перезахоронили в братской могиле, что, впрочем, большого труда не составляло: Миша Пинчук, как известно, был в армейском обмундировании.

Правдиво, убедительно раскрывает Хв. Жичка душу главного героя, образ которого — несомненная авторская удача. Как удача и то, что точно так же правдиво, убедительно раскрыто то, к чему до этого белорусская литература обращалась мало. К Вавиле Пинчуку относишься с состраданием, переживаешь за него, видя как со временем все тяжелее становится у него на душе. Он и так давно уже своей тайной, по сути, загнал себя в тупик, из которого никак не может найти выход. Однако, если признаться в этом, пусть и не сельчанам, и даже не жене, а самому себе, значит, навсегда поставить крест на всех эти годах — военных и послевоенных, которые он прожил с надеждой, что сможет доказать: сын его не виновен, в полицию пошел, выполняя задание партизан. Вавиле по-прежнему нужна святая ложь. Во имя святой правды нужна. Конечно, в его, Вавилы, понимании, а чтобы достичь такой правды, все средства хороши.

Насколько все это нравственно, ему не думается. Главное, чтобы «спасти» Мишу, а тем самым спасти и самого себя, убедив всех, что ему не стыдно смотреть честным людям в глаза. Однако не только из-за этого в душе главного героя тревожно. И с дочерью у Вавилы нелады. Родила неизвестно

от кого чернокожего ребенка. Ко всему, оказывается, есть у него еще один внук, родила его солдатка, к которой хаживал Вавилов Мишка. Правда, та быстро сообразила, что это не на пользу ей. После войны добавила сыну несколько лет. Якобы его отец — ее муж, погибший на фронте и удостоенный звания Героя Советского Союза.

Хведор Жичка предстает не просто тонким психологом, но и аналитиком, рассматривающим, образно говоря, кардиограмму души главного героя повести, пристально присматриваясь к его поступкам, действиям. Но не в меньшей степени его интересуют переживания Вавилы, тот груз тайны, которую он знает, и не хочет, да и не может раскрыть. Этот груз давит на него так сильно, что бывают минуты, когда совсем невмоготу становится. Но надежда все же не оставляет. Вавила не собирается с ней расставаться, где-то глубоко в душе понимая, что смерть этой надежды, связанной с тем, чтобы обелить сына перед сельчанами, это и смерть его самого.

Повесть, несмотря на то, что лишена широкого сюжетного разветвления — не случайно произведение поделено не на главы, а на эпизоды, из чего видно, что автор сознательно пошел путем выхватывания из жизни главного героя только самого важного и существенного, — наполнена внутренним динамизмом. Это связано с тем, что Вавила Пинчук, не зная ни минуты покоя, по сути, только тем и занят, что как бы прокручивает возможные варианты для того, чтобы в конце концов достичь своей цели. Ситуация такая, словно постоянно находится на некой шаткой кладке. Что требует невероятных усилий, чтобы удержаться. Неосторожный шаг, как и покачивание то ли влево, то ли вправо, и ты сорвешься. В данном случае это опять-таки приведет к тому, что тайное станет явным.

Да, жизнь такова, что не знаешь, как все в дальнейшем повернется. Особенно, если это касается событий Великой Отечественной войны. Проходят годы, все меньше остается ветеранов. Это только на руку людям нечестным. Когда нет свидетелей, то и появляются лжегерои, ибо в некоторых случаях те, кто сотрудничал с немецко-фашистскими захватчиками, чувствуя, что изобличать их некому, пряча свое истинное лицо, заявляют, что, пойдя на службу к гитлеровцам, выполняли задание партизанского командования. Хв. Жичка не обошел стороной и эти моменты. Вот и некто Гольцев, «прославившийся» в военные годы своей жестокостью, вдруг объявил себя этаким «белорусским Зорге».

Безусловно, такой случай мог иметь место. Беда только в том, что Хв. Жичка ни слова не говорит о том, как этому перевертышу удалось всех обмануть. В этом, безусловно, видится авторский просчет. Хотя, если хорошо разобраться, никто и не хочет связываться с бывшим фашистским прихвастнем. Разоблачение может дорого обойтись. Хотя бы и Вавиле. Если он выведет его на чистую воду сам или через кого-либо другого, кто знает о Гоце всю правду, то и самому это дорого обойдется. Тогда и вся правда о сыне Вавилы всплывет.

По мере приближения повести к развязке сюжет ее становится все туже, словно превращается в тугой узел. Однако крепость этого узла обманчива, поскольку сама жизнь попрежнему диктует главному герою свои условия. Вавила так далеко зашел в своей «игре» с правдой, что достаточно чего-нибудь непредвиденного, чтобы тайное стало явным. Так и получается, когда он вместе с женой едет в деревню Полынковичи на торжества, связанные с перезахоронением партизана Михаила Пинчука. Вавила знает-то что это никакой не сын его, а только двойной его тезка. Знает, но молчит, полагая, что никто об этом не догадается. Да и о своей жене беспокоится: «Аўдакея нічога не ведае, верыць, што там і сапраўды пахаваны яе сынок. Вавіла не хоча абражаць яе мацярынскае пачуццё. Калі ўжо так атрымалася, калі ўжо не собіла тады адкрыць ёй таямніцу, навошта цяпер вярэдзіць яе душу, забіваць цяжкім словам?.. Нічога ж ужо не перайначыш, нічога не паправіш... Ды і не паверыць Аўдакея, і не даруе. А то і не вытрымае

такога ўдару, памрэ. Не, няхай лепш будзе так, як яно ёсць. Няхай Аўдакея верыць у гераізм свайго сына, няхай паплача нібы на яго магіле».

Так и произошло: «Аўдакея галасіла, абдымала і цалавала грудок незнаёмай раней, а цяпер такой роднай зямлі, якая беражэ сон яе адзінага сыночка... [...] Вавілу і Аўдакею прынялі ў пачэсныя піянеры, павязалі ім гальштукі». Однако, «усё скончылася б добра, калі б старшая піянерважатая Валянціна Мартынаўна не спыталася ў Аўдакеі, ці прывезла тая партрэт Мішы». Конечно же, те, кто знал настоящего Мишу Пинчука, сразу убедились, что на снимке другой человек. Оправдания Вавилы тем, что «гэта даўні здымак. Недзе ў трэцім класе ці што фатаграфаваліся ўсім класам. А потым мы пераздымалі ў атэльe, там яго перамалёўвалі для павелічэння» мало кого успокоили, но все промолчали, хотя «ўжо такой вялікай увагі да ганаровых гасцей не было».

Воистину: благими намерениями вымощена дорога в ад. Сколько бы ни укорял себя Вавила за то, что согласился на эту поездку в Полынковичи — мол, не поехали бы, не получилась бы и накладка со снимком — мало что меняет. Давно уже его «душа гарыць» из-за того, что носит в себе тайну гибели сына, а значит и «боль і няпраўду». Так до бесконечности, конечно, продолжаться не может. Но, где выход, он и не знает. Хотя выход все же есть, притом один-единственный: рассказать всю правду жене, а потом и сельчанам. Только на такой поступок Вавила не способен. Да если бы и отважился на него, плата была бы очень дорогая. Авдокея просто не пережила бы этой правды, а сам он?

Сложившаяся ситуация и ранее напоминала быковскую. Теперь же она стала настолько драматической, что обязательно должно было произойти нечто такое, чтобы поставить последнюю, решающую точку. Притом выход должен был быть неординарным. Вавила Пинчук нашел в чем-то легкий, но вместе с тем и губительный выход: начал пить, чтобы уйти в себя, чтобы на какое-то время обо всем забыть. Конечно, таким его Авдокея терпела до поры до времени. Вся надежда после этого у Вавилы осталась на его давнюю возлюбленную Лисавету. Полагая, что она примет его и таким, поспешил он к ней и... получил от ворот поворот.

В повести немало психологически выверенных эпизодов, но последний настолько неожиданный, что сродни внезапному выстрелу. Всего можно было ожидать, но только не этого. Однако именно на такой шаг Вавилу подтолкнула Лисавета, в сердцах бросив: «На! Шоўкавая вяровачка, слізкая. На, павеся, паскуда такая! У лесе, на сухой асіне... Няхай вароны дзяўбуць тваё гнілое цела. Усё адно душы ў ім ужо няма — прапіў і чорту прадаў...»

Не осину, однако, выбрал он, а старую грушу-дичку при дороге, ту самую, под которой они когда-то с Лисаветой любились:

«[...] Нібы абцугамі перахапіла горла, у вушах пачулася:

— Ба-цька-а-а!.. — і ўжо не ўцяміў, чый гэта быў голас: сына Мішы, Мішы ўнука-негрыцёнка, Харланга ці гэтага ўзваравіцкага хлопца, што частаваў яго гарэлкай у сталоўцы».

Вавилу Пинчука забрала война. Та самая война, с которой он не мог расстаться из-за памяти о сыне. Ибо война тем и страшна, что находит своих жертв даже через десятки лет после своего завершения. Да и совесть свою не обманешь. И обязательно наступит время, когда за все придется платить по самому высокому счету. Это со всей убедительностью и показал Хв. Жичка в повести «Косць твая і плоць твая», которая, несомненно, в чем-то расширила горизонты белорусской прозы о Великой Отечественной войне. Об одном можно сожалеть. О том, что она пришла к читателю с таким большим опозданием. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

***Глеб УСТИНОВИЧ***

*Литературное содружество*

# *Надежда — для всех*

В Минске на белорусском языке издана книга Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду».

Имя Немата Келимбетова хорошо известно в Казахстане. Ученый с мировым именем, литературовед, доктор филологических наук, писатель, переводчик... Лауреат престижных премий, академик Академии гуманитарных наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана... Но все эти регалии приобретают особый смысл, когда узнаешь, что достиг их человек длительное время прикованный к постели, человек, который был обездвижен.

О своей судьбе, о борьбе с жизненными обстоятельствами, о судьбе людей, кого постигла подобная участь, художник слова и рассказал в пронзительной, полной печали и боли книге. Повесть «Не хочу терять надежду» — это монолог о любви к Жизни, о том, что борьба, сопряженная с духовным, нравственным развитием человека, всегда (именно всегда!) приносит свои плоды. Верю, что много испытавший, претерпевший много страданий, Немат Келимбетов был счастливым человеком. Его не покинула жена, его дети выросли достойными людьми. Повесть казахского художника слова — это исповедь и завещание, это книга, которая стоит в одном ряду с повестью Николая Островского «Как закалялась сталь».

Но, на мой взгляд, в произведении Немата Келимбетова больше душевности и тепла. Наверное, еще и потому, что герой книги, как и автор повествования, соизмеряет свои жизненные задачи в сложившихся условиях с уровнем ответственности перед родными и близкими людьми. Мужество, самоотверженность человека, больного неизличимым недугом, человека, прошедшего через сложнейшую нейрохирургическую операцию... Глядя на судьбу героя повести, задумываясь о судьбе самого Немата Келимбетова, понимаешь, что множество твоих небольших проблем и, как кажется на первый взгляд, бед совсем ничего не значат по сравнению с трагедиями людей, оказавшихся в ситуации, похожей на испытания автора повести «Не хочу терять надежду». Но ведь автор книги и не хочет и не теряет надежду, он, наоборот, делает все, чтобы идти вперед, развиваться, продолжать нести ответственность за близких людей, за свою семью, выполнять свой гражданский долг. Он не только борется за свое физическое существование, но и стремится быть полезным, важным человеком в обществе.

Не случайным мне представляется и тот факт, что одно из предисловий к изданию книги на белорусском языке написал известный в Беларуси нейрохирург академик Национальной Академии наук Беларуси Арнольд Смеянович. Ученый с мировым именем спас многих людей, продлил жизнь сотням пациентов, провел сложнейшие нейрохиругиечксие операции. Рядом с предисловием медика — и вступительное слово Владимира Семеновича Липского. Лауреат Государственной премии, писатель, много работающий как автор книг для детей и как публицист, он создал документальную повесть о фронтовой медсе-

стре, Герое Советского Союза Зинаиде Туснолобовой-Марченко, которая вернулась с войны без рук и без ног. Но она ходила на протезах, она культяшками наловчилась выполнять множество обычных дел, даже на рыбалке была не хуже заправских мастеров рыбной ловли.

Помещено в книге и стихотворение известного азербайджанского поэта Чингиза Али оглу «Икар» (с посвящением: «Светлой памяти Немата Келимбетова»). Издание поистине можно считать плодом интернационального сотворчества, сотрудничества. Перевод на белорусский язык осуществили Алесь Бадак и Алесь Карлюкевич. Кстати, недавно они за работу по созданию серии книг «Созвучие сердец» отмечены премией СНГ «Звезды Содружества». Есть в этой библиотеке и том «Созвучие сердец: Беларусь — Казахстан», где в переводе на русский язык представлены произведения белорусских и казахстанских писателей, созданные в основном в последние двадцать лет. Издательский дом «Звязда», который выпустил в свет и библиотеку, и книгу Немата Келимбетова, стал в Беларуси настоящей площадкой для развития белорусско-казахстанских литературных связей. В ряде коллективных сборников, в журнале «Полымя», газете «Літаратура і мастацтва», которые выходят в издательском доме, в последнее время опубликованы переводы из казахской поэзии и прозы на русском и белорусском языках. Событием для читателя стала книга великого Абая «Степной простор» на белорусском языке в переводе лауреата Государственной премии Республики Беларусь Миколы Метлицкого. Повесть Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду», изданная в Минске, — логическое продолжение этой работы.

***Кирилл ЛАДУТЬКО***



# Авторы номера

**ЧИГРИН Леонид Александрович.** Родился в 1942 г. в пос. Осинторф Дубровненского района Витебской области. Профессиональный журналист, сценарист документального кино, писатель. Автор романов «Великий Шелковый путь», «У подножия Тахти Сангина», «Поражение Цезаря», «Храм Соломона», «Мужество матери», «Озар из Уструшаны», «Хатлонский бастион» и др. Живет в Душанбе (Таджикистан).

**ЖУК Кастусь (Константин Яковлевич).** Родился в 1954 г. в д. Затурья Несвижского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор сборников поэзии «Планета моей души», «Земная ноша», «Голгофа» и др. Лауреат премии Федерации профсоюзов Республики Беларусь. Живет в Минске.

**ФЕДОРОВИЧ Дмитрий Леонидович.** Родился в 1954 г. в пос. Ладан Прилукского района Черниговской области (Украина). Окончил физический факультет Гомельского государственного университета. Печатался в журнале «Нёман». Живет в Гомеле.

**АВЛАСЕНКО Геннадий Петрович.** Родился в 1955 г. в д. Липовец Ушачского района Витебской области. Окончил биологический факультет Белорусского государственного университета. Автор нескольких книг для детей и взрослых. Живет в Червенском районе Минской области.

**СТАНКЕВИЧ Юрий (Георгий Васильевич).** Родился в 1945 г. в Борисове. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, драматург, сценарист. Автор многих книг прозы. Живет в Борисове.

**ЕВСЕЕНКО Антон Борисович.** Родился в 1991 г. в Минске. Окончил профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко. Студент Белорусского государственного педагогического университета. Печатался в журналах «Нёман», «Алеся», в газетах «Царкоўнае слова», «Белорусская военная газета». Живет в Минске.

**БУКА Денис Сергеевич.** Родился в 1981 г. в Минске. Учился в Минском государственном лингвистическом университете, обучался информационным технологиям в США, окончил колледж. Публиковался в журналах «Нёман», «Нева», автор книги стихов «Карманный гарем». Живет в Санкт-Петербурге.

**ЛОГВИН (Михайлова) Юлия Михайловна.** Родилась в 1987 г. в Мозыре. Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета имени И. Шамякина и факультет повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ. Печаталась в газетах «Жыццё Палесся», «Прыпяцкая праўда», «Знамя юности». Живет в Мозыре.

**ЯЦКОВСКИЙ Игнатий.** Родился в 1795 г. на Новогрудчине. Юрист и литератор. После поражения восстания 1831 г. находился в политической эмиграции. Организатор (совместно с Александром Рыпинским) Вольной славянской типографии в Лондоне. Существует версия о том, что именно Игнатий Яцковский — автор известного стихотворения «Зайграй, зайграй, хлопча малы», долгое время соотносимого с именем Павлюка Багрима. Умер в 1873 году.